

Л. Графова ЖИВУ Я В МИРЕ ТОЛЬКО РАЗ...

**ЛИЧНОСТЬ  
МОРАЛЬ  
ВОСПИТАНИЕ**  
Серия художественно-публицистических  
и научно-популярных изданий

Л. Графова

*Живу я в мире  
только раз...*



## **ЛИЧНОСТЬ МОРАЛЬ ВОСПИТАНИЕ**

Серия художественно-публицистических  
и научно-популярных изданий

---

Нет ничего более ценного в мире, чем сам человек. Но что нужно для того, чтобы каждый человек мог проявить себя как личность? Какие нравственные черты характеризуют человека новой формации, личность социалистического типа? Как формируется духовно богатая, душевно щедрая, творческая, обладающая активной жизненной позицией личность, способная принимать самостоятельные нравственные решения в сложных жизненных ситуациях и нести ответственность за совершенные поступки? Обо всем этом рассказывают книги и брошюры серии «Личность, мораль, воспитание».

---

Издательство  
политической литературы  
1984









**Лидия Графова**  
**ЖИВУ Я В МИРЕ**  
**ТОЛЬКО РАЗ**

# СОДЕРЖАНИЕ

Вступление . . . . .	5
Глава первая. БОРЬБА ЗА БЕССМЕРТИЕ . . . . .	9
Памятник себе? . . . . .	11
Жизнь — как творчество.	
Беседа с В. Д. Пришвиной . . . . .	29
Глава вторая. И СБЫВАЕТСЯ НЕБЫВАЛОЕ . . . . .	51
Землетрясение . . . . .	53
«Меня судьба не баловала».	
Беседа с Г. А. Илизаровым . . . . .	74
Глава третья. КАЖДОМУ НУЖНА ДОРОГА . . . . .	95
Три беседы о смысле труда с Героями Социалистического Труда: строителем Ф. В. Ходаковским, рабочим Е. Н. Моряковым и солдатом войны В. Т. Христенко . . . . .	97
Глава четвертая. ВСЕ — НЕДАРОМ . . . . .	147
Непутевая . . . . .	151
Свеча . . . . .	161
Глава пятая. ЗАЧЕМ ЛЮДИ ССОРЯТСЯ? . . . . .	187
Мсть . . . . .	189
Вернуть мужа? . . . . .	206
Глава шестая. ВСЕМ ЛИ БЫТЬ ТВОРЦАМИ? . . . . .	221
Из истории одной дискуссии . . . . .	223
Встреча с собой. Беседа с философом Ф. Т. Михайловым . . . . .	227
Выбор поступка, выбор судьбы. Беседа с социологом И. С. Коном . . . . .	240
Жизнь не переждешь . . . . .	256
Глава седьмая. ЧЕЛОВЕК ЖИВ ЧЕЛОВЕКОМ . . . . .	283
Добрый человек из Каттакургана . . . . .	285
«Верю в энергию добра!» Беседа с Ч. И. Амирэджиби . . . . .	328
Заключение . . . . .	358

**ЛИЧНОСТЬ  
МОРАЛЬ  
ВОСПИТАНИЕ**

**Серия художественно-публицистических  
и научно-популярных изданий**

**ЛИДИЯ ГРАФОВА**

**ЖИВУ Я В МИРЕ  
ТОЛЬКО РАЗ**

**Москва  
Издательство  
политической-литературы**



**Графова Л. И.**

**Г78** Живу я в мире только раз.— М.: Политиздат, 1984.— 359 с., ил.— (Личность. Мораль. Воспитание).

Все бóльшую роль в жизни нашего общества играет ответственность человека за реализацию своих способностей, за «строительство» собственной судьбы, тесно связанной с судьбой других людей. Вопросы самопознания, самовоспитания, самосовершенствования, казавшиеся недавно делом сугубо личным, обретают сегодня серьезную социальную значимость. Этим вопросам и посвящена книга публициста Лидии Графовой.

Герои книги — наши современники. Право рассуждать о нравственности они завоевали своими делами во имя счастья людей: один вырастил многих осиротевших в войну детей, другой изобрел чудодейственный метод лечения недугов, третий построил уникальный музей в родном селе.

Книга адресуется массовому читателю.

Г  $\frac{0302030800-111}{079(02)-84}$  122—84

87.717

1МИ7

© ПОЛИТИЗДАТ, 1984 г.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Еще задумывая эту книгу, я знала, что первая фраза будет такой:

«Чем дольше живу, тем с большей тревогой убеждаюсь: как это трудно — научиться жить».

Но вот слова написаны на бумаге, и сразу вижу, как много возникает вопросов. Что значит — научиться? А потом? Научишься — будешь уметь? Уметь жить? Устраиваться?

Нет, совсем о другом «уменье» пойдет речь на этих страницах.

Книга писалась много лет. Не писалась, конечно, так долго, а переживалась. Встречая на журналистских дорогах людей, знаменитых и обыкновенных, сумевших «сделать» себя, построить свою судьбу, я видела в них красоту и правду жизни и очень хотела понять, как удалось им стать независимыми от внешней суеты, надежно счастливыми, выполняющими свой долг на радость себе и на пользу людям. Беседуя с ними, стремилась выяснить что-то важное для себя, а потом оказывалось,

что эти разговоры могут стать нужными и многим другим. Так постепенно складывалась эта книга — голоса непохожих, не знакомых друг с другом людей сливались в хор, и главная мелодия была такой: не может, не должен человек жить, как придется, как трава растет, не достойно это предназначения человека — пускать на самотек свою единственную, такую короткую жизнь.

Все мы любим пожаловаться: до чего ж быстро летят дни! Порой кажется, что часовые механизмы мира сговорились против нас, людей, и нарочно убыстряют ход стрелок... Но еще древний мудрец заметил: «Люди! Вы говорите: проходит время. Это вы проходите».

Осознаем мы или не осознаем, но у каждого из нас есть выбор: пройти, проскользнуть тенью, понаслаждавшись земными благами, или же упрямо, каждодневным усилием противостоят легким соблазнам, неблагоприятным условиям, жестоким обстоятельствам... Первый путь, вероятно, легче, но насколько же второй (пусть и тернист он) радостнее!

Только выбрав позицию, можно стать воистину человеком, прожить ненапрасную жизнь.

Человек пашет землю и... познает себя, летит в космос, строит дом, проникает в тайны атома и при этом развивает «мускулы» своего ума и души — учится жить среди людей. Сегодня, как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, формирование нового человека стало

не только важнейшей целью, но и непременным условием создания нового общества. И далее на Пленуме говорилось: «Нет и не может быть задачи более высокой, чем поднять каждого человека до уровня творца собственной судьбы, творца истории».

Задача эта стоит перед обществом в целом, но стоит она, разумеется, и перед каждым из нас в отдельности. Сегодня все более возрастает ответственность человека за свою жизнь. Они все теснее сплетаются — долг перед обществом и долг перед собой.

Рассказывая в этой книге о людях, живущих яркой, полной жизнью, не хочу обнадеживать читателя, что он найдет готовые ответы, как «сделать» себя, как быть счастливым. Да и существуют ли они, всеобщие ответы-рецепты?

Живу я в мире только раз... Каждый из нас приходит в мир с вопросами: кто я? Какой я? Зачем я? И каждый ищет ответы своей собственной жизнью. Но судьбы других людей помогают в этих поисках, побуждают тянуться вверх, не успокаиваться. И чем нравственнее человек становится, тем острее его недовольство собой — то, что вчера казалось простительной слабостью, сегодня мучает как нестерпимый порок.

Сколько живет человек, столько и учится. Учится быть человеком. Процесс этот бесконечен. И *научиться* жить, да так, чтобы раз и навсегда, в совершенстве — увы — невозможно.



Но значит ли это, что надо оставить попытки учиться жить?

Ни один мудрый педагог не сможет сделать тебя лучше, пока ты сам не захочешь стать лучше, пока не захочешь изменяться, расти — учиться жить! Этот первый шаг чрезвычайно важен — *захотеть*... Встречи и беседы с людьми, которым посвящена эта книга, заставляли меня заново ревизовать свою жизнь, помогали находить выход в трудных жизненных ситуациях, вселяли уверенность в свои силы, возможности. Может быть, что-то подобное испытаешь и ты, читатель?



---

*Глава первая*

---

*Борьба за бессмертие*

*В юности известная сократовская формула: познай себя и ты познаешь мир — казалась мне необъяснимым парадоксом. Теперь, годы спустя, мысль о том, что человек только тогда вступит в осознанные отношения с миром, когда придет к самому себе, представляется поистине замечательной. Но какой же это тяжелый труд — познание, обретение самого себя. Недаром многие люди предпочитают целую жизнь играть с собою в прятки, а потом кто-то жалуется: «Моя судьба все поворачивается ко мне боком...» Но разве это справедливо — жаловаться на свою жизнь, которую не отважился ни понять, ни изменить?*

## ПАМЯТНИК СЕБЕ?

Та щедрость, вдохновение и прямо-таки ярость чувств, которые вкладывает этот человек в свое нынешнее дело, говорят о нерастраченности и, значит, несвершенности чего-то в прошлом. Мне даже кажется, что, взявшись за это дело, он как бы начал жизнь заново. А лет ему, между прочим, уже шестьдесят, и сердце больное — три инфаркта перенес. Эпиграфом к рассказу о нем хочется поставить слова Михаила Михайловича Пришвина:

«Жизнь — это борьба за бессмертие...»

Буханчук встретил меня в аэропорту на колхозном газике, представился, протянул букет красных гладиолусов, сам покраснев при этом, и сразу же заговорил о музее. Дело, мол, у нас хорошее, праздничное, и как тут без цветов? Цветы были данью уважения музею, ради которого я сюда приехала. Само слово «музей», привычное и даже скучноватое («музейная тишина», «музейный глянец...»), звучало у Иосифа Дмитриевича почти-тельно и нежно, как откровение.

По внешнему виду Буханчука и не скажешь, что он — бывший военный: плечи пиджака почему-то



на одну сторону съезжают, плащ — нараспашку, пепел от сигареты норовит себе на колени стряхнуть. Весь он открытый, простецкий, очень обаятельный человек. Я никак не могла предположить, что вечером этого же дня у меня состоится о Буханчуке один странный разговор, застрявший потом в памяти, как заноза. В этом разговоре мой собеседник, человек сравнительно молодой, тоже, как и Буханчук, колхозный энтузиаст (меня познакомил с ним сам Иосиф Дмитриевич, представив как своего сподвижника), вдруг скажет:

— Я Буханчуку много помогал. Но характер у него тяжелый. Только для себя старается.

— Как для себя? — удивлюсь я. — А музей?

— Музей он как памятник себе строит.

Вот так вот... Но пока оставляю этот разговор без комментариев, а расскажу сначала, что ж это за музей, который и в самом деле можно назвать памятником.

Мы быстро проскочили 18 километров, отделяющие от Житомира поворот к колхозу «Украина». Трасса Киев — Львов шла по знаменитым партизанским местам украинского Полесья. «Дислокация будущего музея в восьмистах метрах от трассы очень удобна для массовых посещений», — докладывал Буханчук в стиле военных рапортов. Мы свернули с трассы и поехали проселком мимо белых домиков с резными крылечками и разрисованными ставнями. «Видите? Нравится? — то и дело спрашивал Буханчук, волнуясь на заднем сиденье. — Вот я и говорю: стремление к прекрасному у крестьянина в крови!» — это он все доказывал, что музей изобразительных искусств в селе — объективная необходимость.

Стояло время страды, и деревенская улица была довольно пустынной. Только кое-где на скамееч-

ках сидели старики и старушки да крутились во дворах ребятишки. А на дороге лежали задумчивые собаки, шествовало на дойку стадо коров — живая стена на дороге, пришлось ехать на самой малой скорости, расталкивая кузовом упрямых животных, не желающих признавать технику.

Только миновали мы коров, как вдруг на очередном повороте из-за липовых крон показалось романтическое здание. Оно стояло на пригорке, как строили когда-то замки. Нельзя сказать, что было похоже на замок, но на примелькавшиеся железобетонные коробки тоже совсем не походило. Невысокое, всего в два этажа, здание не казалось приземистым среди рослых деревьев — его «приподнимала» крыша. Крыша была не плоская, а состояла как бы из накатывающих друг на друга волн, резко обрывающихся. Как мне объяснили потом, эта экзотическая крыша с разрывами обеспечивает очень важное для экспозиции шедовое освещение.

В центре здания — высокие, узкие проемы, явно предназначенные для витражей. Но витражей пока не было, дверей и стекол в окнах тоже не было, внутри здания гулял ветер. В этой незаконченности, воздушности, в этом как бы еще оголенном замысле архитектора было столько поэзии... Ничего себе — колхозный музей! «Проект сделан ленинградцами. В лучших традициях» — как о чем-то само собой разумеющемся сообщал Буханчук. Стал он здесь, в музее, настороженно сдержанным, уже не спрашивал «нравится ли?», быстро ходил, несмотря на одышку, среди стропил, перепрыгивал через лежащие на каждом шагу препятствия и коротко объяснял: здесь будет аванзал, это — фондохранилища, библиотека, световые дворики... «Музей — дом муз, понимаете?»

С кем бы потом я о музее ни говорила — и в колхозе, и в райцентре Коростышеве, и в Житомире, и, вернувшись, в Москве, и, по телефону, с ленинградцами, — люди отзывались об этом деле, как о некоем чуде. И все, как один, повторяли: «Если бы не Буханчук...» Интонации были разные — от восхищения до раздраженного недоумения.

Что ж, Иосиф Дмитриевич — личность противоречивая. Тем и интересен. Себя самого он объяснить не умеет. А если б и умел? Одно дело — что сам человек о себе думает, другое — что о нем люди скажут, третье — то, о чем ни он сам, ни его близкие даже и не догадываются, но это и есть, может быть, самое главное.

Жизнь Буханчука протекает у всех на глазах и никаких тайн вроде бы не имеет. Родился он здесь, в Студенице. Закончил школу и сразу — на фронт. Сталинградская битва, Курская дуга, тяжелое ранение, госпиталь, снова фронт, а потом направили в военный институт связи, и так неожиданно-негаданно стал профессиональным военным. Служба все выпадала в больших городах — в Киеве, Москве, Ленинграде, но Студеницу он всегда считал лучшим местом на земле. (Замечу в скобках, что я, как ни старалась, особой красоты здесь не увидела — село как село, речка течет, Свинолужкой называется.) Для Буханчука за всем, что есть в Студенице, стоит отец. Отец его, Дмитрий Северинович, основал здесь, еще в 1923 году, одну из первых на Житомирщине сельских коммун, почти сорок лет председательствовал. Отец умер два года назад, последний месяц Иосиф Дмитриевич провел рядом с ним, не выходя из палаты. Любил он отца больше всех на свете, до сих пор говорит о нем в настоящем времени.

А отец, пока был жив, все волновался за здо-

ровье сына. У Иосифа Дмитриевича в 46 лет случился первый инфаркт, который врачи признали запоздавшим эхом старых фронтовых ранений. Вскоре в звании подполковника Буханчук вышел в отставку.

Я все пыталась выяснить, с чего же начиналось пристрастие Иосифа Дмитриевича к изобразительному искусству. Может быть, сам рисовал когда-нибудь? Нет. Собирал картины? Нет, он не коллекционер. Он эту страсть — тащить прекрасное к себе в дом — вообще не уважает. Кем хотел быть? В ранней юности мечтал стать артистом, его ребята-однокашники, ну вот Люба, Нина, Леонид (с этими 60-летними «ребятами» он успел меня познакомить), должны помнить, как он хорошо выступал на сцене. После школы подавал документы в театральный институт, но помешала война. Зато артисткой стала его младшая сестра Шура, играет в театре в Житомире. Но ведь мы не про то, Иосиф Дмитриевич. Вздыхает: не про то. Но что поделать, если никаких других сигналов, предвещающих, что займется он служением искусству, в его биографии не было.

Озадаченно помолчал. Потом радостно вспомнил: да, выйдя на пенсию, занимался он фотографией, даже в выставках участвовал, а еще писал стихи, ходил в литературное объединение, но там одна молодежь... «Все это дилетантство», — огорчалась я. Не пахотя внутренних закономерностей в судьбе моего героя, замечала в его пристрастиях — то актером хотел стать, то поэтом — суетное стремление быть на виду. А Буханчук будто нарочно подогревал эти нелестные предположения о себе.

Заговорив наконец о самом главном, вдруг расхорохорился. Ну, значит, пригласили его десять

лет назад (случайно!) на новое место работы — в Академию Художеств, да, в то здание с колоннами, что стоит в Ленинграде на берегу Невы напротив сфинксов. Ну, быстро там со всеми перезнакомился, со многими «сильно подружился». Замечательные люди художники, трудятся без выходных, как солдаты.

Он сыпал именами знаменитостей, академиков и членкоров, то и дело сообщая, что у того-то дома был, чай пили, к тому-то в мастерскую заглядывал, «по рюмке коньячку пропустили», и, конечно, с пустыми руками не уходил. «Тысячу произведений мне художники для музея передали и никто расписку не попросил». Так вроде бы легко, просто и абсолютно неправдоподобно выглядела судьба дара, с которого начинался музей, а сам он, Буханчук, если судить только по словам, мог показаться человеком несерьезным и даже тщеславным.

Но мало ли, повторяю, что сам человек скажет о себе? Реальные дела красноречивее слов. Итак, самое волнующее и знаменательное в судьбе этого музея, что начинался он с дара.

Правда, когда десять лет назад Иосиф Дмитриевич привез в Студеницу первые 120 картин, подаренных ленинградцами (в документах скромно значилось: «На оформление школы-новостройки»), никто и не подозревал, что ввел он в село своеобразного троянского коня. Буханчук и сам никаких далеких планов не строил, а был захвачен волнением текущего момента: удалось ему что-то хорошее для своих земляков сделать. Он об этом всю жизнь мечтал.

Через год выставка получила название народного музея, а Иосиф Дмитриевич — титул председа-

теля общественного совета музея. Жил он все еще в Ленинграде, но в Студеницу приезжал уже не просто в отпуск, как раньше, а по пять-шесть раз в году (перешел ради этого на полставки) и всегда являлся с тяжелым чемоданом, где лежали свернутые холсты, гравюры или даже скульптуры небольших размеров. Более того, вместе с ним стали приезжать в Студеницу именитые художники, персональные выставки привозили, не только в селе, но и в райцентре, в области потом их показывали.

Но как это у Буханчука получалось? Почему другим сельским третьяковкам не дарят, а тут в самом деле художники 1000 оригинальных произведений подарили?

Я спросила об этом у них самих, позвонив из Москвы в Ленинград. Е. Е. Моисеенко позвонила, В. Б. Пинчуку (оба, как известно, — народные художники СССР, академики). Как радостно они взволновались, услышав имя Буханчука! И говорили о высшей страсти, о завидной трате жизненной энергии. Профессор И. И. Фомин, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Репинского института (он на общественных началах все годы руководит работами над проектом музея), с юмором рассказывал, как терзал Буханчук институт, когда задерживался проект, генеральному прокурору собирался звонить, а в заключение профессор серьезно заметил: «Когда человек всем жертвует ради искусства, его невозможно не любить».

Все姆 жертвует?.. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока пусть побудет Буханчук в представлении читателей эдаким бесшабашным, напористым человеком, умеющим легко входить в доверие, отчего ему и везет (кстати, у некоторых окружающих его людей до сих пор именно такое представление о нем).

Ну а что касается его пристрастия к прекрасному, то судя по рассказам художников, вот что случилось с Иосифом Дмитриевичем, когда десять лет назад он пришел работать в академию. Он вдруг открыл для себя неведомый мир, мир страстных споров о чем-то совершенно непрактическом, но чрезвычайно важном, мир сомнений и увлеченности, бессонных ночей и равнодушия к быту, мир духовно щедрый и немного безалаберный. Все это неожиданно оказалось очень близким ему, созвучным потребностям души, остававшимся до сих пор без удовлетворения. Он не мог понять всей сложности разговоров, но улавливал их главную человеческую суть, и художники это быстро оценили, стали относиться к нему как к равному, приглашали на вернисажи, творческие обсуждения, интересовались его мнением, оказалось — у него интуиция: он безошибочно отличает плохую картину от хорошей, хотя объяснить свой выбор порой не может.

А был он среди художников всего-навсего начальником штаба гражданской обороны, по служебным обязанностям приходилось спускаться в подвалы академии, где хранятся произведения искусства. Так вот, как увидел он впервые содержимое подвалов, все это богатство красок и чувств, под замком запертое, ну просто сердце захолонуло от обиды за художников. (Это он уже сам мне рассказывал.) Сколько ни объясняли Буханчуку, что все нормально: фонды есть фонды, понадобится произведение — его извлекут на свет божий, а если б не лежало оно тут, может быть, и не сохранилось, — признать этот порядок правильным он не мог. А тут еще рассказали ему, как в одном городе «лишние» картины из фондов жгли, он совсем покой потерял. Да мыслимое ли дело, что где-то ре-

шают проблему «перепроизводства прекрасного», когда в его Студенице, например, ни одной настоящей картины нет?!

Человек действия, Буханчук стал искать способ, которым лично он мог бы помочь художникам, и вдруг понял, что тем самым сумеет, наконец, принести пользу и своим землякам. Так в думах о музее счастливо сошлись две его любви.

У каждого из нас в любом возрасте есть свои, пусть неосознанные мерила жизненного успеха. Если даже живешь не так, как хочется, а всего лишь как можется, если заели обстоятельства и, кажется, не до того, чтобы мечтать об идеале, но вдруг какая-то встреча, воспоминание вырывает тебя из сиюминутных забот, и будто смотришь на свою жизнь откуда-то сверху, стыдясь суеты и мелочности, тоскуя, что, может быть, самое лучшее в себе ты забыл, упустил, предал.

Любой деятельной натуре для того, чтобы жить и действовать, нужен образец, воплощающий ее представление о совершенстве. Для Иосифа Дмитриевича, как я уже говорила, примером жизни, прожитой не зря, был путь его отца Дмитрия Севериновича. Между прочим, характер он унаследовал от отца — горячий, находчивый, жадный к участию в людских судьбах. Мог бы, наверное, быть отличным председателем колхоза или, родился он в городе, — директором завода: организаторский дар в нем, что называется, бурлит. Но жизнь распорядилась иначе.

Теперь, оглядываясь в недалекое прошлое, можно понять, что Иосиф Дмитриевич Буханчук, приезжая из Ленинграда в Студеницу, каждый раз привозил в сердце торжественность и какую-то ви-



новатость. Знаю по его рассказам, что ждал он этих встреч с родным селом, как ждут большого праздника. Задолго до поездки ему начинали мерещиться среди городских улиц деревенские шумы и запахи — то резкий звон будильника напомнит крик петуха, исполняющего свою утреннюю побудку, и Буханчук внутренним взором увидит, как вся природа до последней росинки радостно встрепенется на этот призыв снова жить; то в порыве невского ветра уловит он пьянящую струю цветущего хмеля, смешанного с пряным духом скошенной пшеницы и прогретой солнцем земли; то вдруг в метро, среди гула и грохота, почудится ему тихий привет речки Свинолужки, шепотом текущей по чистому дну, где смотрится, вернее, на тебя смотрит каждый камешек, и ветлы гнутся к воде, как зачарованные.

Буханчук считал себя человеком деревенским, дорожил тем фактом, что корни его не асфальтом придавлены, а глубоко в землю уходят, отцом своим гордился, но сам — получалось — деревню бросил.

Шел он деревенской улицей и каждый раз думал: вот больница, ее построили при отце, вот клуб — тоже он, отец... Люди рассказывают об отце легенды: какую-то семью он в лихие годы от голода спас, какого-то непутевого парня от тюрьмы уберег, никого из колхозников ни разу в жизни не обидел! Ну а что вспомнят об Иосифе Дмитриевиче, сыне такого отца?

Буханчук так часто, так возвышенно говорит об отце, что его молодые коллеги (уже есть в музее свой небольшой штат) недоумевают: «Это какой-то пунктик». Прекрасный, надо заметить, «пунктик». Но отдавал ли когда-нибудь Иосиф Дмитриевич себе отчет, что слава отца была ему в жизни немим укором?

Со стороны это трудно понять: в чем он, собственно, себя винил? Но что винил — это точно.

Чувство не исполненного до конца долга перед земляками не покидало Иосифа Дмитриевича. Он остался живым, хоть два пекла прошел — Сталинградскую битву, Курскую дугу, — а 229 его односельчан не вернулись с фронта. «Я в долгу перед павшими, в вечном долгу», — говорит Буханчук, и его слова можно счесть слишком возвышенными (они знакомы нам по песням и книгам), но какое у нас право сомневаться в искренности чувств, диктующих эти слова?

Выйдя в отставку, совсем уж собрался переехать в Студеницу, начать новую жизнь, но запротестовала жена. Он смирился. Попробовал ходить по музеям, театрам (в Ленинграде есть что посмотреть), попробовал беречь здоровье — отдыхать. Не получилось. Затосковал по работе, стал искать, имел много предложений. Переменил несколько мест (места были хорошие, с приличной зарплатой), но все они казались ему случайными, а сам себе, думаю, казался он в те годы неудачником. Пока не прибился к художникам.

Осмелившись назвать Буханчука неудачником, не вижу в этом ничего обидного и хочу сослаться для убедительности на слова Пушкина, сказанные о «неудачнике» Грибоедове: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности». Поскольку в разгадке характера Буханчука такая черта, как честолюбие, сыграет — мы увидим — особую роль, прошу читателя запомнить этот нюанс пушкинской мысли о честолюбии: оно бывает, оказывается, равно дарованиям и, значит, каким-то

образом от них зависит, то есть является закономерным, естественным свойством личности, осуждать которое было бы нелепо.

«Почему никто из художников не написал лен? Вы знаете, как цветет лен? Поле голубей, чем небо», — очаровывал Буханчук сельской экзотикой президента Академии художеств СССР Н. В. Томского, к которому пришел с непростой просьбой: послать от имени президиума письма в Министерство культуры УССР и в Житомирский обком партии и облисполком «по вопросу постройки специального здания для Студеницкого народного музея, расположенного ныне в коридорах сельской школы и лишенного возможности полностью развернуть экспозицию...». Это надо же придумать такой ход: сначала просил областных руководителей, чтобы те ходатайствовали перед президиумом о присылке картин в дар колхозу, а теперь уже просит президиум ходатайствовать перед республикой и областью о строительстве музейного здания, поскольку дар велик и ему тесно (светлые холлы школы уже именуются коридорами).

Хитрый он, Буханчук? Ну, во-первых, сама жизнь заставит идти на все, если бьешься за новое дело, пользу которого на словах никто не отрицает, а реально подступиться к нему не решаются. Во-вторых, если даже и была тут в чем-то хитрость, справедливей назвать ее стратегией — не прошла для Буханчука даром военная выучка.

Трудно перечислить, в скольких кабинетах побывал он за эти годы. Изучил, как говорится, все ходы и выходы министерств и ведомств, сложнейшие административные связи и зависимости, научился играть на амбиции одних и лучших чувств

вах других. «Учитывая Ваше доброе отношение к нашему общему благородному делу, просим в порядке исключения...» И перед ним распахивались самые недоступные двери. Его принимали на минутку, а разговор порой затягивался не на один час. Люди, ставшие впоследствии безотказными помощниками в деле, встречали его поначалу в штыки: морочите голову, требуете невозможного! «Миша, со мной так обошлись...» — раздавался не раз среди ночи междугородный звонок в квартире ленинградского архитектора Михаила Северова, автора проекта музея. («У Иосифа Дмитриевича постоянные провоцирующие обстоятельства для инфаркта», — с тревогой говорил Михаил, с которым мы встретились в колхозе: он не первый отпуск проводит здесь, на строительстве.) Сам Буханчук старых обид не помнит, всех хвалит, всех за помощь благодарит. С обычной своей легкостью докладывает: «На меня кричали, и я голос повышал. Мне что? Я человек независимый. Лучшая должность — энтузиаст».

Конечно, его принимали, выслушивали и, как правило, шли навстречу прежде всего благодаря идее, которую он защищал, но некоторую роль, наверное, сыграли и личные качества Буханчука, даже внешний его облик: не покидающая лицо добродушная улыбка, глаза — они у него под цветом поля цветущего льна, о котором рассказывал в свое время Буханчук президенту. Он сам был олицетворением своей идеи — сельский человек, который не может жить без искусства.

Когда Иосиф Дмитриевич вышел из больницы после третьего инфаркта, председатель колхоза Близинок подарил ему спиннинг: «Будете теперь

рыбу ловить, чудом спасенной жизнью наслаждаться. Музей мы без вас достроим». А через неделю Буханчук узнал, что в соответствии с указаниями составлен акт на консервацию объектов культурного строительства, в том числе и музея. Он бросился в Житомир, к руководству области, где всегда находил поддержку, и попросил разрешения выступить перед работниками банка: «Я сумею убедить!» Наивный он человек, но сколько раз за четыре года строительства его наступательная наивность спасала музей, уже всеми вроде бы признанный, уже поднимающийся из земли, но все еще такой уязвимый.

*«Меценат. В буржуазно-дворянском обществе: богатый покровитель наук и искусств»* (из словаря С. И. Ожегова).

Из письма И. Д. Буханчука: «За 5 лет исчерпались мои запасы и образовались долги, поэтому прошу на этот раз оформить мне командировку...»

«Всюду ездил за свои деньги», — не раз слышала я в колхозе. Сам Буханчук об этом и не заикался. Материальность как таковая его никогда не интересовала. Теперь, может быть, жалеет, что машины за жизнь не сумел приобрести, теперь бы машина ему еще как пригодилась. Живет он в родительском доме в Студенице, а музей строится в другом отделении колхоза — в Кмитове, это шесть километров с гаком. Купил было велосипед, но потом шахтостроители дорогу разрыли и стало трудно ездить. Приходится ждать рейсовый автобус или на попутках, а то и пешком. Встретила его как-то старушка-соседка: «Ну что, Юзек, снова потопал на свой БАМ?»

Можно, конечно, и усмехнуться: ну какой он меценат? Деньги на музей государство дало, картины художники подарили, а в дальнейшем экспози-

ция будет пополняться из фондов. Чтобы сбить усмешку, я расскажу еще один вполне рядовой эпизод из жизни Буханчука. Он лежал в Студенческой больнице (по своим сердечным делам, разумеется), и вдруг ему сообщают, что стройка остановилась, завод не дает блоки под фундамент (лимит музея переправили на другой объект). И вот Иосиф Дмитриевич после утренних процедур садится в кабину к трактористу и несколько дней подряд ездит на завод «вырывать» эти дефицитные блоки... Заплатить, когда денег много, любой сумеет, а вот душой заплатить, *создать* удастся далеко не каждому. Здесь о духовном меценатстве речь, да, в самом прямом смысле.

Буханчук рассказывал мне: когда кончилась война, они, молодые, уцелевшие, но привыкшие каждый день рисковать жизнью и считавшие, что это и есть настоящая жизнь, растерянно спрашивали друг друга: «Что же мы будем теперь, после войны, делать?» Сегодняшние молодые, коллеги Буханчука, жалеют его: «Работает, как воюет». Но ведь это и означает, что человек, как бы потерявшийся после войны, наконец нашел себя! И стоит ли удивляться, что он так нетерпелив, так мучает себя и терзает других этим музеем? «Левое предсердие увеличено в размерах... Периодические сжимающие, жгущие боли в области сердца...» — это из его медицинских документов. Я читала их и думала: как же надо беречь Буханчука! А он тем временем посмеивался: «Если еще два года проживу, у нас такой музей будет, что в Париж с выставкой поедем!»

А теперь пора вернуться к тому разговору о памятке себе. Сказаны были слова зло, из ревности, оттого и возмутили, но если рассудить трезво...

А почему, собственно, плохо, если Иосиф Дмитриевич и в самом деле видит в этом музее кроме всего прочего еще и памятник своему отцу, да и себе лично? Он ведь всю жизнь мечтал добиться чести и признания у своих земляков... И потом, знаете, человек, трижды заглянувший за ту черту, имеет право подумать о памятнике. Это я как бы оправдываюсь перед теми, кто может слишком прямолинейно меня понять и упрекнуть Буханчука в корысти. Но нужно ли оправдываться?

Корысть... Человек, чтобы сделать несбыточное реальным, пожертвовал здоровьем, комфортом большого города, семейным благополучием, наконец... Пока он из Ленинграда в Студеницу мотался, от него жена ушла. («Но она вернется,— успокаивал меня Иосиф Дмитриевич.— Вот построим музей, она все поймет и вернется».) Многие люди видят свое бессмертие в детях, а у Буханчука детей не было. Единственное детище — музей. Корысть... Да, есть у него от музея своя корысть: сознание не напрасно прожитой жизни — разве этого мало?

Независимо от того, как сложится в будущем судьба этого уникального музея, уже то, что на сегодня Буханчук сделал, и прежде всего сама его личность, — тоже, думаю, немалый вклад в культуру. Собственно, что такое музей, зачем нужен он на селе? Это не просто очаг культуры, это именно *очаг*, объединяющий людей, согревающий красотой их души. Буханчук мечтает, чтобы собирались здесь люди, много людей, и чтобы становились они здесь счастливее. Так вот, создавая музей, он уже сейчас своими стараниями, страданиями, горением вдохновил и сделал радостнее очень многих. Вспоминаю, как светлели лица самых разных, в том числе весьма озабоченных, людей, когда заходила

речь о музее. Вспоминаю, как волновались художники. Понимаю теперь: ведь Буханчук открыл им возможность проявить столь естественную и прекрасную человеческую потребность — страсть к дарению. Так и хочется сказать: он чувства добрые музеем пробуждал...

И конечно, сам от всего этого становился счастливее. Я смотрела на него и радовалась: как расширяется человек, каким он становится всемогущим, когда его ведет по жизни одна, но пламенная страсть.

Но откуда, из каких загадочных глубин берется энергия, заставляющая человека на склоне лет стать молодым, без оглядки терять нажитое, без остатка тратиться, надрываться, радостно всходить на свою Голгофу?

Ответов здесь множество. Такие, как увлеченность, целеустремленность, самоотверженность (они и в нашем случае все налицо), я расшифровывать не стану, они очевидны — мы их видеть привыкли. Но вот такой мощный мотор человеческих деяний, как честолюбие, почему-то стыдливо замалчиваем.

Что такое честолюбие? Словари толкуют эту черту характера как негативную: стремление к почестям, к славе, к признанию... Честолюбивому человеку можно, конечно, посочувствовать: ведь он так несвободен от мнения окружающих, в силу своего характера вынужден постоянно что-то людям доказывать... Но как и что он доказывает?

Вспомним слова Пушкина о грибоедовском «честолюбии, равном его дарованиям». И отдадим себе отчет: так ли уж это плохо и для кого плохо, если человек, активно, истово проявляющий свои дарования, хочет, чтобы люди его заметили, чтобы по достоинству его труды оценили? Может, не-



скромно? Как часто о человеке, который мало успел в жизни сделать, прощающе говорим: скромный, ничего для себя не хотел. Но нет ли тут прямой зависимости: не хотел ничего (особенного!) для себя — не добился ничего памятного и для других?

Сколько хороших дел не совершилось бы на земле, если бы не подгоняла человека эта страсть — доказать себе и окружающим, что я есть, я живу и действую и не хочу пропадать в неизвестности. Человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу обществу. Ведь стремление к общему благу становится действенным только тогда, когда оно — потребность души, условие личного счастья, дело личной чести. Чтобы не зарыть свой талант в землю, тоже нужно обладать честолюбием. И если рассуждать без ханжества, то честолюбие есть здоровое чувство человека, ощущающего свою связь с людьми, свою от них зависимость. Без честолюбия прожить на свете, конечно, легче, бесхлопотней. Но зачем нам счастье ленивых?

...Он спит на застекленной веранде, где в углу стоит большой отцовский сундук, а рядом — его ленинградские чемоданы. На веранде терпко пахнет сухими травами. Их собирала — от всех болезней — мать и развешивала пучками под потолком, а теперь про них забыла. Мать стала совсем старой и слабой. По ночам он часто просыпается, прислушиваясь к ее дыханию, иногда она лежит совсем тихо, вроде бы и не дышит, и тогда он спрашивает в темноту: «Ты жива, мама?» — «Какой ты беспокойный, Юзек», — как когда-то в детстве, ворчит на него мать.

Жизнь Буханчука, его нынешнее преображение стали для меня еще одним подтверждением давней дорогой мысли, которую я услышала от Валерии Дмитриевны Пришвиной: самые искренние желания — сбываются!

## ЖИЗНЬ — КАК ТВОРЧЕСТВО

В. Д. ПРИШВИНА:

«...Каждый человек может стать художником своей жизни и установить с миром — как бы это выразиться поточнее?.. — отношения взаимотворчества!»

Давно это было, лет тринадцать назад, — кто-то пригласил меня поехать в подмосковную деревню Дунино познакомиться с вдовой М. М. Пришвина — Валерией Дмитриевной. Теперь даже трудно понять, как могла я, любя Пришвина, не хрестоматийного певца природы Пришвина, а тонкого знатока души человеческой (этого — главного — Пришвина нам еще постигать и постигать), как могла никогда раньше не задуматься, не поинтересоваться даже, что же случилось с той, которой посвящены его «Фацелия», лучшие страницы его дневников. Может быть, дело в том, что творчество Пришвина, став классикой, будто отдалилось от нас на пьедестал времени, куда-то ближе к XIX веку. И просто в голову не приходит, что «Фацелия» может жить сегодня. Неужели стоит сесть в электричку — и догонишь другую, бывшую до нас эпоху? Это чудо оказалось вполне реальным, как реальные, впрочем, и многие другие чудеса, но мы их не замечаем просто потому, что в них не верим.

Встреча с Валерией Дмитриевной, а потом и многолетняя — вплоть до ее кончины — дружба с

нею стала таким событием моей жизни, за которое хочется без устали благодарить судьбу. Должна сразу же заметить, что была я, разумеется, одной из многих, которые тянулись к ней и которых она со всей своей безоглядной щедростью одаривала родственным вниманием. Никогда не имевшая своих детей, была она постоянно окружена молодыми людьми, нуждавшимися в ее духовном материнстве. С каждым у нее были свои, особые отношения, никого она не выделяла и себя — в смысле возраста — от нас не отделяла. Умела она удивительным образом «любить всех одинаково, но каждого больше». «Этот закон любви естественно заложен в самой природе», — часто повторяла она.

С таким мироощущением пришла она в свое время в жизнь Пришвина и принесла эту тему, как главный центр нравственных исканий, в его дальнейшее творчество. В конце дней своих Пришвин писал:

«...Смотрю сейчас на елку, и мне представляется в ней живое существо, идущее из тени к свету. Каждый сук по-своему и со своим лицом несет и отдает свою жизнь на образование ствола... И великое солнце любит все ветви, все лапки, все иголочки. Но как будто оно любит всех-то равно, а каждую иголочку больше, и вот отчего ни одна даже иголочка с другой не сложится: все разные, а ствол прямой поднимается к солнцу...

Вот бы и нам так устроиться в жизни — чего бы лучше! Но мы, если любим всех, то забываем о каждом, и если вспомним каждого — то забываем всех.

Тема нашего времени... как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?»

Итак, первый секрет жизни, который она нам открыла, — это закон любви:

— Любовь — неведомая страна, в которую мы плывем каждый на своем корабле и каждый сам себе капитан. Что есть любовь? Это единение человека с другими людьми, со всем сущим, это стремление к вечности.

Как жаль, что ее слова, такие живые в моей памяти, искрящиеся (у Валерии Дмитриевны был звонкий, молодой голос, порой с озорными оттенками), сейчас, когда переносу их на бумагу, тускнеют, как морские камешки, вынутые из воды. С этим нужно, наверное, смириться, ведь главное — донести смысл ее слов.

Она говорила:

— Если жизнь не представляется тебе великим, незаслуженным счастьем, ищи вину в себе. Вина — в эгоизме, в желании радости только для себя.

Когда я впервые ее увидела (увидела сначала издали, идущую по аллее к дому), она показалась мне величественной... как статуи Летнего сада. Смешно даже вспоминать это первое внешнее впечатление — так не соответствует оно внутренней ее простоте и естественности.

Была ли красивой женщина, встреченная Пришвиным уже на склоне его лет и ставшая его единственной за всю жизнь настоящей любовью? Множество фотографий (сам Михаил Михайлович был, как известно, заядлый фотограф) запечатлели ее меняющийся облик. Но на всех снимках она одинаково серьезна, порой даже кажется суровой. Округлый овал лица, сжатые губы, широкие скулы. Самое привлекательное в лице — глаза, большие и очень внимательные. По фотографиям, впрочем, невозможно понять главное: какие особенные были у нее глаза — умевшие смотреть из

души в душу. Когда, описывая внешность женщины, подробно говорят о ее глазах, значит... Нет, это еще ничего не значит. Просто не берусь судить, была или не была Валерия Дмитриевна красивой в общепринятом смысле этого слова.

Сам Пришвин, судя по дневникам, никогда о ее внешности не задумывался. Более того, устроив смотрины новому литературному секретарю, он при своей-то всегдашней пристальности к людям даже выражения ее лица не заметил, и вообще в первую встречу они очень не понравились друг другу.

Вглядываюсь сейчас в ее портрет (одна из последних фотографий Валерии Дмитриевны висит над моим письменным столом). Чуть расплывчатые черты, сеть морщинок в соответствии с возрастом — она ведь никогда не пользовалась услугами косметики — может быть, простоватая, на беглый взгляд, внешность, может быть, кому-то Валерия Дмитриевна покажется типичной доброй бабушкой, но если остановиться, всмотреться... Даже фотография, из-под глянца, из-под стекла, продолжает излучать все те же теплые, облагораживающие душу волны.

Никогда раньше я не встречалась с такой зримой, такой говорящей внутренней красотой и надеюсь, читатель простит, что пишу о Валерии Дмитриевне в несколько возвышенном тоне — это диктуется строем чувств, которые она в людях пробуждала. Общаясь с нею, каждый из нас испытывал тревожное ощущение, какое бывает будоражащей весной, которая всегда зовет человека подняться во всю его высоту — не пропустить бы весны, успеть почувствовать себя в жизни.

...Мы сидели на открытой круглой веранде дунинского дома (дом одноэтажный, но стоит на при-

горке, и веранда, построенная высоко над землей, как бы парит в воздухе), было время заката, небо поминутно меняло оттенки, и от этой игры света трудно было оторвать взгляд. Валерия Дмитриевна смотрела на закат и с улыбкой в голосе говорила:

— С раннего детства мне было присуще ощущение значимости, неслучайности всего происходящего. Вот говорят: страшна старость; болезни. А я одного страшусь: потерять ощущение жизни как тайны. Это самое дорогое, что у меня есть.

Сразу я и не поняла, что она сказала этим (доверила!) самое сокровенное о себе. Смысл слов о «жизни как тайне» открывался мне постепенно, по мере сближения с Валерией Дмитриевной, и не просто в словах, и не в логике поступков, а на каком-то ином, не требующем рациональных объяснений уровне, именно — открывался, становясь и моим личным переживанием, которое теперь, без нее, так нелегко удержать и так страшно утратить...

Недавно повторяли по радио старую передачу о М. М. Пришвине — прозвучал радостный голос Валерии Дмитриевны, она читала страницы из неопубликованных его дневников: «Ночью мне представилось, что очарование мое кончилось, и я уже не люблю. И я — пустой...»

Нет, ни он, ни она ни при каких обстоятельствах не теряли отношения к жизни как к тайне.

В дневниках Пришвина я нашла пронзительные строки о Валерии Дмитриевне: «Больше всего боюсь, что Л. уйдет из жизни неузнанной...» Этого, к счастью, не случилось. В. Д. Пришвина останется в нашей литературе не только как вдова Пришвина, самоотверженно работавшая (более четверти века, изо дня в день!) над его архивами, выпустившая в свет такие его сборники, как «Глаза

земли», «Дорога к другу», «Незабудки», «Сказка о правде», останется не только как непревзойденный комментатор пришвинских дневников, но и как самостоятельный писатель со своим, непохожим ни на кого голосом.

Писать она начала давно и писала много (правда, публиковаться решилась только в последние годы жизни). О ней невозможно сказать: работала. Просто вставала утром и садилась к письменному столу каждый день, что бы там ни случилось, как бы она себя ни чувствовала, садилась за бумагу, и строчки с легкостью ложились на чистый лист, будто диктовались откуда-то. Я не раз наблюдала ее за работой и, честно сказать, завидовала: откуда такая свобода? И никаких тебе жалоб, что не приходит вдохновение...

Один почитатель Пришвина, молодой пекарь из Таллина, в свое время писал Валерии Дмитриевне о пришвинских «Незабудках»: «Любую страницу можно положить в лесу на поляну, и она будет сама по себе, естественно жить там, ибо нет грубой границы между записью и природой, нет ошибок ни в сердце писателя, ни в строке». Сам Пришвин говорил о себе: «Пишу, как дышу, свободно и свободно». Эта же легкость письма и дыхания была свойственна и Валерии Дмитриевне, но досталась она не как бесплатный дар.

Чтобы писать свободно, из души, нужно сначала воспитать, выделать свою душу, отринув верхнее течение жизни, сосредоточившись на главном в жизни и в себе самом. Нелегко выстрадать внутреннюю свободу. Она говорила:

— Успокоительно, конечно, считать, что человека «делает» среда, обстоятельства, и я, мол, не виноват, что у меня такая судьба или, как нынче считается, «плохие гены». Но кто может отнять у

человека свободу воли, ту, которая дана ему от природы, ему одному среди всего живого? И недостойно же свободных существ всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать.

Вселенная наша — не механизм, и я, человек, участвую в непрерывном творческом процессе, который и есть жизнь. Да, мы движемся, изменяемся в этом живом потоке, хотим мы того или не хотим. Но вот *как* изменяемся — совершенствуемся или деградируем, это во многом, если не полностью, зависит от нас самих.

Человек, не отдавая себе отчета, делает ежесекундный выбор. Порой это выглядит вроде бы просто: пойти — остаться, сказать — промолчать, принять — оттолкнуть лживую мысль... Но из таких мелочей и складывается жизнь. Это только в греческих трагедиях — рок, судьба и человек, маленький, бессильный, обязательно погибает, если борется с судьбой. Нет, в жизни все движется по-иному.

— Вы хотите сказать, что каждый из нас — хозяин собственной жизни?

— Не совсем так. Я не думаю, что жизнь нужно себе подчинять, что вообще нужно вступать в какую-то злую борьбу с жизнью. Нет, не хозяин, мне ближе другое слово: художник. Каждый человек может стать художником своей жизни и установить с миром — как бы это выразиться поточнее? — отношения взаимотворчества!

Узнаю в ее словах знакомый мотив. О том, что вся жизнь есть творчество, о том, что каждый должен найти свою линию творческого поведения, свой угол творческого внимания, не раз писал Пришвин. С ранней юности до глубокой старости неустанной заботой Михаила Михайловича было — остановить, обдумать (записать) то, что происхо-



дило в его душе. Главное в наследии Пришвина — его дневники. Нет, не ради пользы литературы вел он почти ежедневно дневник, а прежде всего из насущной потребности понять, открыть в себе человека... Вся жизнь Пришвина прошла в непрерывности этого нравственного (юношеского!) усилия.

Если понимать писателя как сочинителя, придумывающего на бумаге иную, не существовавшую жизнь, то Пришвин, пожалуй, и не был писателем. Он только передавал правду пережитого (в этом смысле все его творчество документально), опасаясь при этом «излукавить» мудрствованием первоначальность ощущения. Когда читаешь Пришвина, так и кажется: да это же сама жизнь в нем, как в капле, себя осознавала.

Известен романтический пришвинский призыв к человеку: «Открой свое небывалое!» Сам он до конца жизни этому призыву следовал. Потому и не уставал твердить нам о нашем родстве с природой, что не отвлеченно, а на своем личном опыте убедился, что природа и человек — это одно, неделимое. Как в природе все стремится к совершенству, гармонии, так и в человеке есть эта неистребимая потребность. Пришвин был искренне убежден, что каждый из нас только затем и рождается, чтобы прибавить новую черточку в картине бытия.

Как-то я заметила Валерии Дмитриевне, что такая вера в человека вдохновляюще звучит, но если посмотреть реально... Она перебила меня:

— Нет большей реальности на свете, чем идеал прекрасного Человека, живущий в душе у каждого!

Эти слова тоже прозвучали неким шифром, который потом на протяжении лет довелось разгадывать. А тогда, в первую минуту, я ей возрази-

ла: обыденная-то наша жизнь идет отдельно от идеала.

Она согласилась:

— Конечно, нелегко отличить суть жизни от суеты, тем более что «кажимость» всегда поровит выдать себя за сущность. Но жизнь в суете, жизнь кое-как, без оглядки, когда человек не успевает задуматься, куда и зачем он идет (да, собственно, никуда он и не идет, хотя все время спешит), рано или поздно мстит опустошенностью...

Я попросила Валерию Дмитриевну рассказать, как ей самой удалось выработать стиль сосредоточенного творческого поведения. Она сначала смутилась:

— Мой, как вы говорите, стиль поведения мне не виден, и это было бы ужасно — его знать и по нему специально жить. Могу только сказать, что с первых сознательных лет думала о том, что не случайно же я появилась на свет. Мучительно хотелось понять свое назначение, не пройти мимо своей доли.

Но позвольте я вам лучше расскажу сейчас про Агашу, как она себя в жизни нашла. Агашу мы с Михаилом Михайловичем встретили в эвакуации, когда приехали в Усолье. Простая крестьянка, проводившая мужа на фронт, бедствующая, как все мы тогда, Агаша будто светилась изнутри. «Вот сыночка мужу родила,— объяснила она нам,— раньше я так просто жила, а теперь знаю, про что живу». В войну с младенцем Агаше было, конечно, трудней, чем другим, но получается, что легче.

Так и я... Встретившись с Пришвиным, поверила в его дело, в его душу и лишь тогда поняла, *про что я живу*. Долгий и нелегкий был к этому путь...

Однажды Валерия Дмитриевна с горечью призналась: «Ненайденность дела привела меня к провалу в первой половине моей жизни». Вспоминая свою юность, своих сверстников из интеллигентской среды, с несвойственной ей суровостью называла те годы «сплошной говорильней». Так она сама ощущала по контрасту с последующим: первая половина жизни — «провал». Но если проследить внешние вехи ее до пришвинской биографии, кажется, что хорошая, полная была эта жизнь.

Она успела родиться в XIX веке, за два месяца до его окончания. В юности закончила Государственный институт Слова, где лекции по философии, литературе, ораторскому искусству читали люди, чьи имена стали теперь историей: А. Луначарский, В. Брюсов, Д. Ушаков, А. Лосев (с последним она сохранила дружбу до конца своих дней). В трудные годы разрухи, переживаемые страной после гражданской войны, В. Д. Пришвина стала организатором детского дома «Школа радости» для беспризорников. Работала в разных учреждениях, была преподавателем литературы в «стахановской школе» при заводе.

По рекомендации директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича в 1940 году она пришла литературным секретарем к писателю М. М. Пришвину. И осталась с ним навсегда.

Пришвин не раз писал в дневниках, что всю свою жизнь (до 67-ми лет!) будто провел в ожидании этой встречи.

Когда-то в далекой юности, за границей (учился тогда на философском факультете Лейпцигского университета) испытал он сильное потрясение от неразделенной любви к девушке-студентке. Это

чувство стало для него не столько фактом жизни, сколько фактом искусства — боль потери послужила толчком к писательству. Может быть, оттого и писал тогда Пришвин в основном о природе, оттого и казался кому-то «бесчеловечным» писателем, что только в близости с природой искал он утешения. А на личную сторону жизни будто махнул рукой. Страдая от одиночества, он вернулся в Россию и сразу женился на простой доброй женщине из смоленской деревни, «приник к ней, как к земле», прожил с нею долгую жизнь, продолжая тосковать о далекой «недоступной невесте».

Валерия Дмитриевна тоже перенесла до встречи с Михаилом Михайловичем немало потерь и испытаний, ей тоже, как и Пришвину, жизнь часто представлялась непрерывным преодолением боли, и была она в этом мужественна.

Итак, встретились два одиноких, много страдавших человека, похожих прежде всего тем, что каждый сумел сохранить в душе чистоту детства. Пришвин называл себя в ту пору «голодным поваром»: писал он постоянно о хорошем и светлом — «готовил» строчками радость для других, а сам счастья в жизни был лишен. Валерия Дмитриевна, не зная о самоощущении «голодного повара», в свою очередь пугливо думала: «Не ошибиться бы на голодную душу...»

Она пришла к нему в жизнь уже на склоне его лет. И была это короткая, но такая яркая любовь, что света хватило ровно на четверть века, что прожила она одна, без него, но все равно — с ним.

Я никогда не видела Михаила Михайловича, но оттого, что знала Валерию Дмитриевну, кажется, что и с ним лично была знакома. Приезжая летом в Дунино, приходя зимой в Лаврушинский переулок (на двери там висела медная табличка:

«М. М. Пришвин»), встречалась не только с нею, но и с ним. В квартире и в загородном доме все оставалось, как было при нем. Не только вещи на своих местах, но сам духовный уклад жизни тот же. А хозяин будто ненадолго отлучился.

Никакого мемориала. Приходя к ней (к ним), мы будто попадали на очарованный остров живой любви, где светит немеркнущая радость и властвует полное, какое только достижимо между людьми, взаимопонимание.

Но вот что писала Валерия Дмитриевна:

«...Нет, не счастьем надо бы назвать нашу трудную с Михаилом Михайловичем жизнь. Она похожа была скорее на упорную работу, на какое-то упрямое строительство: были обвалы, сыпались камни, едкая пыль жгла глаза, сил, казалось иногда, не хватает...»

Жизнь — строительство. Жизнь — творчество. Могла ли она быть легкой? Достаточно вспомнить, что радость встречи и горечь расставания стоят совсем близко. Такое знаменательное совпадение: они встретились 16 января 1940 года и ровно в этот же день — 16 января 1954 года Пришвина не стало (всего четырнадцать лет вместе, и каких лет — в них вместились война, эвакуация, послевоенный холод, тяжелая болезнь матери Валерии Дмитриевны, уход за нею, прикованной параличом к постели, неизлечимая болезнь Михаила Михайловича...).

«Один и тот же день встречи и расставанья, как две стены, замкнувшие круг двух жизней. Эти жизни были истрачены целиком на «безделье» — так может сказать иной, — да, всего лишь на поиски смысла... Чтобы найти этот смысл, надо было опереться хотя бы на одного единомышленного друга, встретить его на безнадежно запутанных дорогах мысли».

Эти записи Валерии Дмитриевны я прочла уже без нее. Жизнь, истраченная на поиски смысла жизни... А со стороны казалось: этот «смысл» всегда был при ней, как дыхание. И оттого она не суежилась, никогда никуда не спешила. Так и отпечаталось в памяти: счастье — это когда никуда не спешат. Недавно в книге одного философа я прочла: «Представление об осмысленности жизни есть награда за серьезное отношение к жизни». Конечно, сразу же отнесла эти слова к Валерии Дмитриевне.

Мы прибегали к ней со своими сиюминутными заботами и невзгодами, со своими новостями и радостями, но для нее все было значительно и важно. Если она была нужна кому-то, никогда не жалела сил, времени. Я могла бы рассказать сейчас не одну историю о том, как она помогала людям... Ну, хотя бы о том, как много лет опекала (поддерживала и морально, и материально) семью своей старой учительницы, или о том, как «вывела на дорогу» парня, вернувшегося из заключения, или о том, как каждую зиму в дом Валерии Дмитриевны привозили из подмосковной деревни маленькую, сгорбленную старушку, похожую на пугливую птицу, была она слепая, нуждалась в уходе, как ребенок, капризничала, как ребенок, и на несколько месяцев становилась центром, вокруг которого жизнь всего дома вертелась. Можно вспоминать еще и еще. Но представляю, как удивилась бы Валерия Дмитриевна, узнав, что все это ставится ей в заслугу. Так что хватит иллюстраций. Моя цель — вспомнить неповторимые разговоры с нею.

Бывало часто: я приносила ей на совет какое-то письмо из редакционной почты. Она всегда внимательно выслушивала, пыталась представить,

что за человек просит помощи и почему он обращается к «чужим». Помню, она буквально растерялась, услышав, что Хемингуэй в переписке с читателями пользовался печаткой: «Never letters write» («Никогда не пишу писем»). Как можно не ответить человеку? Это не уместалось в ее сознании. Довольно многочисленным своим корреспондентам отвечала с редкой в наше время аккуратностью и обстоятельностью.

Однажды совсем наивное послание: девушка писала, что одинока, что ее никто не любит и ради чего тогда жить? — вызвало у Валерии Дмитриевны возмущение:

— Почему-то принято думать, что к одинокому человеку мир должен спешить на помощь. А если перевернуть наоборот? Не ждать, пока к тебе придут, а самому шагнуть навстречу, искать: кто, такой же одинокий и, может быть, еще более несчастливый, ждет помощи от меня? Помните у Михаила Михайловича в «Корабельной чаще»: «Не гонитесь поодиночке за теплым счастьем!» Ведь человек, оказывается, только тем и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения соотнесен. Эта весть и есть наша человеческая со-весть. Так было во все века. Не думаю, чтобы сегодня что-то существенно изменилось.

Со-весть. Весть о существовании другого. Как точно и емко сказано, ни в одном словаре я не нашла потом лучшего толкования слова «совесть». А она, Валерия Дмитриевна, эти свои драгоценные открытия легко и как бы невзначай роняла, она вообще никогда ни на чем не настаивала, не «вещала», не поучала. И, может быть, оттого ее мудрость становилась нам еще дороже. Это сей-

час, издали, осознаешь, что в общении с нею как бы воскресала, становилась сегодняшней та культура, о которой мы вздыхаем, как о невозвратном прошлом. Она умела держать при себе прошлое. Например, я так часто слышала от Валерии Дмитриевны о «прекрасном докторе Гаазе», что сложилось невольное убеждение, что и его она лично знала (ведь столько людей знала!). И как-то не хотелось отдавать себе отчет, что доктор Гааз жил и умер еще в прошлом веке. Она называла этого человека «нравственным героем».

— Да, когда одолевают меня сомнения, вспоминаю прекрасного доктора Гааза. Молодой, преуспевающий московский врач жил в довольстве и почете, его наперебой приглашали в лучшие дома, но вот однажды дела привели его в пересыльную тюрьму. День, когда он переступил порог камеры, стал последним днем его безмятежной жизни. Чудовищные страдания людей (впервые он их воочию увидел) заставили Гааза бросить все, что он имел — положение, имущество, дом. Все было отдано обездоленным. Гааз становится тюремным врачом, сам проходит по этапу в кандалах, чтобы доказать их невыносимую тяжесть. Всего, что он сделал для облегчения участи каторжан, не перечесть. Умер этот человек одиноким и нищим. Хоронили его на «полицейский счет», однако в похоронах участвовало более двадцати тысяч человек — вся Москва. Прошло больше ста лет, но до сих пор, бывая на Введенском кладбище (Пришвин похоронен там же), на могиле Гааза видишь живые цветы. В любое время года. Ходит легенда, что эти цветы приносят ему дальние потомки тех каторжан, спасенных доктором.



...Могилу доктора Гааза, знаменитую могилу, где на ограде висят кандалы и где на памятнике написано: «Спешите делать добро», — я посетила совсем недавно, уже без Валерии Дмитриевны. Туда, на Введенское кладбище, я ходила к ней самой — она похоронена рядом с Михаилом Михайловичем Пришвиным. Медленно раскачивались верхушки старых лип, серьезно перекликались в листве птицы, небо над этим маленьким спокойным уголком земли казалось необычно голубым и высоким. Могилу доктора Гааза мне пришлось искать долго, почему-то никто из встречных такого имени раньше не слышал.

— Жизнь — живая, она трепещет, — сказала однажды Валерия Дмитриевна. — Люди глубоко заблуждаются, когда хотят строить будущее за счет настоящего. Главное — что происходит сегодня, сейчас.

Один из нас, присутствовавших тогда при разговоре, вздохнул: «Но в юности мы все откладываем жизнь на завтра, а в 40 начинаем жаловаться, что жизнь прошла...»

— Я встретила с Пришвиным как раз в 40, и это оказалось началом моей новой, осмысленной жизни. Никогда не поздно начинать. Моя старая учительница, когда я к ней приходила с какими-нибудь жалобами на жизнь, говорила: «Бери чистую тетрадку и пиши по-новому»...

Разговор этот происходил в гостиной в Лаврушинском переулке, за большим столом, покрытым еще в давние времена простым дерматином. Собираясь за этим столом, люди, часто незнакомые друг с другом, разные по профессии, по возрасту, становились открытыми и какими-то просветлен-

ными, один другому желанными. В ее присутствии в каждом поднималось самое хорошее, а плохое оседало на дно — ну, просто фокус какой-то она с нами совершала. А сама порой даже не участвовала в разговоре. Прикроет глаза, запрокинет назад голову и будто улетела куда-то мыслями, не слушает. Скучно ей нас слушать? Но вдруг в какую-то минуту спора такое слово вставит, что сразу становится понятно: ничего она не пропустила, правда, все, о чем мы горячимся, ей уже давно известно, но все-таки не скучно, нет, скучать она не умела.

Разговор о том, что жизнь никогда не поздно начинать сначала, я записала сразу же, как пришла домой. Так что приведу сейчас это своеобразное интервью почти в доподлинности.

— Валерия Дмитриевна, очевидно, секрет счастья в том, чтобы найти гармонию между своим «хочу» и «надо»?

— Помните, Пришвин не раз говорил, что вся жизнь в известном смысле «хомут»... «Успейте же выбрать себе хомут по шее и будете свободны так же, как я». Да, каждому человеку нужно найти дело по себе, ношу по себе. И чтоб была она радостной. Знаете пословицу: «Своя ноша не тянет»? Это не в смысле собственности. «Своя» — потому что соответствует моему призванию, моей любви.

— Но если не повезет человеку с выбором профессии?

— Скажите, мать — это профессия? Дружба — это специальность? Я так часто убеждалась: если человек не стал скептиком и нигилистом, не изменил надежде, то рано или поздно он выйдет на путь. У Пришвина в дневнике есть запись: «Моя неудача — не есть неудача... Это — мое испыта-

ние. Удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину».

Кто-то из нас вспомнил другую цитату, из «Незабудок»: «Грибы — это школа вниманья. Доходит до того, что кажется, будто от силы вниманья и рождаются грибы. Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет».

Это ведь не просто о грибах?

— Это о внимании как творческой силе в любом нашем деле. И, конечно, о терпении. Оно равно необходимо и «невезучему» и счастливому, и в старости и в молодости. Если вам кто-то скажет, что не выдержал, потому что у него не было сил, — не верьте. Человеку дается ровно столько испытаний, сколько он может перенести.

— Но почему так: из мудрых книг, из свидетельств наших современников мы знаем столько важных секретов о жизни, а вот же — не пользуемся...

— Ошибки у каждого — свои. Англичане говорят: «Никто не может попробовать яблоко для вас».

— А все-таки в чем, Валерия Дмитриевна, цель человеческой жизни?

— Цель жизни? — переспросила она. — Да не может ее быть! Смысл жизни и цель жизни, как же они по сути своей друг с другом спорят и несовместимы, хотя на первый взгляд кажется, что это — одно...

Итак, она отметала слово «цель», как неточное, слишком прагматичное. И продолжала:

— Когда мне говорят о ком-то: интересный, яркий, способный — я спрашиваю: а добрый ли это человек? Доброта... Я вот часто думаю: какие прекрасные понятия — красота, счастье... Но почему же каждый толкует их по-своему? От часто-

го повторения, небрежности эти слова истощились, может быть? И только «добродота» проста и понятна всем, как хлеб. Знаете, высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым...

— Значит, смысл жизни в том, чтобы быть добрым? Чтобы научиться быть добрым?

— Именно в этом главная радость и смысл.

— Но знаете, Валерия Дмитриевна, многим людям кажется, что призывы «Стань лучше!» приносят только обман и вред. От того, что десять, сто, пусть даже тысяча человек станут самосовершенствоваться, в мире ровным счетом ничего не изменится. Только им, мол, наивным одиночкам, станет труднее жить. «Не честнее ли, — рассуждают они, — призывать людей на борьбу с конкретными недостатками, которых еще так много вокруг, чем агитировать их бороться против какой-то сомнительной душевной лени?»

— Интересно, как эти люди понимают, что значит — человек самосовершенствуется? Что он делает? Сидит в позе роденовского «Мыслителя»? Выдерживает голодную диету — «очищается»? Признаться, все слова, начинающиеся с частицы «само», меня отпугивают. Ведь если кто-то истолкует их в буквальном смысле, получится замкнутый круг, по существу, самоубийство: свое — для себя — совершенство. Теории, как жить, создавались и будут создаваться. Наверно, они хороши как указатели в живом потоке жизни. Если же руководствоваться только ими, то остается почему-то одна сущь. Ну а жизнь движется поступками, каждый раз по новому, по мгновенному зову сердца.

— Мне сейчас вспомнился шутливый рассказ Пришвина «Как я бросил курить». Он списан, как

и все рассказы Пришвина, с жизни. Расскажите, пожалуйста, про этот случай.

— Было это еще в тридцатые годы. Михаил Михайлович обидел близкого человека и, огорченный, ушел в лес и там вновь увидел, что жизнь всюду хороша, а у него на душе плохо — он виноват. Как свою вину исправить? Попросить прощения? Дать обещание? Забудется. И вдруг ему пришло в голову: если оторвать от себя тридцатилетнюю привычку курить, этот случай уж никогда не забудешь. Пришел домой и записал в дневнике договор... с самим табаком: «Табак освобождает меня от куренья навсегда». Как ни мучался потом, а слово свое («перед табаком»!) держал. Впрочем, тут, понимаете ли, не в отказе от курения суть...

На минуту задумавшись, будто вспомнила что-то важное и начала как бы с середины:

— Медленно зреют плоды. Но не надо унывать — они зреют. И это общее движение создается в жизни личным усилием всех и каждого из нас, даже и тех, кто, как нам кажется, слепо и сонно живет. А вообще-то, конечно, для человека существует до самого последнего его дня возможность проснуться, начать жить и обрадоваться.

Здесь сразу же хочу процитировать одно неотправленное письмо Михаила Михайловича. Оно было записано в дневник однажды осенью в золотом дунинском лесу (в 1951 году):

«Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороп-

люсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные...»

Кому это письмо? Ей, Валерии Дмитриевне? Наверное. Но конечно же не только ей одной: этот зов, этот крик о живой воде («...необходимо мне дать ее вам») обращен к каждому человеку, читателю. В каждом Пришвин готов был встретить «неведомого друга». Он потому только и осмелился стать писателем, что пером, как долотом, без усталости пробивал ход к чужой душе. Все его творчество было, по сути, преодолением одиночества, разъединенности людей. Этот веселый охотник был в сущности «охотником за своей собственной душой». Он потому с таким напряжением старался до глубины понять в себе человека, что через это познание мог понять и других, то есть выйти из самозамкнутости «я» к другим людям.

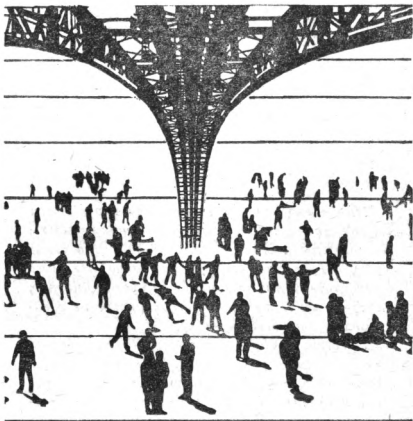
Пришвин говорил о себе, что рожден был без улыбки (фотография «Курымушки», серьезного до грусти мальчика со взглядом, обращенным внутрь себя, это подтверждает). Ему пришлось постепенно наживать улыбку. Он сам сделал себя оптимистом, умеющим радоваться жизни,— ведь только радостный человек может увеличивать добро и свет в мире. В тяжелых предсмертных страданиях делает такую запись в дневнике: «Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стане своем как возможность, как поддержку».

До встречи с Валерией Дмитриевной Михаил Михайлович искал гармонию в окружающей природе. После того как они встретились, Пришвин потрясенно убедился, что полная гармония достижима и в сложном, запутанном мире человеческих отношений. Теперь, издали, уже можно, уже пора

сказать, что эта встреча была им обоим заслуженной наградой. За то, что и он, и она умели добывать радость из самого «серого» вещества повседневности, что чувствовали благодарность к жизни за самые скромные ее дары. Встретившись, эти двое не могли, да и не хотели быть счастливыми просто для себя, только для себя. Недаром (помните?) назвала Валерия Дмитриевна свою жизнь с Михаилом Михайловичем «строительством». А Пришвин так открыто, так много писал об их любви, будто хотел своим счастьем всех людей одарить. Да так оно и случилось. Не могло не случиться. «...Неужели напрасно пел соловей в весеннем саду?»

«Любовь нужна людям не меньше, чем хлеб, а о хлебе люди хлопочут откровенно, неутомимо. Значит, можно также и о любви» — это из рукописи Валерии Дмитриевны, пока еще неопубликованной.

...В Дунино, как и прежде, цветет жасмин, муравьи кропотливо воздвигают свой муравейник, ели охраняют дом и луг. Приезжая сюда, я будто вновь встречаюсь с Валерией Дмитриевной — дунинский «климат» настолько создан ею, сам воздух, кажется, напоен ее радостным удивлением перед жизнью, и не может это так быстро выветриться. Она умерла ровно в восемьдесят, не болея, легко и внезапно умерла, будто куда-то от нас отлетела. «Не страшна старость, болезни...» Даже смерть ее — странно сказать — выглядела не страшной. Она будто оставила нам завещание: «Да здравствует мир без меня!» Стольких людей успела озарить своим светом, приобщить к ощущению жизни как тайны... Да разве умерла она?



---

## *Глава вторая*

---

*И сбывается небывалое*



*Меня давно волнует вопрос: как случайности нашей жизни складываются в закономерность, которую мы и зовем потом судьбой? Что такое судьба? Тропинка, которую нам дано поглубже протоптать, так и не изменив ее русла? Диктант, который мы пишем по жесткой указке не зависящих от нас обстоятельств?*

*Известно: в одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут себя совершенно по-разному... Легче всего, конечно, списать свои неудачи, все свое неслучившееся на неблагоприятные условия, на судьбу. Но знаем же мы: многое, очень многое меняется в жизни того, кто сумел воспитать в себе властное, если можно так выразиться, отношение к своей судьбе.*

## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Легенда о человеке, который изобрел новый способ предсказания землетрясений, быстро облетела город. Я сама видела, как в библиотеке, в гостинице, в аэропорту совсем незнакомые люди, узнав, что перед ними тот самый Одеков, начинали расспрашивать подробности, благодарить его, хлопать по плечу, жать руку. Светлоглазый, корректный в обращении, сдержанностью своих манер, да и всем обликом вовсе непохожий на экспансивного южанина, Одеков в такие минуты оттаивал, терпеливо отвечал на самые нелепые вопросы, обычно суховатая его речь становилась образной, и на всегда серьезном лице проскальзывала улыбка. Кто-то из учеников Одекова сказал мне потом: «Это такой человек... Собранный! Его переживаний и под рентгеном не увидишь».

А мне было важно понять именно переживания человека на его нелегком пути к открытию. Но как понять, как все это себе представить, если почти ни о чем, кроме своей науки, Одек Акчаевич Одеков говорить не любит, а может быть, просто не считает нужным. И если бы не его старший брат Авды, с которым они живут сейчас одним двором, не удалось бы мне, наверное, даже отчасти разгадать характер Одека.

Каждый день прихожу в этот цветущий весенний двор, где три вишни, как три белых облака, спустившихся на землю, и в них тонко, мерно гудят усердные пчелы, а по земле, по сочно-зеленой траве задумчиво бродят куры и азартно бегают маленькие внуки Авды (у Одека — трое детей, но внуков пока нет). И каждый день на фоне этой почти идиллии — мне кажется — буквально у меня на глазах вновь и вновь в рассказах Авды со всей силой сегодняшней боли встает страшная трагедия семьи Одековых — ашхабадское землетрясение 1948 года.

Известны цифры: ежегодно на земном шаре происходит около миллиона землетрясений различной силы, в среднем — одно катастрофическое, сто — разрушительных, сто тысяч — ощутимых. То есть два землетрясения в минуту. Со времени ашхабадского землетрясения 1948 года до наших дней от землетрясений погибло свыше одного миллиона человек. А материальный ущерб, по данным ООН, составляет около десяти миллиардов долларов в год.

Эта статистика, конечно, поражает ум, но, честно сказать, как-то не вмещается в сердце. Таково уж, видно, защитное свойство нашей психики — большие числа звучат для нас некоей абстракцией. Но вот сталкиваешься с трагедией одной конкретной семьи, и в горле ощущаешь ком, может быть, похожий чем-то на тот, который, говорят, мучает людей в моменты сильных землетрясений.

*...У Одековых было пятеро сыновей и дочь, мать в то время ждала седьмого ребенка. У них был свой небольшой дом неподалеку от рынка и свой*

огород, которым в трудные послевоенные годы кормилась семья. Они жили бедно, но счастливо. Главное, что отец вернулся с войны живым, и хоть болели у него фронтовые раны, но ни Авды, ни Одек не помнят отца хмурым или раздраженным. Золотой был человек Акча Одеков, сын караванщика, младший сын, которому одному из всей семьи сумели дать образование — он закончил рабфак, хорошо знал русский и арабский. После войны отец работал заместителем директора в педучилище. Ни на своих детей, ни на чужих он никогда не повышал голоса, самое сильное выражение, которое мог себе позволить, — сказать расшалившемуся мальчишке: «Ах, безобразник».

Дети знали, что поженились их родители по любви.

На русский язык название Ашхабад переводится как «город любви». В 1948 году жило в этом городе 132 тысячи человек. Утопал Ашхабад в ажурной зелени плакучих ив и тутовника — парки, фонтаны, старинные памятники, мечеть, гробницы; было в городе 15 больниц, 19 поликлиник, 5 роддомов, два драмтеатра и два детских театра, филармония, 9 кинотеатров... В ночь с 5 на 6 октября в считанные 10 секунд (да, всего 10 секунд длился первый, самый разрушительный толчок 10-балльного землетрясения) города Ашхабада не стало. В нашей стране ни до, ни после такого катастрофического землетрясения не было (ученые относят его к числу крупнейших землетрясений, которые происходили на памяти человечества). Вся территория города мгновенно сместилась к северо-востоку почти на два метра. В городе уцелело три или четыре дома. Из большой семьи Одековых остались в живых двое — Авды и Одек, вер-

*нее так: из-под обломков рухнувшего дома Авды удалось спасти одного — Одека. Но как это было, расскажу позже.*

Сейчас вспоминаю свои разговоры с Одеком и самой странно: часами выслушивала лекции по геотектонике, от которой раньше была совсем далека (и не ради этого же я приехала), голова трещала от незнакомых терминов, от непостижимой сложности информации о катаклизмах, непрерывно происходящих, оказывается, в земле под нашими ногами, но хотелось слушать еще и еще, вникать в тонкости, следить за ходом мысли ученого, сомневаться вместе с ним, верить вслед за ним, удивляться... А удивляться (и, кстати, сомневаться) было чему. Речь-то шла не только о способе предсказания землетрясений. Этот способ, официально зарегистрированный Государственным комитетом по делам изобретений и открытий, возник уже как результат, как практическое подтверждение новой теории, которую разрабатывает Одеков на протяжении 17 лет. Так что речь шла, представьте себе, об открытии, о котором еще в 1979 году ТАСС передал такое сообщение:

«По-новому объясняет механику образования континентов и океанов, гор и впадин Земли профессор политехнического института в Ашхабаде (Советская Средняя Азия) Одек Одеков. Сорокапятилетний туркменский ученый разработал общую теорию образования складок, разломов и глобальных процессов в земной коре. Он утверждает, что в гигантском «строительстве» на планете участвуют не только «чистые» вертикальные и горизонтальные движения пластов, как считалось до сих пор в мировой науке, но и совместно дейст-

вующие вертикальные и горизонтальные перемещения...»

Здесь нам нужно остановиться. Прошу прощения, читатель, за небольшой экскурс в область науки, но он необходим и, по-моему, весьма интересен. Итак, в науке о Земле давно идут ожесточенные споры между сторонниками двух теорий — фиксизма и мобилизма. Первые считают, что материки нашей планеты неподвижны и что все деформации в земной коре объясняются действием вертикальных сил. Вторые утверждают, что материки «плавают» по лику Земли (в подтверждение этой гипотезы приводится такой простой фокус: если мысленно сдвинуть на карте все континенты, то их края как бы «слипаются» — значит, когда-то они составляли единое целое, а потом разорвались) и что все деформации в земной коре зависят от горизонтальных движений. Разумеется, и мобилисты, и фиксисты приводят в доказательство своих взглядов массу вроде бы неопровержимых фактов.

Ну а что же Одеков? Неужели он фиксистов и мобилистов примирил? Сам он абсолютно убежден, что да, его теория, если глубоко и конкретно в ней разобраться, гасит многие споры. Но поскольку спорящие стороны, как мне стало потом известно, аргументов Одекова признавать не спешат, более того, многие обижаются: вот, мол, нашелся пророк — я не беру на себя смелость давать оценку теории Одекова. Сошлюсь на авторитеты. Известные ученые страны в отзывах на его заявку об открытии пишут: «О. А. Одековым обнаружено неизвестное ранее, новое явление в земной коре, получившее как теоретическое, так и практическое обоснование»; «...как показывает широкий просмотр специальной литературы, до

работ О. А. Одекова данное явление прежде не было описано»; «...открытие О. А. Одекова имеет фундаментальный характер для наук о Земле и престижное значение для советской науки». Директор ГИН АН СССР академик А. В. Пейве, строгий Пейве тоже признает: Одеков доказал, что «вертикальные и горизонтальные тектонические движения, проявляясь совместно, независимы друг от друга, то есть не трансформированы одни в другие и не обусловлены одни другими».

«Ну что, обратился я вас в свою веру?» — время от времени спрашивал Одек. А я и верила и не могла поверить: неужели вот здесь, в этом патриархальном дворе, где цветут вишни и бродят куры, сделано открытие? Мне вспоминались, конечно, слова Эйнштейна: все знают, что открытие сделать невозможно, но вот находится чудак, который этого не знает, он-то и делает открытие.

Впрочем, гипотеза Одекова открытием пока официально не признана, ну а сам Одеков отнюдь не похож на чудака. Спокойный, деловой человек. Кому-то он может показаться самоуверенным и даже пробивным, во всяком случае, я слышала о нем такие отзывы. Правда, тут уместно спросить: да как же не быть пробивным, если тебе кажется, что ты чрезвычайной важности открытие сделал, а тебе не верят? Прав или не прав Одеков, решит время. Я сейчас не научный трактат пишу, а хочу рассказать о судьбе человека. И его субъективность, если даже он в отношении своей теории заблуждается, мне интересна тоже.

Итак, Одеков невозмутимо заявляет: «Это просто закономерность судьбы, что открытие пришло именно ко мне». Он ведь не замахивался на открытие, в мыслях такого не держал, а имел в жизни (с самой юности) единственную упрямую

цель — разработать эффективный способ предсказания землетрясений. И надо же понимать, что теория Одекова, которую некоторые ученые называют «фундаментальным, престижным для советской науки открытием», для него самого имеет ценность прежде всего потому, что, исходя из этой общей теории, он сумел найти, сформулировать, наконец, способ прогнозирования землетрясений. И недаром свою недавно вышедшую книгу, где изложена эта теория, он посвятил (впервые осмелился посвятить, хотя и до этого у него выходило немало книжек) «Светлой памяти... родителей, трех братьев, сестры и всех погибших во время ашхабадского землетрясения 1948 года».

*...В кабинете Одека на самом видном месте висит фото: парень в белой папаше держит на плечах двух мальчишек, они, тоже в папашах, так торжествующе сидят у старшего на плечах, будто летят в воздухе, один протянул руку вперед, куда-то в будущее. Мужественное, чуть грубоватое лицо у парня (узнаю в нем Авды), красивые, нежные лица у мальчишек, но — три одинаковых улыбки. Это фото из «Огонька» за 1946 год «Братья Одековы». Сделан снимок на Красной площади. Все трое были участниками парада физкультурников. Оказывается, Авды был в ту пору известным спортсменом, занимал призовые места на всесоюзных соревнованиях по борьбе (после землетрясения спорт бросил), он и младших братьев к спорту приобщил. Правда, Одек никак не приобщался, поэтому его на снимке нет.*

*Не могу оторвать глаз от этой фотографии. Одек сначала будто не замечает моего внимания, роется на письменном столе, потом неторопливо встает,*



*подходит к стене: «Этот, справа, видите, какой отчаянный — Керим. В честь него Авды сына назвал. А этот, поскромнее, — Халим». На мгновение останавливается и вдруг: «Да, Халим... Вот сейчас мы его позовем. Халим!» Это было так неожиданно, что я вздрогнула. В дверях, застенчиво переминаясь с ноги на ногу, возникает симпатичный кудрявый парень. Это младший сын Одека, студент. Отец спрашивает его о чем-то незначительном и быстро отпускает. Минуту-две длится молчание. Не знаю, о чем думал в это время Одек, но, может быть, о том же, что и я — об этой доброй, старой народной традиции давать детям имена дорогих близких, как бы утверждая бессмертие рода.*

Мы столько говорили с Одеком о землетрясениях... Я уже усвоила, что землетрясение — одна из форм разрядки напряженности, возникающей в горных породах, землетрясение — ЧП, а в основном «Земля дышит ровно», да, она именно «дышит» — какие-то движения в земной коре происходят постоянно, например, ежедневно пробегают, оказывается, по земной поверхности приливные волны от Луны, но мы их не замечаем. Мы привыкли относиться к Земле, как к чему-то неизблемому, самому в нашей жизни надежному — твердь земная, а она вот живет, дышит. Иногда раздаются грозные вздохи Земли... Отчего возникает в недрах напряжение пород, вызывающее землетрясение, науке пока неизвестно, хотя существует множество гипотез. И вот получается, что предсказать нужно процесс, механизм которого пока — тайна.

Человечество издавна жаждет найти универсальный способ предсказания землетрясений. Ка-

кие только идеи здесь не выдвигались, какие приметы не выдумывались! Один кондитер из Токио утверждал, например, что он может предсказать землетрясение, наблюдая изменение оттенков отварного риса для японских сладостей. К сожалению, существующие сегодня в науке способы предсказания гадательны, частичны (берется, как правило, один какой-то признак — например, повышение содержания родона в воде в преддверии землетрясений) и похожи порой на способ того кондитера.

Предсказать землетрясение — значит определить его силу, расположение эпицентра и регион охвата, то есть место действия, и — главное — время. Если силу и место ученые сегодня уже научились определять, то узнать время никак не удастся. В многочисленных сборниках, посвященных проблеме предсказания, подчеркивается, что землетрясение коварно, оно всегда приходит внезапно... «Когда же предсказание землетрясений окажется возможным и появится эффективная служба прогноза? Пока на этот вопрос ответить нельзя», — говорится в предисловии к одному из таких сборников.

«Нельзя спорить с землетрясенцем» — эти строчки из Гёте вот уже второе столетие звучат, как горькое пророчество... «Беда в том, — считает Одек, — что к проблеме предсказания обычно подходят либо с позиций фиксизма, либо мобилизма...» Он, будто сам был очевидцем, рисовал мне ужасающую картину китайского землетрясения 1976 года, и калифорнийского, и аляскинского, но о подробностях того, что случилось в Ашхабаде, говорить избегал.

Кто-то избывает трагедию тем, что рассказывает о ней, кто-то переживает молча, как Одек.

Только однажды, в минуту откровения, он вспомнил о своих ощущениях перед землетрясением: «Последние кадры моего детства, потом детство кончилось».

*...В ту ночь Авды уезжал на соревнования. Одек пошел проводить его на вокзал. Возвращался уже в двенадцатом часу. Город спал. Ни одного человека на улице, окна темные. Он шел по центральному проспекту Свободы, по широкому, освещенному проспекту, и с каждой минутой его все сильнее охватывал страх. Духота стояла, как перед бурей, небо затянуто дымкой — тяжелое, грозное, оно будто готовилось упасть. И какая-то пронзительная тишина: не лаяла ни одна собака, хотя тогда их в городе было много. В воздухе висело что-то жуткое. «Что-то жуткое», — повторяет Одек.*

*Ему было настолько не по себе, что, когда увидел свет в окне милиции, зашел туда. Ему никто не удивился, ни о чем не спросили, видимо, и сами чувствовали какую-то непонятную тревогу. Посидел минут десять, перестал дрожать и отправился домой. Перелез через забор. Джульбарс не бросился, как обычно, ему навстречу, потом оказалось — сбежал Джульбарс. Родители не спали, ждали его, расспросили, как проводил брата, попили по обыкновению чай. Одек помнит, что перед тем, как уснуть, он читал сказки Пушкина...*

Ему было в то время 14 лет. Он хотел стать историком или литератором. Землетрясение запрограммировало жизнь по-иному. Он поступил в Московский нефтяной институт имени Губкина,

на факультет геофизики — это было ближе всего к сейсмологии, которая как раз в ту пору стала активно развиваться. «Катастрофическое ашхабадское землетрясение 6 октября 1948 года послужило толчком для развития отечественной сейсмологии... С этого времени в круг сейсмических исследований, проводившихся в Советском Союзе, была включена проблема поисков предвестников землетрясений» — это строки из сборника «Предсказание землетрясений».

Чтобы проникнуть в тайну землетрясений, нужно хорошо знать процессы, происходящие в земной коре. Но их глазами не увидишь, их можно восстановить только в ретроспективе, изучая структуру гор и складок, которые и есть не что иное, как застывшие отпечатки тектонических движений. Геофизика — как раз та наука, которая открывает возможность «смотреть сквозь землю».

Одеков работал в геофизических экспедициях в центральных Каракумах, в Небит-Даге, на Челекене. Бездорожье, пески, жара до 80° на солнце, а тени нет. Зароешь яйцо в песок — сразу сварится. Аппетита никакого. «Пьешь — потеешь, пьешь — потеешь...» Жили в палатках, а порой и без палаток. Искали нефть и газ — изучали глубинное строение пластов. Он прошел путь от оператора до интерпретатора — сотни «электрокардиограмм» скважин, сотни килограммов кернов пропустил через свои руки. Он делал описания, расчеты, анализы, в 27 лет защитил кандидатскую (по проблеме нефтеносности Котур-Тепе), но подспудно, что бы ни делал, думал, конечно, о своем.

И вот в 1965 году ему удалось обнаружить Овал-Товал. «Сначала был Овал-Товал...» Спрашиваю: что это — название места? «Нет, Овал-Товал — антиклинальная структура. Такая маленькая подземная гора». — «Подземная?» Он слегка хмурится на мою непонятливость: снова нужно объяснять азы. Берет карандаш и рисует ряд горизонтальных линий. Земная кора (она достигает порой 80 километров) делится на слои: базальтовый, гранитный, осадочный. В ней свои горы, свои впадины. Так вот, издавна считалось, что вся структура Котур-Тепе (а Овал-Товал находится на ее крыле) сформировалась вследствие вертикальных тектонических движений, обусловленных силами растяжения. А теперь оказалось, что Овал-Товал не укладывается в стереотип: исследования показывают явные следы горизонтальных движений. И значит, эта гора возникла самостоятельно и независимо от Котур-Тепе. И значит, в формировании складчатости действуют одновременно разные движения... Но можно ли на примере одного маленького фрагмента Земли делать глобальный вывод?

Одеков сначала теоретически предсказал, а потом практически доказал, что подобные «странности» встречаются по всей Западно-Туркменской впадине. Позже он нашел аналоги в Днепровско-Донецкой впадине и в регионе Большого Кавказа. Дальше — изучение материалов о складчатых системах Крыма, Карпат, Альп, Гималаев, прибрежных цепей Марокко, Алжира и Туниса, Андалузских гор... И всюду, по всему Альпийскому поясу, несмотря на специфичность развития различных его частей, выявляется та самая совместность действия вертикальных и горизонтальных движений, а не единственность какого-то из них, как считалось раньше.

Ну, хорошо, пусть так. Но что это практически дает?

Одек, заново удивляясь, рассказывает, что когда сел он писать заявку на открытие и дошел до части «практическое применение», то способ прогнозирования землетрясений сформулировался как бы сам собой. Он так обрадовался, что тут же позвал со двора жену Майю и брата Авды, стал читать им заявку. Они, правда, отнеслись к его сообщению с осторожностью.

На мой вопрос «как делается открытие?» Одек объяснил только, что сначала идет накопление массы фактов, «пропускаешь их через себя», а потом наступает «такой момент... ну, озарение, что ли!» «А часто ли вы сами бывали в горах?» — спрашивала я. И где, мол, на каком перевале мелькнула догадка? Он перечислял без энтузиазма: Кавказский хребет, Крым, Тянь-Шань, Карпаты, Альпы... Студентом не раз прошел пешком Военно-Грузинскую дорогу, взбирался на Казбек и Эльбрус, сейчас — со своими студентами — ходит на Копет-Даг. Но все это отношения к открытию не имеет. Визуальные наблюдения, доступные современной геологии, — «всего лишь романтика». Нужны геофизические методы!

Я заметила, что каждый раз, заговорив о геофизике, Одек тускнеет. Плохи дела с геофизикой в Туркмении. В свое время работал здесь известный на всю страну Институт физики Земли и атмосферы. Одек был его директором-организатором, одиннадцать лет (с 1965 по 1976) возглавлял институт. Но потом сменилось руководство в Академии наук ТССР и начались в институте реорганизации. Сначала атмосферные исследования отобрали, потом решили закрыть направление геофизики.

«...До меня дошли странные слухи, будто бы Вы оставили работу в Академии наук ТССР и перешли на какую-то другую работу,— писал Одекову из Новосибирска А. Яншин, «геолог номер один», как называют его между собой коллеги.— Не знаю, насколько слухи справедливы, но если это так, то я очень сожалею, потому что Вы несомненно талантливый исследователь, и наиболее подходящие условия для развития и реализации Ваших способностей могла бы дать именно Академия...»

Слухи подтвердились. Одеков, не сумев отстоять необходимость широких геофизических исследований, действительно из системы Академии наук ушел. До сих пор это большая боль Одека, но и о ней он говорить избегает.

Правда, однажды, когда случился у нас короткий разговор о литературе (удалось-таки Одека подвигнуть), он показал переписанное от руки любимое стихотворение Кипплинга. Думаю, оно многое объясняет, и потому позволю себе здесь длинное цитирование:

О, если ты покоен, не растерян,  
Когда теряют головы вокруг,  
И если ты себе остался верен,  
Когда в тебя не верит лучший друг,  
И если ждать умеешь без волнения,  
Не станешь ложью отвечать на ложь,  
Не будешь злобен, став для всех мишенью,  
Но и святым себя не назовешь,  
И если ты своей владеешь страстью,  
А не тобою властвует она,  
И будешь тверд в удаче и в несчастье,  
Которым, в сущности, цена одна...  
И если ты способен все, что стало  
Тебе привычным, выложить на стол,  
Все проиграть и вновь начать сначала,  
Не пожалев того, что приобрел...

. . . . .

Земля — твое, мой мальчик, достоянье!  
И более того, ты — человек!

Авды мне потом рассказывал: «С Одеком поступили несправедливо, но он простил. Он чувствует себя слишком сильным, чтобы на кого-то долго сердиться».

*...Поезд проехал от Ашхабада километров десять (Одек, проводивший брата, успел к тому времени уснуть), Авды лежал на верхней полке, и ему не спалось. Вдруг все яростно подпрыгнуло, задрожало, загремело. Авды, каким-то образом увернувшись от летевшего сверху чемодана, оказался на полу, все оказались на полу, потом выбежали в тамбур, спрыгнули на землю, ничего еще не понимая, чувствуя, что земля под ногами ходит и ноги становятся какими-то ватными, и тут увидели: здание станции распадается на куски, рушится, как игрушечный домик. Первой мыслью (потом оказалось, что она приходила в голову многим) было: наверное, на нас сбросили атомную бомбу. Тогда еще была свежа в сознании людей память о Хиросиме. «Что дома?» — с ужасом подумал Авды, едва опомнившись. Он схватил в вагоне чей-то велосипед и погнал изо всех сил. Над Ашхабадом полыхало черно-красное зарево, казалось, весь город в огне (это горел стеклозавод, а в самом городе пожаров почти не было — в момент землетрясения дежурная бригада электриков успела отключить агрегаты электростанции).*

Авды с трудом узнал место, где была их Бухарская улица, долго искал во тьме свой дом. Отовсюду неслись крики, стоны, люди бежали навстречу, как обезумевшие. На их дворе никого не было.



*Сквозь груды земли и досок, когда-то бывшую земляной крышей, Авды услышал едва различимый стук. Потом оказалось: Одек, чудом уцелевший под опрокинувшейся кроватью, нашел камень и стучал...*

*Буквально на следующий день вся страна бросится Ашхабаду на помощь. Будет послано 240 тяжелых транспортных самолетов, 7000 железнодорожных вагонов, они повезут врачей, медикаменты, продукты, палатки — все-все необходимое для человеческого существования, включая 10 тысяч ложек и 10 тысяч лопат...*

*Но в ту роковую ночь с 5 на 6 октября Авды стоял на семейном пепелище один и буквально голыми руками копал, копал. Изодрал ли он руки в кровь и что вообще с ним самим было, Авды не помнил тогда, не вспоминает и сейчас.*

Будучи директором института, Одек принимал участие в составлении карты сейсмичности СССР и доказал, в частности, высокую сейсмичность (7—8 баллов) восточной и северо-восточной Туркмении. А в это же время узбекские сейсмологи привезли на утверждение в Москву свою карту, по которой выходило, что пограничные с восточной Туркменией районы Узбекистана — по ту сторону Амударьи — имеют низкую сейсмичность. Два берега реки и две разных картины? На междуправительственном совете нужно было состыковать фрагменты. Одеков упрямо стоял на своем, показывал, что заключение о высокой сейсмичности региона сделано на основе комплексной интерпретации фактов. Ему не поверили. Упрекнули в том, что он пугает, преувеличивает опасность. Совет принял узбекский вариант карты, занизив соот-

ветственно и сейсмичность соседнего района восточной Туркмении. Но не прошло и месяца (было это в 1976 году), как в Узбекистане произошло газлинское землетрясение. Пришлось срочно корректировать карту.

Был и еще один случай, когда Одеков предсказал место будущего землетрясения. Комплексными геолого-геофизическими исследованиями удалось выявить новую закономерность: очаги землетрясений мигрируют по Туркмено-Иранскому глубинному разлому с севера на юг. На этом основании был дан научный прогноз места и силы будущего землетрясения в Иране. В августе 1975 года прогноз был сообщен (доклад Одекова) в Гренобле на заседании МГГС. Подтвердился он через три года: в северном Иране грянуло землетрясение страшной разрушительной силы.

Видите, как здесь все зыбко — в области предсказаний землетрясений. Дважды удавалось Одекову угадывать место и силу предстоящих землетрясений, но трагедии это не предотвратило, от жертв и разрушений не спасло. Потому что неизвестно было главное — время. В книге японца Т. Рикитакэ (ее давал мне читать Одек) приведена анкета, которую распространяли ученые среди населения, живущего в сейсмоопасной зоне. Вопросы были направлены в основном на то, чтобы исследовать, захотят ли люди кардинально переменить свою жизнь, будучи извещенными о возможной опасности. Станут ли они сворачивать строительство, освоение земель, захотят ли заранее эвакуироваться, все бросить? Опрос выявил любопытную тенденцию: люди не очень-то склонны ломать привычный уклад жизни перед угрозой **возможной** катастрофы. То ли будет она, то ли нет, а расстаться с нажитым ох как трудно.

Одеков оптимистически убежден, что разработанный им ныне способ прогноза позволит предупредить о землетрясении за два-три месяца, с точностью до одного дня.

Из заявки на изобретение:

«Повышение напряжения горных пород в земной коре вызывает образование необычного класса тектонических движений, которым автор дает название — сейсмогенерирующие. Они ощутимы для современных приборов задолго до начала землетрясения. И не только в эпицентре будущего землетрясения, но и далеко вокруг. Сущность предлагаемого способа состоит в том, чтобы в одних и тех же точках замерять одновременно как вертикальные, так и горизонтальные движения. В периоды, предшествующие землетрясениям, резко повышается амплитуда измеряемых движений, вначале в 5—6 раз, а в момент землетрясений превышает норму в десятки раз и более. По синхронному совместному аномальному отклонению хода их изменений от фоновых значений можно судить о приближении землетрясений».

Сложно? Конечно, сложно. Даже эксперты отнюдь не сразу смогли понять смысл и новизну одековского способа. Ведь для этого надо бы сначала разобраться в его теории, но экспертам было недосуг влезать в научные дебри. Они поспешили ответить, что изобретение не ново, так как этот способ известен, мол, из работ американских и японских сейсмологов. Всего-навсего эксперты не заметили, что предложение Одекова строится на синхронной совместности движений.

Почти три года боролся Одеков за признание своего изобретения. Получил четыре отказных письма из ВНИИГПЭ, писал четыре «мотивированных возражения». В одном из них — для убе-

дительности — сообщил все свои титулы: член-корреспондент Академии наук ТССР, доктор геолого-минералогических наук, профессор геофизики и геологии, член Национального комитета геологов СССР, член Рабочей группы Европейской сейсмологической комиссии. В другом письме обмолвился: «О страшных последствиях землетрясений автор знает не по книжкам...»

Обращался к третейскому суду Контрольного совета Комитета по делам изобретений и открытий: «...доводы экспертов абсолютно не убеждают меня. При рассмотрении всех материалов на Контрольном совете хочу присутствовать лично, для чего прошу заранее уведомить...»

На коллегиях Контрольного совета эксперты, так долго отвергавшие предложение Одекова, почему-то не явились. Так что выступал он без оппонентов. Полтора часа рассматривался его вопрос, была назначена дополнительная экспертиза...

Мучительные это были три года? Он ответил: да. Потом поправился: нет. И уточнил: «Я был абсолютно убежден, что изобретение примут. Судья здесь время. Правда, иногда бывает очень жаль потерянного времени».

Теперь авторское свидетельство об изобретении с гербами и печатями у него на руках. В республике создается новый полигон, где будет внедряться его метод (правда, не при Академии наук ТССР, а в другой отрасли). Но об этом, считает Одеков, распространяться пока рано. И добавляет чуть загадочно: «Нет худа без добра. Я давно убедился, что в моей судьбе не бывает худа без добра, а случайность — это непонятая пока закономерность».

...На стареньком «жигуленке» Авды мы едем в Старую Нису — посмотреть останки древнего городища, которое, как гласит легенда, погибло от землетрясения в пачале нашей эры. Интересно же посмотреть. А Одек с нами ехать отказался: некогда. «Он всегда так, — добродушно ворчит Авды. — Некогда... Жить ему некогда!» Авды жалеет брата — загоняет Одек себя своей наукой. Работа у них теперь вроде бы одинаковая: Одек заведует кафедрой в политехническом институте, и Авды — завкафедрой иностранных языков в медицинском институте (кстати, он, Авды — автор трех учебников, по которым туркменские школьники изучают английский).

Если работа одинаковая, казалось бы, и жизнь должна быть похожей. Но куда там! Авды не может без многолюдства, без праздников, застолий. Он, Авды, никогда в одиночку есть не сядет, ну, просто не полезет ему кусок в горло. И в комнате не любит бывать один. Если приходится ночевать в гостинице, просит у администратора: «Только не одноместный номер». Этот страх одиночества, наверное, после землетрясения остался. Ну а жизнь Одека идет совсем по-иному. «У него, представьте себе, совсем мало друзей. Зовешь в компанию — отказывается. Брат — вот его главный друг!» (Это правда. Я не раз слышала и от Одека: «Мы вдвоем с братом...»)

Брат присылал Одеку, студенту, половину своей зарплаты, брат отдавал ему свою путевку в санаторий — «тебе нужнее», брат был инициатором того, чтобы Одек поступил в аспирантуру: «Я готов еще на три года взять тебя на шею». Майя работала тогда лаборанткой, жили они во временке. Уже после того как Одек закончил аспирантуру, сам Авды уехал в Москву на двухгодичные курсы

повышения квалификации, но показалось ему по письмам, что брата «затирают по всем падежам», и бросил все, вернулся домой.

Авды тормозит, кладет голову на руль и лукаво так, сбоку смотрит: «Про Ван Гога читали? Помните, у него брат был? Тео. Он Ван Гогу всю жизнь помогал. Так и я хочу для Одека. Вы слышали, что означает имя Одек? Стоящий, заслуживающий... Правильно наши родители его назвали. Он — талант, а я ему должен служить».

*...Авды быстро удалось откопать Одека. Отнес его, истерзанного, дрожащего, к костру, который разожгли на улице соседи. И снова, снова разрывал руками землю. Услышал вдруг голос матери. В крошечной тьме удалось различить, что она засыпана по горло, а сверху лежит тяжелая балка. Мать целовала руку Авды и просила спасти маленьких. Отец в те минуты тоже, кажется, был еще жив. Прибежал сосед, вдвоем они скинули ту тяжелую балку. Нет, было поздно. Не проходит дня, чтобы не вспоминал все это, не казнил себя, без вины виноватого, Авды: «Они были еще живы, все, наверное, были живы, а я не успел...»*

Когда мы с Авды возвратимся в тот патриархальный цветущий двор, который навсегда теперь останется в моей памяти, там будет шумно. Окажется, что вернулся из экспедиции, из Централь-ных Каракумов, старший сын Одека — Аман. Он тоже, как и отец, геофизик. И младший, Халим, учится на геофизическом факультете. И дочь Авды — Гуля — тоже пошла по стопам дяди. Они, дети, будут все в сборе, и на прощанье у нас по-

лучится долгий разговор о жизни, о ее превратностях и конечной справедливости. А когда будем расходиться, Аман, привезший с собой из пустыни особую открытость чувств, скажет мне: «Мой отец — сильный, волевой человек, я перед ним преклоняюсь».

Одек слов сына не услышит, он сразу после ужина уйдет к своему письменному столу, к своим книгам и рукописям... Авды, как бы извиняясь за брата, объяснит мне: «Не умеет человек отдыхать. Что сделать? Я его ругаю, а он, знаете, что отвечает? Вспоминает слова Сократа: в мире, говорит, очень много вещей, которые мне не нужны...»

\* \* \*

Другой человек, о котором пойдет речь в этой главе, будто продолжает столь любимую Одеком мысль Сократа.

## **«МЕНЯ СУДЬБА НЕ БАЛОВАЛА»**

**Г. А. ИЛИЗАРОВ:**

«...Только отказываясь от многого во имя одного наиболее важного, человек может достичь желанной цели».

Кто не знает Илизарова? Этот человек совершил революцию в мировой ортопедии и травматологии. Он — директор научно-исследовательского института, доктор наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР... Но достаточно просто сказать: «доктор из Кургана» — и все поймут, что речь об Илизарове.

Он делает вещи почти фантастические: с помощью своего оригинального аппарата удлиняет ко-

нечности более чем на 50 сантиметров, путем бескровной операции (даже без скальпеля!) устраняет кривизну и другие дефекты ног, рук и буквально «лепит» их заново. Метод Илизарова применяется ныне практически во всех городах страны, да и за рубежом. Число исцеленных по этому методу больных достигло почти 200 000. Сроки лечения стали в два, а то и в восемь раз быстрее.

Сейчас метод Г. А. Илизарова — вернее сказать, гражданский и научный подвиг Г. А. Илизарова — получил всеобщее признание. В 1978 году ученый удостоен звания лауреата Ленинской премии. В 1981-м стал Героем Социалистического Труда. Наступило, наконец, время, когда Гавриил Абрамович уже не воюет за свой метод, а просто работает, совершенствует его. И теперь пора уже расспросить его не только о методе, но и о жизни.

Итак, человек стоит на вершине. Что он чувствовал и пережил на тернистом пути к ней? Какие нравственные открытия сделал?

\* \* \*

Когда я прилетела в Курган, Илизарова в городе не было. Ожидая его в институте, я переживала ощущение невероятного, но абсолютно реального чуда, которое совершается здесь буднично и непрерывно.

Ну, представьте себе: со всех концов страны сюда приезжают люди после катастроф, болезней, самые отчаявшиеся и неизлечимые. Приезжают, как правило, те, кому во всех других местах сказали роковое «нет». Бездна надежды приезжают сюда за последней надеждой. Становясь пациентами этой единственной в своем роде клиники, еще не отбросив костылей, с конечностями, окольцован-



ными металлическими дугами (так выглядит аппарат Илизарова), эти люди уверенно и бесстрашно смотрят в будущее.

Я не раз замечала: в этой клинике пациенты ничуть не стыдятся своих физических недостатков. Со спокойной готовностью демонстрируют их многочисленным посетителям института. Даже с каким-то гордым вызовом. Ведь чем тяжелее сегодняшнее увечье, тем разительнее будет эффект завтрашнего исцеления. Здесь каждый больной чувствует себя участником какого-то волшебного действия.

Недаром клинику Илизарова называют «веселой больницей». Я видела, как девчонки, прислонив к стене костыли, играют в классики, присутствовала на занятиях художественной гимнастики, а однажды вечером увидела в вестибюле несколько танцующих пар — аппараты на ногах, представьте, не мешали танцевать, а всего лишь замедляли движения.

Я ходила по коридорам, по кабинетам и все думала о докторе, который своим трудом и талантом создал этот необыкновенный метод лечения. Какой он человек, Илизаров?

Мнение пациентов и мнение коллег не совпадали. Первые рисовали образ мягкого, безотказного, очень доброго доктора. Вторые говорили о таланте, почти гениальности ученого, для которого работа и жизнь — одно и то же, но пугали: «Суховат... О себе говорить не станет... Надоели журналисты — может и прогнать».

Возвратившись в Курган, Илизаров назначил мне встречу на десять утра. И беседа состоялась в десять, но не утра, а вечера. Весь день я сидела в углу кабинета и видела, как его, что называется, рвут на части неисчислимые, непредсказуемые

«надо» в образе врачей с рентгеновскими снимками, диссертантов с новыми гипотезами, строителей с различными требованиями (новый комплекс института все еще строится). Бесконечность неотложных дел. И самое бесконечное — очередь за дверью. Илизаров принимает больных с утра до ночи. Да, до поздней ночи его кабинет — в плотном кольце осады. Все новые больные, приезжая из разных городов, сидят, стоят — надеются, ждут... Однажды я сама видела: последний больной вышел от Илизарова ровно в полночь. Говорят, бывает и позже.

В тот вечер, приближающийся к ночи, я, конечно, предлагала нашу беседу отложить. Но Илизаров — человек слова: он чуть откинулся в кресле, закурил сигарету (и это был для него уже отдых), твердо произнес: «Нет, все-таки начнем... Ничего не люблю откладывать, но ни в чем не люблю и спешить». И я сразу спросила о том, о чем думала весь этот день:

— Вы так много работаете и совсем не умеете отдыхать. Мне говорили, у вас никогда не бывает выходных и вы не ездите в отпуск. Получается, вы живете только для других и совершенно не живете для себя?

— Не понимаю... А что же человеку делать, если не работать? Спать? Пить? Стать лабораторией по перевариванию пищи? Да что это, скажите, значит — жить для себя? Взять и просто побродить по лесу?.. Конечно, кому ж не хочется! Грибы, например, собирать люблю. Но я — рационалист, я взвешиваю: какое получу удовлетворение, если побуду час в лесу, и какое — за этот час в институте... Отдыхать? Да, это правда — в отпуск почти никогда не езжу, но какой здесь подвиг? Поехал я однажды в санаторий, а через неделю

сбежал. Стало мне невыносимо скучно. Так что все просто: каждый раз из двух радостей я выбираю бóльшую. Живу так, а не иначе не потому, что должен, а потому, что — хочу!

Кажется, мой первый вопрос вызвал у него раздражение. Постепенно успокаивается:

— Думаете, почему я люблю принимать больных? Встреча с каждым больным для меня — поиск нового. Найти что-то новое, реализовать и увидеть, что помог человеку, — наивысшая, ни с чем не сравнимая радость. Блаженство! Настроение потом бывает такое, что идешь по земле, а земли под собой не чувствуешь. Так что не нужно, пожалуйста, меня жалеть.

— Вас, действительно, не за что жалеть, а можно только вам позавидовать. Но ведь далеко не всем удастся жить в таком полном соответствии со своим призванием.

— Не верю, что бывают люди без призвания. Просто встречаются сонные, которым не повезло — никто не успел их разбудить, не было у них в юности захватывающей встречи. У ребят, по-моему, нужно воспитывать избирательное отношение к профессии. Не твердить им: все профессии хороши, а убеждать, что среди многих хороших профессий есть одна-единственная, которая может прийти по душе именно тебе.

Выбор, по-моему, всегда начинается с удивления. У меня как было? Однажды в детстве посчастливилось заболеть. Говорю «посчастливилось», потому что у меня с этого случая все и началось. Жили мы в горной деревне, был я старшим сыном в бедной многодетной семье. Болеть не приходилось, врачей до девяти лет в глаза не видел. А тут как-то наелся до отвала груш, обрызганных медным купоросом, и прямо погибал. Мать вызвала

фельдшера. До сих пор его помню: солидный такой человек, толстые роговые очки, авторитетный взгляд. Он заставил меня выпить пять чайников кипяченой воды, сделал укол и боль исчезла. Я ожил. Я был потрясен. Я решил: буду фельдшером! У меня появилась зовущая цель. А цель — дело серьезное.

Я, например, пошел в школу сразу в четвертый класс. Дело в том, что раньше учиться мне было некогда — пас скот, пахал, убирал камни на нашей круче, собирал хворост в лесу. Чарыки наденешь, возьмешь веревку и — в горы за дровами. Случалось иногда продавать дрова — по 30 копеек за вязанку. А как стал учиться, нужно было догонять сверстников, и корпел над учебниками даже по ночам. Зато в пятом классе уже стал отличником, поступил на рабфак, закончил его экстерном и тоже — на пятерки. Если посчитать, получается, что десятилетку проскочил я за пять лет. И все потому, что очень уж хотел, торопился стать доктором. Потом — Симферопольский мединститут, война, эвакуация. Мы рвались на фронт, но нас не брали: в тылу эпидемии, нужно спасать тыл. По окончании института послали меня в село Долговку — это километров 150 от Кургана. Там на весь район не было ни одного врача. И стал я земским доктором — лечил и детей, и взрослых от всех болезней. И роды принимал, и зубы, если надо, вырывал, и пластические операции делал... Но уже в Долговке твердо понял: главное для меня — ортопедия и травматология.

Тут я спросила, многое ли в его жизни зависело от случайностей?

— Как сказать? То, что с юга в Сибирь попал, — случайность, наверно. А вот то, что выбрал именно ортопедию, — конечно, закономерность.

Меня поразило, какой здесь непочатый край нерешенных проблем. Как раз это и привлекло меня. Опять говорю о выборе. В двадцатом веке невозможно быть универсалом и поэтому важно не только выбрать профессию, но и найти свое четкое место в ней. То есть не распыляться, а сосредоточиться на чем-то своем, конкретном. Это, конечно, трудно. Сегодняшняя жизнь предлагает слишком много соблазнов. Сходить в театр, в кино, почитать интересную книгу, то есть потребить что-то, созданное другими, легче, конечно, чем что-то самому сделать. Легче... А потом все эти «легче» превращают жизнь в цепочку случайностей, и человек постепенно теряет себя.

— Так уж прямо и теряет? Простите, Гавриил Абрамович, но у вас, по-моему, весьма странное представление о потребительстве. Вы перечисляете: театр, кино, книги... И говорите: «потребить». Но ведь это не товар какой-то, а пища для души. Как же современный человек может жить без всего этого? Мыслим ли интеллигентный человек без приобщения к культуре?

— Что ж поделать, если лично мне к культуре редко удастся приобщаться. Много слышал, например, что очень хорошая вещь «Мастер и Маргарита» Булгакова, а прочесть никак не найду времени, сколько раз собирался, даже начинал, а потом — бац! — очередной трудный больной и нужно все отложить, срочно искать для него какой-то уникальный способ лечения и, значит, читать-перечитывать горы специальной литературы. Я уж смирился. И вообще-то считаю, что, только отказываясь от многого во имя одного наиболее важного, человек может достичь желанной цели. Большое дело не дается малым трудом. Так вот, в моей жизни случай касался только внешней ее

стороны. В основном я всегда делал сознательный выбор.

— Обидно, конечно, что вам не посчастливилось прочесть Булгакова. Но понять это можно. Помню, в одном из интервью с итальянским режиссером Федерико Феллини я встретила (и сначала не поверила) такой удивительный факт: в последние годы он ничего не читает, кроме одной-единственной книги. Не хочет, чтобы что-то чужое мешало его собственному (чистому!) восприятию жизни. Это сознательное самоограничение. У вас — вынужденное: вам просто некогда читать. Но и у вас, и у Феллини есть убедительная альтернатива: вы отказываете себе в таком наслаждении, как чтение, во имя дела. Ну а если у человека нет столь мощного во имени (у подавляющего большинства нет), стоит ли обеднять, ограничивать свою жизнь? Уж лучше, по-моему, потреблять созданное другими — слушать, например, хорошую музыку, чем во что бы то ни стало изобретать велосипед — писать плохие песни, стихи...

— Я не считаю себя вправе говорить об искусстве. В пользу разных хобби тоже плохо разбираюсь. Хотя и сам, знаете, когда-то рисовал, играл на мандолине, балалайке, гармонике. Скрипка до сих пор дома лежит. Сейчас единственное отвлечение, которое себе позволяю, это посидеть над своей коллекцией камней и кораллов. Но и то редко. Однако я настаиваю на том, что самоограничение (можно называть это целеустремленностью) необходимо каждому человеку. Важен в жизни рабочий настрой. То есть ориентироваться не на удовольствия, а на дело: жалко время попусту тратить. Если творчески работаешь, то не страшна никакая усталость, наоборот, только тогда и обретаешь силы. Упорство, смелость и фантазия нуж-

ны в любом деле. Под фантазией я понимаю поиск нового. Скажете, открывать новое дано не каждому? Но кто знает заранее, кому дано, а кому нет? Обидно, что многие даже не настраиваются на поиск, считая, что он доступен только людям необыкновенным. Но все великие до поры были самими обыкновенными.

...Я и раньше не раз думала: сколько же открытий в нашей жизни не совершается только потому, что большинство из нас, взрослых, разучаются верить в свою удачу, в свои силы, что не ждем мы, не ищем свое «а вдруг».

Он продолжает:

— Да, просто обидно: почему взрослые так быстро перестают быть детьми? Ребенок смотрит на мир как бы первым взглядом. Без предубеждений. Всем интересуется, обо всем спрашивает: а почему? Он свободен от власти авторитетов, не боится показаться наивным глупцом, ломящимся в открытые двери... Да, в самом привычном можно открыть неожиданное! А потом сам удивляешься: как же я этого раньше-то не замечал?

— Мне рассказывали, что, будучи студентом, вы очень захотели хоть чем-то помочь фронту и решили изобрести бомбу — такую, чтобы, падая, выстреливала еще многими маленькими снарядами.

— Было дело. Но возьмем более близкий пример. Наш метод. Он ведь тоже родился из этого самого «а вдруг». Со времен Гиппократ считалось, что переломы срастаются очень медленно оттого, что в отличие от всех других тканей организма кость — особо твердая ткань, и она обладает пониженной способностью к восстановлению. И вот человека, сломавшего ногу, заковывали в гипс, укладывали на много месяцев в постель, да

еще в мучительно неудобном положении: не двигаться! Но ведь человек-то живой. Неловкое движение и — отломки кости разошлись, ведь гипс и даже скрепляющие винты и шурупы, как правило, надежной фиксации кости все равно не обеспечивают. Значит, снова операция и все мучения заново. А виновата, считалось, кость — долго не срастается.

Но может ли существовать такое недоразумение в природе? И мыслимо ли смириться с тем, что еще у Гиппократы сроки сращения кости были такими же, как у нас сегодня? Правда, древние вместо гипса применяли лубки, пальмовые листья, но суть-то приемов осталась прежней.

Теперь, когда нам удалось результатами тысяч операций доказать, что кость — одна из наиболее активных тканей, что она отлично регенерирует, если создать ей благоприятные условия, теперь кажется странным: ну почему мы не верили в большие потенциальные возможности кости? За что ее винили? Да разве может в живом организме быть что-то пассивное? В свое время, задав себе эти простые вопросы, я интуитивно почувствовал, что сами принципы лечения переломов устарели. И с тех пор мне не давала покоя мысль: неужели нельзя найти что-то радикально новое?

Я слышала и читала много разных версий о том, как делалось это открытие. Кто-то пишет, что Илизаров ехал к больному на лошади и как-то иначе взглянул на нехитрое снаряжение: хомут — дуга — оглобли... И что этот принцип крепления стал прообразом аппарата. Кто-то рассказывает, что Илизаров летел на вызов и вот в воздухе...

— Да, окончательная идея аппарата возникла у меня в полете. Это было больше 30 лет назад.



Тогда я уже работал бортхирургом областной больницы, по несколько раз в сутки вылетал на экстренные вызовы. Самолет «По-2» был старым, дребезжал на лету. Крылья — фанерные, обтянутые тканью (я этого не знал сначала, выскочил раз на крыло — хлоп! — и дырку прорвал). Кабина открытая, сидишь в унтах, в тулупе, ветер в ушах свистит — книжку в руках не удержишь. Только и оставалось в пути, что думать. Очень хорошо думалось! Как сейчас, помню тот полет: стужа лютая, вьюга метет, самолет проваливается в воздушные ямы, а мне только что пришла в голову новая, как оказалось потом — окончательная мысль о принципе аппарата, и хочется, как Архимеду, кричать «Эврика!»

— Один журналист написал про вас: «Оно, «вдруг», накапливается постепенно, как дождевая туча, чтобы в одночасье обрушиться ливнем...» Что было перед тем, как вам вдруг пришла окончательная мысль?

— Что было перед тем? Перед тем я тоже думал. Шел куда-то — думал, делал операции и по ходу каждой — думал, ложился спать — думал... Еще, конечно, много читал. Выписывал по абонементу все, что только можно было выписать в мою Долговку. Читал днем и ночью. Брал отпуск и ехал в Москву, не вылезал там из библиотек. Пришлось овладевать такими науками, о которых раньше понятия не имел. Да, и сопромат изучал, механику и биомеханику даже. Потом, когда разрабатывал конструкцию аппарата, довелось научиться слесарному делу...

Наш аппарат относительно прост: спицы, кольца, стержни, винты... Когда-то нас высмеивали: «Слесарный подход к хирургии...» Да, сам больной (вы, наверно, не раз видели это в нашей

клинике) подкручивает гайку аппарата и удлиняет свою ногу. Нога вырастает на один-два миллиметра в сутки! Но не нужно думать, что все так уж просто.

Аппарат нельзя делать для всех по шаблону, это не безразмерный чулок. Детали аппарата унифицированы, имеют многоцелевое назначение, из них, как из деталей детского конструктора, можно создавать практически неограниченное количество вариантов в зависимости от лечебных задач... У нас один метод, но более 400 методик и постоянно проводятся экспериментально-теоретические разработки.

...Здесь я чувствую необходимость сделать небольшое отступление, вспомнить: свой оригинальный и такой простой по конструкции аппарат Г. А. Илизаров предложил медицине еще в 1951 году, будучи «земским» врачом в Долговке. Революционность метода, отвергающего вековые устои в ортопедии, была заложена уже в самом первом аппарате Илизарова. И это естественно, что ему не поверили, что его подняли на смех. Стоит ли удивляться прошлому, если в настоящем, совсем недавно, один уважаемый итальянский врач, прочитав статью о результатах клиники Илизарова, воскликнул: «Не может быть! Как смеет газета компрометировать моего коллегу из Кургана, который и не знает, наверное, какую «утку» сочинили о нем журналисты!» Между тем статья была абсолютно правдивой, Илизаров читал ее перед выходом и придирчиво редактировал.

Слишком оригинально и слишком просто. Еще одно доказательство известной истины: все гениальное — просто. Истина эта известна на словах, но пойдй утверди ее в жизни...

Впрочем, сама жизнь помогала Илизарову доказывать его правоту: больные на удивление быстро выздоравливали на глазах у недоверчивых оппонентов. И вот, наконец, свершилось — люди, от власти которых зависело внедрение нового метода, поверили в метод Илизарова. Однако легче ему не стало. И поверив, не спешили открытие принять. Разные были причины, в том числе и корысть, и зависть. Сколько раз Илизарову предлагалось «авторитетное» соавторство! Но этот провинциал был несговорчив, упрям и конечно же нажил себе немало сильных врагов. Кроме всего прочего, надо понимать: открытие Илизарова сводило на нет десятки диссертаций, монографий, расшатывало авторитет многих светил.

Собственно, все было в порядке вещей. Каждое большое открытие неизбежно проходит свои адские круги: сначала оно удивляет, вызывает недоверие, потом от него пытаются «откусить» ломоть и наконец — может быть, самый мучительный этап — его демонстративно не замечают и этим тщатся принизить, отнести в разряд обыденных.

Десятки раз докладывал Илизаров о своем методе на различных научных конференциях, имел уже не одно авторское свидетельство об изобретении, получал из авторитетных инстанций положительные оценки своим предложениям, его аппарат был рекомендован даже для широкого внедрения, но в ортопедии и травматологии все оставалось, как было десятки, сотни лет назад. Драгоценный курганский опыт применялся лишь в некоторых клиниках страны и то — полупартизанским путем. Против метода Илизарова велась молчаливая атака. Целые институты ополчились на одного изобретателя. Сейчас нет смысла с име-

нами и подробностями ворошить старое. Этапы этой жестокой борьбы запечатлены на страницах газет. Почти четверть века она длилась, и мужество курганского доктора столь же восхищает, как само открытие.

— Гавриил Абрамович, было время, когда в метод Илизарова верил один-единственный человек — врач Илизаров. Что помогло вам выстоять, сохранить уверенность в своей правоте?

— Скажите, когда и кому было легко утверждать новое? Но если ты взялся, нужно уметь ждать, нужно понимать, что люди в большинстве своем загнипнотизированы привычными, устоявшимися истинами, что им, твоим противникам, в свою очередь, тоже трудно. Трудно, что и говорить, принять новое. Я сейчас не о тех, кто противится новому из соображений личной выгоды. Но даже доброжелатели... Вот случай. В перерыве конференции, на которой я впервые докладывал о наших результатах (и был встречен, конечно, в штыки), ко мне подошел один ученый и дружески посоветовал: «Метод интересен, но стремительность сроков излечения не вмещается в сознании. Завышайте свои сроки! Тогда вам скорее поверят».

Мой молодой коллега доктор Каплунов поначалу все кипятился: «Ну как можно не признавать очевидных фактов? Пусть они посмотрят наших больных...» Я его успокаивал: сегодня не понимают — завтра поймут. Говорил же Павлов, что факты — воздух и крылья ученого. Будем, значит, копить факты!

Рассказывают, что неторопливость Илизарова порой обескураживала союзников, его действия казались многим абсолютно нерасчетливыми. Как тянул, например, Илизаров с получением ученой

степени, хотя она, конечно, могла бы помочь утвердить открытие. Кажется, еще в 1965 году на Ученом совете Министерства здравоохранения РСФСР, где было впервые сказано решительное «да» методу Илизарова, был поставлен вопрос и о том, чтобы присвоить ему кандидатскую степень без защиты диссертации, по совокупности опубликованных работ. Но он и после этого не спешил «остепеняться». Прошли еще годы, прежде чем Илизаров решился, наконец, на защиту. Правда, ему сразу присвоили докторскую степень...

— Я всегда старался делать то, чего в первую очередь требовала от меня жизнь. Врача, если он настоящий врач, прежде всего ведут по жизни страдающие глаза больных.

Да и что толку спешить, нервничать? В любом новом деле, по-моему, необходимо заранее настроиться на длительность борьбы. И верить в победу, верить! Не допускать даже мысли, что возможно поражение. Знаете, если начнешь бояться: а вдруг моя нога завтра ходить не будет, а вдруг я послезавтра умру? — так и жить нельзя, не говоря уж о том, чтобы бороться.

Вы заметили, в одном из наших кабинетов висит плакат: «Желание — тысяча возможностей, нежелание — тысяча причин». Если всей душой поверишь в успех своего дела, то откроешь в себе силы, о которых раньше и не знал. Да о чем тут спорить? Если ты твердо убежден, что прав, на каком, собственно, основании сдаваться? Только потому, что ты пока один и что тебе слишком трудно? Но в правом деле человек не останется один.

Я спросила, помнит ли он кого-то из самых первых своих больных.

— Меня иногда упрекают: почему, мол, не

узнаешь людей на улице? Я оправдываюсь: близорукий. Но знаете, всех своих больных каждого в лицо помню. Впервые применил свой аппарат в пятидесятом году. Это была пожилая женщина, фамилия ее — Крошакова, жила в селе Макушино, улица Демьяна Бедного, 9. Она 15 лет ходила на костылях. После нашей операции уехала домой и вдруг пишет: на станции меня никто почему-то не встретил, пришлось пешком пройти девять километров, по грязи, но нога — как новая!

...Еще раз перебью доктора Илизарова, чтобы рассказать одну легенду, почти легенду, хотя история эта вроде бы подлинная. Во всяком случае, знаю ее от очевидцев.

Итак, эта больная из Геленджика сама была медик по профессии. Заболела давно, операция, сделанная в Геленджике, прошла успешно, но не принесла облегчения: отлично сросшаяся нога висела бессильной плетью, при попытке ходьбы как-то перехлестывала, цепляясь за здоровую ногу. Женщина не могла жить без посторонней помощи. В клинику Илизарова приехала в сопровождении чужого человека — медсестры, дома у нее осталась только старая мать.

И вот она появилась на пороге илизаровского кабинета: высоко поднятые над костылями плечи, висящая плетью нога, полные страха и отчаяния глаза. Еле втиснулась в дверь кабинета и — враждебный взгляд на тех, кто был свидетелем ее неловкости и бессилия. Илизаров, почти не глядя на нее, внимательно выслушал все жалобы, пристально и долго изучал снимки, показал их сидящим на консультации врачам: странное дело,

никаких видимых необратимых изменений рентген не обнаруживал. Илизаров задал больной несколько несущественных вопросов. И вдруг сильным, не допускающим ни малейшего сомнения голосом отчеканил:

— Вы должны ходить без костылей. Вы можете ходить. Операция вам не нужна. У вас хорошие, здоровые ноги. Мы вам сейчас поможем, у нас есть одно особенное лекарство...

Врачи недоумевающе зашептались. Ярко-черные кавказские глаза Илизарова теперь уже были обращены не на больную, а на коллег, будто их он тоже гипнотизировал. И они поняли его без слов. «Анна Степановна,— позвал Илизаров старшую медсестру,— у нас, кажется, осталась последняя ампула. Не будем жалеть ради такого случая».

Сейчас уже трудно вспомнить, глюкозу или еще какой «дефицит» принесла медсестра. Сам Илизаров сделал укол, потом сгибал и разгибал ногу больной. Все это длилось около часа. Напряжение стояло такое, что у многих — вспоминают очевидцы — выступила испарина на лбу. И наконец — его голос, почти крик:

— Вставайте! Идите! Вы можете ходить! Вы будете ходить! Вы здоровы!

Илизаров призывно протягивал к ней руки. Она сделала первый шаг, второй, еще не понимая, что с нею происходит. Но шла, шла, отбросив костыли, слегка припадая на только что выпрямившуюся, похудевшую за годы болезни ногу.

Оказывается, Илизаров (он умеет видеть каждого больного, что называется, насквозь) сразу почувствовал, что здесь все дело в нервах, в элементарном страхе перед болезнью, именно страх и стал болезнью — сковал движения. И требова-

лось единственное лечение — снять злые чары страха.

Этот факт редко рассказывают журналистам. Слишком он невероятный и может рождать в сознании больных ненужные надежды на легкость исцеления.

Но вернусь к нашей беседе:

— Гавриил Абрамович, в книге почетных гостей я нашла отзыв одного профессора: «Представляется, что мы не только у истоков нового направления в медицинской науке, но и у истока нового подхода к человеческому организму в целом, новых методов его активного совершенствования». Прокомментируйте, пожалуйста...

— Еще Гиппократ советовал в поисках истины прежде всего обращаться к самой природе. Вот мы и стараемся подражать природе. Выявив неизвестные ранее целесообразные механизмы, существующие в организме человека, мы разрабатываем на их основе новые способы лечения. В конечном счете помогаем организму восстановить утраченную гармонию. И организм, надо отметить, откликается с готовностью.

Наши больные начинают ходить буквально на второй день после операции. Это необходимо. Без напряжения рост кости замедляется, ростковые зоны кости атрофируются. Нужны нагрузки! Работа мышц улучшает кровоснабжение кости, создает ей хорошие условия для сращения. Суть метода в том, что мы создаем новые, благоприятные условия для роста и регенерации кости.

В принципе с помощью наших аппаратов можно вырастить и великана... И знаете, какая еще открывается загадка? Мы, например, «ремонтим» ребенку одну, большую ногу, удлиняем ее, и от этого будто весь организм получает толчок:



мальчишка был ниже своих сверстников, а тут за год-два догоняет их. Да, великие резервы таятся в человеческом организме. Пожалуй, это правда, что закономерность, которую мы открыли, имеет общепарабиологическое значение.

«...Когда познакомишься с тем, что вы делаете, становится легче жить», — написали в книге отзывов артисты театра «Современник». «Мы видели живое чудо!» — восхищается группа шахтеров из Донбасса. «Дорогие скульпторы от медицины!...» — начала свой отзыв группа ленинградских писателей. Когда читаешь подряд эти многочисленные тома благодарностей, когда изо дня в день наблюдаешь жизнь этой «веселой больницы», начинаешь привыкать к чуду. Но однажды, будто озарение, приходит понимание главного. Почему, собственно, так волнует людей творимое Илизаровым? Дело ведь не просто в искусстве врача, не просто во всеисцелении метода. Дело в самой сути, которая воспринимается интуитивно, и мы кричим: чудо, чудо! А в чем именно чудо, не умеем сначала осознать. Но вот же оно: Илизаров не просто конечности врачует, он исцеляет душу!

Многие из производимых здесь операций — например, снятие горба, приостановка слишком быстрого роста нынешних акселератов или, наоборот, ускорение медленного роста, многочисленные косметические операции на конечностях — не являются жизненной необходимостью. В биологическом смысле эти недостатки не мешают человеку существовать. Они всего лишь ранят душу. Всего лишь... Но кто сказал, что угнетенная душа болит меньше, чем переломленная кость? Ведь там лишь и начинается человек, где, кроме необходимого, насущного — кормить себя, спать, пить — в нем рождается жажда «лишнего». И вот ортопедия

Илизарова, уравнивая в ранге потребность человека в необходимом с его потребностью в прекрасном («лишнем»), занимается вроде бы косметикой тела, а на самом деле восстанавливает нарушенную гармонию духа. Вот почему, как справедливо пишет в той же книге отзывов один министр, «не только отдельные люди, излеченные в институте, будут благодарны вам, но и все человечество не забудет этот гражданский подвиг...»

Илизаров соглашается с моими мыслями о восстановлении гармонии духа:

— Да, я всегда говорю своим коллегам: не думайте, что мы просто конечности лечим, мы всего человека спасаем. Была одна девушка... Приехала к нам такая несчастная, во всем разуверившаяся... А вот недавно получаем от нее из Ленинграда приглашение на свадьбу, пишет, что теперь она — самая счастливая. Да сколько таких писем, судеб... Давно известно, что перенесенное страдание заставляет больше ценить жизнь. Если же все дается легко и просто, воля размагничивается и человек теряет способность отличить, что хорошо, а что плохо. Можете записать: я лично доволен, что меня с детства судьба не баловала.

Здесь я решила задать давно интересующий меня вопрос: правда ли, что Илизаров спит по три часа в сутки и никогда не устает?

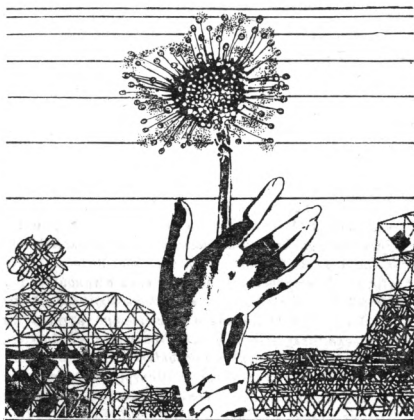
— Если бы сейчас, к примеру, я сидел перед телевизором, то, конечно бы, уснул. Сегодня спал всего три часа. Но творческая работа не подпускает к человеку усталость... А в юности, помню, очень любил поспать. Потребность была такая. Самому это не нравилось, но совладать с собой не мог. Прочел как-то про удивительного человека из Югославии. Ну, помните, был такой солдат, который потерял способность ко сну — вообще не спал.

Болезнь есть такая, а я, глупый, позавидовал: вот бы мне научиться... Ну, а теперь жизнь так поставила, что спать по четыре-пять часов в сутки стало для меня нормой. Адаптировался. А как же иначе? Для научной работы остается, по сути дела, только ночь. Мог бы, конечно, уходить из института пораньше. Но сам же буду переживать, если оставил очередь непринятых больных, в таком настроении мне работать будет трудно. И нет, значит, другого выхода, как выкраивать время за счет сна, отдыха. Впрочем, работать, по-моему, всегда полезно.

...Не решаюсь смотреть на часы: невесть сколько идет наша беседа. Вся больница, весь город давно спит, а Илизаров будто забыл о времени. Но мне-то надо бы честь знать. Задаю последний вопрос:

— К вам пришли теперь успех, признание... Изменилось ли в чем-то ваше отношение к жизни?

— Да, кое в чем изменилось. Раньше, когда мои ученики призывали идти в атаку против тех, кто нам мешал и вредил, я отвечал: «Рано или поздно противники сами отступятся». Теперь отстаивать наш метод уже нет необходимости, и я пересмотрел свою позицию невмешательства. Можно быть великодушным к своим противникам, но к чужим ты обязан быть непримиримым. Если ты порядочный человек, то помоги другому, чтоб у него не повторились твои тупики. В этом направлении я и собираюсь дальше действовать.



---

## *Глава третья*

---

### *Каждому нужна дорога*

*Три беседы о смысле труда с Героями Социалистического Труда: строителем Ф. В. Ходаковским, рабочим Е. Н. Моряковым и солдатом войны В. Т. Христенко.*

Сначала расскажу притчу: «Путник встретил человека с тачкой, груженной камнями, и спросил его: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Не видишь разве? Камни тащу, будь они неладны!» Путник повстречал второго человека с такой же ношей и услышал ответ: «Зарабатываю себе на жизнь». Спросил путник о том же у третьего человека, везущего камни, и услышал гордый ответ: «Строю Шартрский собор!»

Человек, который «строит Шартрский собор», строит одновременно и самого себя... Труд связывает человека с другими людьми. Труд — основа человеческого достоинства.

Живу я в мире только раз... И не для того ли живу, чтобы, как говорил один мудрец, «погрузиться в мир и открыть в нем тайну труда»?

## СТРОИТЕЛЬ Ф. В. ХОДАКОВСКИЙ:

«...когда человеку трудно, когда жизнь требует напряжения сил, тогда и можно сполна проявиться».

Феликс Ходаковский — один из самых популярных людей на БАМе. Один из тех, кого называют первопроходцами, вечными строителями. Ему сорок пять лет, а он уже ветеран. БАМ — третья его стальная магистраль в Сибири. До этого он успел забить серебряный костыль на строительстве дороги Абакан—Тайшет, успел уложить золотые звенья на строительстве Хребтовой—Усть-Илимской. Бригадир, мастер, прораб... В 27 лет стал Героем Социалистического Труда.

Историю БАМа можно изучать, в частности, по биографии Ходаковского. Это он привез в поселок Звездный отряд добровольцев XVII съезда комсомола, делегатом которого сам являлся. Это он высадился с первым десантом в поселок Магистральный, впрочем, названия у поселка тогда еще не было, и это Ходаковский по праву первопроходца дал ему суровое, четкое имя: Магистральный. Дальше был в его биографии центральный участок БАМа — Тында. Здесь создавался новый, важный для всей стройки трест «Бамстроймеханизация», и возглавить его выпало Ходаковскому.

И наконец — самый трудный, называемый то барьерным, то ключевым, Бурятский участок БАМа, где Ходаковский руководит трестом «Ниж-

неангарсктрансстрой». Уже не первый год его трест по многим показателям держит первенство на БАМе. Работают здесь 16 тысяч человек, но, как говорят о Ходаковском рабочие, «каждого из тысяч он умеет видеть отдельно — в лицо».

\* \* \*

Дорога, которая построена не твоими руками, представляется делом хорошим, но вполне будничным. В наше ли время удивляться поездом и рельсам? Без особого волнения садилась я в ярко разукрашенный всеми средствами наглядной агитации вагон (но это снаружи, а внутри он был обыкновенный, даже не купейный — общий) и думала лишь о том, как мне повезло — за сутки прямым путем доберусь до Ходаковского. В ту пору только что закончили Западный участок БАМа, и поезд должен был пойти по новеньким рельсам от самого Усть-Кута на Даван. Что такое Даван и что такое первый поезд, я, садясь в этот поезд, толком не понимала.

Дорога, которая только что построена, обладает странной способностью быстро вживаться в ландшафт. Вот прилипшие к окнам почетные пассажиры ахают: «Ух ты, какой мост отгрохали!» (и — дальше в том же духе), а тебе, пассажиру обыкновенному, кажется, что дорога была здесь всегда, что она — такая же данность природы, как эти плывущие мимо сопки, березы, реки. Как же без дороги?

Наконец по вагону понеслось: «Даван! Даван!» Упругое слово повторялось, как заклинание, пока поезд не остановился. Дальше рельсов не было. И тут я увидела Ходаковского, мне показали его на трибуне. Сколоченная из досок (как водится — в последнюю ночь) трибуна терпко пахла смолой

и весьма эффектно смотрелась на фоне заснеженных сопок. Ходаковский стоял с непокрытой головой, торжественно и сдержанно пожимал руки (к нему без конца подходили люди), давал короткие и четкие распоряжения. Он был одним из главных действующих лиц праздника — от имени своего Бурятского участка принимал эстафету у участка Западного. После митинга мы познакомились и договорились встретиться завтра вечером.

Поздно вечером, как и обещал, Ходаковский вернулся в трест. Все кабинеты были пустыми. Он быстро вошел, резким движением пригладил (попытался пригладить) свои упрямые русые волосы, деловито подсел к столу и вдруг смущенно улыбнулся. Обычно невозмутимый, выглядел сейчас почти растерянно. Эх, не его это стихия — вести разговоры. «Значит...» — начал он, будто спасения искал в своем любимом, ничего толком не значащем словечке.

— Значит... Такая деталь: я, как понимаете, строитель, от кочевой жизни, наверно, огрубел, к философии никогда склонности не имел. И не знаю, смогу ли вам чем помочь. Вот вчера вы говорили, что заинтересовал вас плакат на Даване...

(Кажется, этот плакат висел на палатке, где продавали горячие сибирские пельмени: «Мы строим БАМ, БАМ строит нас». Наверно, кому-то издали эти слова покажутся банальными, но я их прочла на Даване в ту минуту, когда туда пришел первый поезд. И обрадовалась: вот ключ к разговору с Ходаковским.)

— Так как же, спрашиваете, это выглядит в жизни: «БАМ строит нас»? Я вам что могу ответить? То, что давно известно: когда человеку трудно, когда жизнь требует напряжения сил, тогда и можно сполна проявиться. А в тепличных



условиях человек живет и сам себя не знает.

...О том, что напряжение, нагрузки необходимы человеку, мне уже говорил доктор Илизаров. Он доказывал это с точки зрения физиологии. И вдруг Ходаковский почти в точности повторяет его слова. Но он-то совсем другое имеет в виду. Спрашиваю:

— Разве обязательно испытывать трудности, чтобы узнать себя?

— Трудности, знаете, бывают разные. Одни требуют напряжения сил, другие — нервов. Если говорить сейчас о бамовских трудностях, ну о тех хотя бы, про которые каждый день идет речь в этом кабинете, то, знаете, мы с вами в густой тайге заблудимся. Эта романтика трудностей у меня — вот, поперек горла стоит. Но вы, кажется, о другом спрашиваете? Да, труд и трудности — совсем разные вещи. Я — за труд! Каким бы он ни был тяжелым, но если видеть смысл и необходимость своих усилий, всегда получаешь удовольствие. По-моему, человек затем и живет, чтобы трудиться.

Опять знакомая интонация. Илизаров тоже говорил: «А что ж человеку делать, если не работать?» Я спорила с Илизаровым, а теперь возражаю и Ходаковскому:

— Но можно ли так сужать жизнь! Сводить ее смысл к работе...

— Я не сужаю, а просто говорю о главном. Вот вы сами убедились, что на БАМе какой-то особый, бодрый, что ли, жизненный тонус. Это не только потому, что у нас много молодежи. Нет, дело в том, что у нас тут у всех работа — на переднем плане. Как ни крути, но работа даже заботы семейные перекрывает.

— А хорошо ли это? В комсомольском штабе

я видела телеграмму: «Последний раз жду ответа я или БАМ согласие развод можешь выслать письменно». Говорят, такие телеграммы не редкость?

— Подождите. Как раз разводов, по статистике, на БАМе гораздо меньше, чем в среднем по стране. Зато свадеб... Я уж и счет потерял, сколько раз получал приглашение на свадьбы. Оно и понятно: средний возраст бамовца был 22 года, сейчас, кажется, стал — 25 лет. Знаете, говорят: «Ну, он уже старый, ему аж 30».

А телеграмма... Что ж, всякое бывает. Жены бывают всякие. Вот вам противоположный пример. Приехал к нам на Кичеру отряд XVIII съезда ВЛКСМ, все вроде бы холостые. Мы им четыре общежития построили, расселили. Вдруг через месяц к этим «холостым» понаехали с запада жены, да еще с детьми. Начальник поезда за голову схватился: куда размещать? Чем кормить? Тайга кругом, на каждого человека все рассчитано. Хотели жен назад отправлять, а они ни в какую: все терпеть готовы, лишь бы с мужьями рядом быть. Тогда я начальнику поезда говорю: «Расселяй как угодно, раз люди добровольно идут на такую жизнь. Семейные крепче осядут, а тебе тоже полезно: будет на шее такой груз висеть — скорей жилье построишь».

— И все-таки, Феликс Викентьевич, если смысл жизни сводить только к труду, как же быть с гармоническим развитием личности?

— Значит... Гармония, как я понимаю, это прежде всего согласие человека со своею жизнью, чтобы на душе не скребло. Но в каждом человеке — посмотрим дальше — есть желание испытать яростность жизни, ее горький пот и горячую радость. И вот на БАМе для всего этого — идеальные условия. Сама поездка на БАМ — уже

поступок. Человек сознательно идет на трудности и живет, значит, так, как сам захотел. В согласии с собою. Я вам о себе скажу: когда у меня по работе что-то не ладится, мне и жизнь не мила, самого Байкала не замечаю. И еще посмотрим: приезжает человек на БАМ, он же получает здесь пять, а то и больше разных профессий. Разве это не рост? И если он знает, что и лес умеет валить, и рельсы укладывать, и дом может своими руками срубить — представляете, как много он жизни захватил! Соответственно и чувство достоинства растет — человек узнает себе цену. Для развития личности труд полезнее, чем отдых.

— Наверное, все же не любой труд, а только осмысленный. Человеку всегда важно видеть результаты своего труда. В этом отношении бамовцам можно позавидовать.

— Оно так. Возьмите хотя бы Даван. Вы приехали к нам первым поездом? Ну и как дорога? Даже не заметили крутых подъемов и спусков? Вот! А ведь до последнего дня многие не верили, что поезд сможет прийти на Даван. Зато сегодня загляните в общежитие, в любую семью — о чем разговоры? Всюду говорят про Даван. Даже в магазине, даже дети по пути в школу.

*...Тут мне вспомнился семилетний Женька, которого я встретила в поезде, идущем на Даван. Он стоял в проходе, приклеившись носом к оконному стеклу. За окном плыла и плыла тайга, не дремучая, а, скорей, светлая — от берез, от первого неуверенного снега. Женька смотрел за окно и тоже весь светился. Он для того и отправился в это первое в своей жизни самостоятельное путешествие, чтобы каждый метр дороги своими глазами увидеть. Каждый метр! Для того из дома*

сбежал, уроки пропустил, зайцем, конечно, едет.

— А все-таки скажи, Женька, для чего тебе это нужно — ехать?

— БАМ нужен всем! — отчеканил Женька и еще внимательней уставился в окно.

Поезд изогнулся, огибая очередную сопку, и Кунерминский мост оказался чуть сбоку, и стало отчетливо видно, как высоко висит мост над узким ущельем и какая ажурная у него конструкция. «Красавец! Сто метров!» — подскочил Женька, потеряв на минуту свою сосредоточенную важность.

— А знаешь, Женька, в Москве есть один мост, Крымский, он построен без опор, как бы сам себя в воздухе держит.

— Ну и что? — не удивился Женька.

— В Москве театров много...

— Ну... В театр пойди попади, а к нам артисты сами едут.

— В Москве, знаешь, какой зоопарк?

— У нас вся тайга — зоопарк!

— В Москве планетарий...

— А у нас планетарий — во! — Женька широко размахнулся, как бы вычерчивая круг неба над головой. При этом не забыл придержать щепотью рукав телогрейки, большой, наверно, отцовской, одетой ради солидности.

Тут проходивший мимо русобородый строитель вдруг узнал Женьку: «Ха! Младший Зимиров! Ты как здесь возник?» И увел Женьку в свой вагон.

Скоро поезд вскарабкался на Байкальский хребет. На Даване я искала, но так и не нашла Женьку.

Соглашаюсь с Ходаковским:

— Да, Феликс Викентьевич, меня поразило,

насколько все люди, от мала до велика, загнипотнозированы этой дорогой на Даван.

— Ну, еще бы! Ведь эта дорога для нас — связь с Большой землей, со всем миром. Хочешь — прямые рельсы прямо до Москвы доведут. Ну, это я, конечно, шучу. Нам дорога не для путешествий нужна — для перевозки грузов. Выручал отчасти Байкал, но навигация короткая, штормит часто. Так что объезд через Даван (с его помощью мы как бы перепрыгнули Байкальский хребет) был для стройки вопросом жизни. Ну, и достался ж нам этот Даван!

Значит, так... Оставался месяц до пуска и вдруг выяснилась деталь: механический путеукладчик работать на даванской высоте не сможет — слишком большой уклон. И вот приняли единственно возможное в наших условиях решение — укладывать путь вручную.

Рельсы на перевал завозили КРАЗами, растаскивали их вдоль насыпи тракторами, ну а остальная работа — просто руками. Представляете, что это такое? Ведь нужно, чтобы звенья легли точно впритык, ровно, красиво, а каждое звено 25 метров длиной, высчитайте, сколько оно весит, если даже шпала, короткая, из лиственницы — около 100 килограммов (шпалы нужно было укладывать под рельсы через каждые полметра). Вручную были построены шесть из семнадцати километров объездного пути через Даван. Нерекламный, конечно, факт. Труд, конечно, адский. Но, знаете, встряска Давана оказалась для стройки очень нужной.

*...Эффект этой встряски я видела своими глазами. Когда тот первый поезд остановился на Даване.*

не, взрослые, совсем как дети, карабкались на всевозможные выступы локомотива, что-то кричали, а некоторые, улыбаясь, плакали. Даже из Северо-Муйска (это много часов по ужасной дороге) приехали тоннельщики «потрогать рельсы». Говорили: «А как же, это — наша дорога!» Я видела, как один пассажир — пожилой мужчина в черной бамовской дубленке — соскочил с поезда и низко наклонился к земле: гладил рельсы, будто холодный металл стал живым и теплым. Видела, как девушка размахивает над головой тонкой веточкой рододендрона. Цветов на ветке не было, одни бурые листья, но все равно — букет празднику. Было все как на самом большом торжестве. Редко когда увидишь, чтобы столько людей с такой одинаковой искренностью переживали общую радость.

— Мне показалось, Феликс Викентьевич, что на Даване я почувствовала главное — люди здесь становятся ближе друг другу, откровенней, отзывчивее. Здесь нельзя жить особняком, спрятавшись за стены своей квартиры.

— Со стороны виднее. А мы уж привыкли, каждый день живем. Но думаю, если так вот и напишете, многие не поверят. О БАМе уже столько написано. Который уже год идет стройка, и все прекрасные слова, какие есть, истрачены... Сначала все казалось праздником, теперь наступили будни. Вот я и говорю, что нужна стройке такая встряска, как Даван. Имею в виду не только тех, кто укладывал рельсы, а всех абсолютно. Лесорубы, механики, водители, маляры, даже продавцы из нашего универсама, кто был и кто ни разу на Даване не был — все жили в те дни

по-особому. На стройке, действительно, все переплетено, друг с другом увязано. Не думаю, что это случайность: три человека, собравшиеся было со стройки уезжать, именно в даванские дни забрали свои заявления обратно. Горячо стало на стройке. Все почувствовали: БАМ есть БАМ.

Интересно: когда мы повесили объявление, что требуются монтеры путей на Даван, знаете, как много нашлось добровольцев! Вы, кстати, были в бригаде, которая укладывала вручную эти рельсы?

— Да, была, Феликс Викентьевич, была в бригаде Розумяка. Но не могу сказать, что от этого мне стало что-то понятнее. Какая-то сверхвыносливость. Или они что-то скрывают?

— Вас смутило, что ребята ни на что не жалуются? Ручаюсь, не только корреспонденту, но и близкому родственнику не станут они расписывать, как им было трудно. Да у них по-другому, что ли, мозги работали — только об одном думали, о своем деле. Иногда я на них даже злился. Приедешь, спрашиваешь: «Ну, что? Ну, как?» Налетят, ругаются: самосвал с рельсами на час опоздал. А про то, что к ним сегодня обед не привозили (такое безобразие!), забывают сказать, только потом случайно узнаешь. Бывают, значит, такие моменты, когда человек напрочь забывает о себе!

В те дни на Даване кто-то написал на скале: «Сильный останется, слабый уйдет». Но я не думаю, чтобы кто-то из них обратил на этот лозунг особое внимание. Сила приходила от общего настроения. Врачи, знаете, удивляются: какой низкий у нас процент простудных заболеваний, хотя вроде бы все условия заболеть! Вот, а вы спрашиваете, как это строит человека БАМ... Человеку не-

обходимо себя испытывать! Да они, молодые, и этому и без наших советов стремятся. Отчего, думаете, до сих пор так упрямо едут на БАМ?

— Этот вопрос меня больше всего интересует. Я его задавала здесь десятки раз и, действительно, часто слышала: «Хочется испытать себя». Звучит, конечно, красиво, но неубедительно. Ведь сколько людей, клявшихся преодолевать трудности, убегают со стройки после первой же полочки, не оправдавшей ожиданий.

— В разговоры можно и не верить, но в жизни, слава богу, все это существует — и энтузиазм, и молодой задор. Кстати, не только у молодых людей. Но не нужно, конечно, думать: раз приехал на стройку века — значит, уже и герой.

— Те, кто никогда не бывал на БАМе, любят скептически порассуждать: а, знаем мы этих энтузиастов, за деньгами едут — все просто.

Что ж, и за деньгами. А разве это стыдно? Заработок, понимаете ли, от слова «работа». И если мы уважаем работу, то и к трудовому заработку должны относиться с уважением. Зачем лицемерить? Зачем думать, что тут, на БАМе, должны жить какие-то идеальные герои с крылышками, которым кроме песен и запаха тайги ничего не надо?

И, между прочим, такой взгляд просто несовершенный. Во всех партийных документах последних лет прямо подчеркивается, что качество труда должно неотвратимым образом сказываться и на материальном вознаграждении.

Значит... У нас и северный коэффициент, и колесные. Зарплата за счет этого почти удваивается. Есть у строителя возможность сразу, как приехал, подать заявление на автомашину, у него будут высчитывать процент из зарплаты, и через



три года он имеет на руках талон, дающий право получить машину, без очереди в любой точке страны. Как у нас шутят — хоть в табачном киоске.

Но все это сопутствующий, так сказать, фактор. Не он, конечно, главное. Как вы, собственно, себе представляете: приехал человек на БАМ, чтобы сколотить деньгу, значит, он не живет, а только собирается жить? Откладывает все на будущее? Но это же несвойственно молодежи. Не могут они отложить на потом любовь, свадьбы, рождение детей...

— Знаете, я заметила, что сами строители неохотно идут на разговор о деньгах, даже обижаются...

— А тут вот какое дело: люди тяжело трудятся, и это вполне естественно, что хорошо зарабатывают. Привыкают, перестают заострять внимание на деньгах. Если хотите, деньги дают свободу... от денег. Есть они, и хорошо. Так и должно быть. Чего, мол, по этому поводу особо разговаривать?

Ученые из Улан-Удэ проводили социологическое обследование: по каким мотивам едут люди на БАМ? Я и сам удивился: интерес к деньгам оказался аж на четвертом месте, а на первое место, как и следовало ожидать, отвечавшие поставили интерес к работе.

Это просто беда, если кто приезжает на стройку и думает, что деньги здесь, как дождь, с небалются. Сам же потом и страдает. Все наше трудное ему в три раза труднее. У него нет радости от работы, а значит, не живет он эти годы, а мается. Уедет, деньги растратит, знаете ж, как разлетаются деньги, и что ж у него останется?

— А у вас что останется?

— Как что? Дорога.

...Простите, Феликс Викентьевич, что задавала вопрос, ответ на который был заранее известен. Ведь его дал мне еще тот, случайно встретившийся шофер. Я не голосовала, он сам остановил свой огромный оранжевый «Магирус», а потом, пока ехали, будто сам с собой вслух разговаривал: «Зачем, думаете, его сюда из Сочи черт занес? За длинным рублем, думаете? Ошиблись. У меня этих денег и у Черного моря хватало — поваром в ресторане работал. А сюда... Можете смеяться, можете нет, но я здесь вот зачем. Как закончим эту великую магистраль, все ее 3145 километров, я одной сочинской девчонке билет в мягкий вагон куплю, и поедем мы с ней через всю страну вплоть до Тихого океана. И скажу я ей: «Ты думаешь, где я столько лет пропадал? Я сам эту дорогу строил».

Это еще одна из прекрасных «банальностей» БАМа: все мечтают по этой дороге с комфортом проехать. Проедут ли? Соберутся? Но во всяком случае, где б кто ни был, будут знать, что она где-то есть, его дорога. Вот уж нетленная собственность. Дублинки износятся, машины изобьются, а уж дороги точно на всю жизнь хватит.

— Пришла пора, Феликс Викентьевич, спросить вас о личном. Вы никогда не жалели, что стали строителем и всю жизнь, можно сказать, скитаетесь?

— Я не скитаюсь. Я работаю.

— Работаете. Но сколько раз вы перевозили семью с места на место?

— Сколько? Не считал. Правда, Виталька, мой старший, за десять лет учебы шесть школ сменил. Ничего. Нормально. Как это — жалеть? Я бы в городе от скуки задохнулся.

— Что вы, Феликс Виленьевич, город открывает человеку столько возможностей, радостей...

— Кому как. А я вот больше года в этом поселке, а в кино ни разу не ходил. Как-то привезли хороший фильм, дочке билета не досталось, она — к кассирше. Дайте, говорит, два билета для Ходаковского. А кассирша ее — стыдить: «Нехорошо, девочка, врать! Ходаковский в кино никогда не ходит».

— Но это же плохо! — возмущенно говорю я, но тут же вспоминаю, что рабочий день Ходаковского кончается не раньше десяти вечера, что выходных у него фактически не бывает, и понимаю, что «перевоспитывать» его бесполезно. — Посмотришь, как вы тут трудно живете, и чувствуешь себя перед вами будто виноватой...

— А мне, извините, жалко вас. Вы уедете, а Байкал-то с нами останется, и тайга, и дорога. Нет, в городе я бы просто пропал. Был у меня один эпизод. Как раз закончили тогда Абакан — Тайшет. Шесть лет жили в палатках, вагончиках: я же на Абакан сразу после техникума попал, успел за время строительства вечерний институт закончить, устал, конечно. И вот предлагают мне работу инженера в управлении, дают квартиру в Братске. Жена как раз второго ребенка родила, мать с отцом старенькие, болеют. В общем, решил я, так сказать, переменить стиль жизни. Надел чистые ботинки, галстук, пришел к девяти утра в управление, сел за стол и не знаю, что же мне делать. Про какие-то бумажки мне что-то объясняют, я их с места на место перекладываю, а сам на часы смотрю. Здесь вот дня не замечаешь, а тогда каждый час днем казался. Ужас это был. Три месяца будто не жил. Потом — так получилось — Звезда Героя спасла. Пришел при-

каз о награждении за Абакан — Тайшет, и я уже имел право на попятную: стыдно, говорю, называться героем и перебирать в конторе бумажки. Отпустили меня на Игирму, мы тогда начинали строить Хребтовую — Усть-Илимск.

*В этом месте разговора вдруг погас свет. Ходаковский извинился: подстанция не выдерживает перегрузок, ну, ничего — ЛЭП-220 уже на Даване. Рассказывая про новую жизнь, которая начнется с приходом ЛЭП, он искал и никак не мог найти свечку. Что за интервью в темноте? Я уже собиралась уходить, но, к счастью, на выручку подоспел Петр Лосев, мой гид и старый знакомый. Однажды, лет пятнадцать назад, мы встречались с Петром в Железногорске под Братском, он был тогда простой плотник. А сейчас он — автор книжки «Утро БАМа», несколько лет, оказывается, проработал в областной газете, имел, что называется, все и теперь все бросил, чтобы жить в общежитии этого поселка, где чуть что — гаснет свет. У него здесь какая-то интересная должность летописца, но в душе он остался строитель, причем строитель с той неукротимой жаждой первопроходства, которая, очевидно, и сблизила его с Ходаковским. Еще с Хребтовой — Усть-Илимской. Так случилось, что стоило Лосеву вырваться в какую-то трудную командировку, где нужно и лететь вертолетом, и плыть на лодке, и идти пешком (такие командировки Петр любит), в конце пути среди тех, к кому он добирался, каждый раз оказывался Ходаковский.*

*Благодаря Лосеву разговор мог продолжаться и в темноте. Собственно, говорили они двое, на каком-то особом, не всегда доступном мне языке. Квартирьеры... Десант на Тушаму... Блокада на*

*Игирме была долгой... Передислокация... Все какие-то военные термины, но они почему-то звучали уместно. Лосев, желая мне помочь, не раз пытался вывести разговор на героические подробности: «Помните, как мы пробивались от Рудногорска, по пояс в снегу, и вы, Феликс Викентьевич, шли впереди всех людей и машин, отыскивая визирки... Помните, когда высадились в Магистральном и чуть не увязли в болоте...» Ходаковский отрывисто похохатывал в темноте и отвечал однозначно: «Ну, было, было...»*

Я слушала их и думала о дороге. Это для нас, пассажиров, дорога — средство передвижения, не более. И только тот, кто начинал эту дорогу с нуля, спускаясь десантом (буквально — с неба) в не хоженный раньше квадрат тайги, кто расчищал здесь плацдарм для поселка, кто прорубал первую просеку, тот знает, что дорога — это не просто рельсы, а сама жизнь. И получается, что строить дорогу — значит, начинать жизнь там, где ее раньше не было.

Впоследствии, вернувшись с БАМа, я отчетливо поняла, что человечество делится не только на мужчин и женщин, не только на взрослых и детей, но для меня оно теперь делится еще на тех, кто на «стройке века» был, и на тех, кто там никогда не был. Первые, как правило, ревностно защищают БАМ: да, есть недостатки, конечно, зато люди, какие люди! Вторые спокойно интересуются, но и сомневаются — спокойно.

Я тоже не люблю громких слов, и если мне кто-то долго о чем-то твердит, у меня тоже возникает закономерное чувство протеста. Когда ехала на БАМ, само это слово, признаться, зву-

чало каким-то набатным звоном. Теперь слышу отдельные, знакомые голоса, вижу лица... И снова думаю: как же объяснить то загадочное свойство души человеческой, которое не дает успокаиваться, заставляет идти туда, где трудно, туда, где опасно, снова и снова начинать с нуля? Испытания, трудности... Да разве они встречаются только на БАМе? И разве только в тайге можно преодолевать трудности — строить себя? Начинать жизнь, спешить начинать! Дорога — это движение... Ходаковский, конечно, прав: если хочешь найти себя — ищи труд, пот и дорогу. Человеку нужна дорога. Каждому — своя.

Но что такое дорога? Это — как утверждает следующий мой собеседник — связь с людьми, которых встречаешь на жизненном пути.

## РАБОЧИЙ Е. Н. МОРЯКОВ:

«...самое дорогое, что есть у человека — это его единение, его дружба с другими людьми».

О Морякове, токаре ленинградского завода «Строймаш», Герое Социалистического Труда, я немало читала и слышала. Читала и его собственные книжки. Особое впечатление произвел показанный по телевидению фильм «Токарь». Авторы получили за него «Золотого голубя» в Лейпциге, но успех фильма определился, пожалуй, не тем, как он был сделан, а просто человеческим обаянием самого Морякова, который совершенно непринужденно держался перед камерой, искренне огорчался, естественно радовался, всерьез размышлял о жизни. Таким он и запомнился.

Давно хотелось встретиться с Моряковым. И вот случай: мне в руки попало письмо, в котором профессия токаря («наряду с другими, требующими от человека только автоматизма и слепого исполнения») была названа «несовместимой с творчеством».

\* \* \*

— Вот, Евгений Николаевич, вы так гордитесь своей профессией токаря, а многим молодым кажется, что удовлетворения в жизни эта профессия принести не может. И любые, мол, восхваления рабочих профессий — всего лишь агитация, разговор для бедных.

Я опасалась, что Моряков обидится. Но он, наоборот, улыбнулся и спокойно начал:

— Говорите, есть мнение, что профессия токаря — никудышняя? Что ж, я не раз такое слышал: если остался на всю жизнь токарем — значит, неудачник. Однажды мне довелось наблюдать, как мать «воспитывала» сына. Она кричала ему, убежавшему к ребятам: «Не хочешь учиться, бездельник?! Ну вот вырастешь — токарем будешь, как твой отец». Смешно, честное слово. Ну, как здесь спорить? Если сказать, что неудачником себя не чувствую и если б родился заново, попросил бы судьбу: сделай меня токарем, — многие могут не поверить. И пусть не верят. А факт остается фактом: токарь — нужная, хорошая профессия, она не только для рук, но и для ума, и для сердца. Ну, может быть, не престижная она сейчас, но это — временно.

Мой дед был сапожником, но какой уважаемый это был человек! Невероятно трудолюбивый, отзывчивый, бескорыстный и, знаете, талантливый человек. Всю жизнь он проработал в артели и скольким людям радость принес! К нему прихо-

дила вся округа: «Федорыч, не обессудь. Посмотри обувку!» И дед брал эту изношенную вдребезги обувку так бережно, перекладывал на своем фартуке так тщательно, будто решалась судьба какого-то живого существа. Ответ у него был всегда один: «Попробую! Но это в последний раз». А ему потом еще и еще раз ту же обувку тащили, и он умудрялся ее оживлять. Разве это не творчество?

Вечерами дед читал нам книги (существовала тогда традиция семейных чтений). Особой образованностью дед похвалиться не мог: читать умел, а вот писать — нет, вместо росписи кресты ставил. Но именно он сумел привить нам любовь и к Пушкину, и к Толстому. Помню, оторвется от книжки, поднимет очки на лоб и скажет вдруг: «Люди всегда должны оставаться людьми. Можно жить с заплатами на обуви, а с заплатами на совести жить нельзя». Да, если нет совести, никакой талант не поможет.

— Вы говорите: совесть... Но разговоры о совести кажутся порой пустым словоговорением. Вы не замечали, например, что упрек: «Как вам не стыдно!» — слышится сегодня все реже? Беспомощно как-то звучит... Не очень сегодня таким упреком кого-то проймешь.

— Кажется, Короленко говорил: нравственность — это когда наедине с собой ты не сделаешь того, за что перед другими совестно. И стыд, и совесть — это то, что внутри, а не на выставке. Часто приходится ломать голову: почему мы работаем плохо? Свойственно ли это человеку по самой его природе? Послушайте, как выступают люди на собраниях. Только и говорят, что работать надо лучше. И вполне в этом искренни. Но почему же тогда мы порой работаем так плохо?



— Наверное, Евгений Николаевич, в этом и есть расхождение между коллективной и индивидуальной совестью.

— Но что такое коллективная совесть? Не понимаю. Способен ли кто-то отвечать за всех, за общее дело, если не научился отвечать за себя лично? Есть сейчас такая модная тенденция: ни на что особо не тратиться, беречь силы от труда... для отдыха. В финской бане посидеть, на природу выехать. Интересно? Может быть. Но мне жалко таких людей. Живут они как бы урывками, а вот на работе не живут, а просто существуют.

Не понимаю, почему авторитет человека должен зависеть от того, какая у него профессия. По-моему, главное твое достоинство в том, насколько ты хорош сам по себе и честно ли относишься к своей работе. Творчество всюду возможно. Вот та же профессия токаря. Есть в ней и автоматизм, и четкие инструкции. Но ведь техническая инструкция — не правила орфографии, где слово «огород» пишется только через «о». Ты стоишь за станком, ты — человек, должен же ты думать!

Каждый день находить в своей работе что-то новое — это, наверное, и есть творчество, доступное всем. Вот расскажу вам... Когда киевский театр привозил в Ленинград «Варшавскую мелодию», я три раза подряд на спектакль ходил. Один знакомый журналист встретил меня и удивился: зачем тебе это нужно? Я ответил: «О, там Ада Роговцева играет. Я у нее работать учусь». Ведь у актеров тоже — массовое производство! Каждый день одна и та же роль, до слова, до жеста, но каждый день актриса открывалась по-новому. Так и нам на своем рабочем месте нужно: хоть на шаг продвигаться к лучшему, искать. Каждый день!

Где бы мы с Моряковым ни говорили — в фойе театра, в гостинице, на заводе «Строймаш», в конторе ЖЭКа (там Евгений Николаевич вел прием избирателей — шесть раз он избирался в депутаты горсовета, три раза — в райсовет), мой собеседник был одинаково спокоен, приветлив, обстоятелен — оставался самим собой. Тихая улыбка и умение прислушаться к любым возражениям придавали словам Морякова особую убедительность. Он относится к числу тех редких собеседников, которые все известное стараются обдумывать заново, не боятся ошибаться — ищут истину у тебя на глазах.

— Есть люди, которые, как только заходит речь, чтобы взять ответственность на себя, сразу заявляют: «Я — человек маленький». Что ж, легче всего убедить себя, что ты — лишь пылинка в этом огромном, скоростном мире. Пылинка, которой даже ветер может распорядиться. Да, так легче. Привыкая слепо выполнять указания свыше, человек фактически прячется за чужую спину. Конечно, за нетворческий подход к делу прогрессивки не лишают, можно и в тени прожить, но будет ли такой человек счастливым? Сможет ли внутри себя смириться, что он — середняк? Нет, знаете, плохо работать — это тоже уметь надо.

А люди у нас в большинстве нормальные, хорошие. Обидно, что им-то в воспитательной работе мы уделяем мало внимания. Массу усилий гробим, чтобы перевоспитать двух-трех отпетых, а о тех, кто тоже работает рядом не за страх, а за совесть, забываем. Ну, вот пишем мы в служебных характеристиках: «Работает хорошо, дисциплинирован». И никогда: «добр и честен», «дорожит своим словом». А я бы писал даже так: «Умеет (или не умеет) чувствовать чужую боль».

Когда я спросила: «А как же быть с отпетыми?» — Моряков уточнил: «Ну, конечно, мы обязаны достучаться до сердца каждого человека». — «А возможно ли достучаться до каждого?» — «Если ключик особый найти, любой откликнется», — уверенно ответил Моряков. Тут я вспомнила разговор о Евгении Морякове с Владимиром Рецептером. (Артист и токарь давно знакомы и питают друг к другу симпатию.) Так вот, повел меня Моряков в экспериментальный театр, где Владимир Рецептер, как режиссер, поставил «Мопсарт и Сальери». После спектакля и состоялся тот наш разговор с Рецептером. Он сказал о Морякове: «Это гармоничный, чистый человек, но в каком-то смысле — идеалист».

Может быть, и в самом деле Евгений Николаевич идеалист, раз считает, что любого отпетого можно наставить на путь истинный? И нет ли чего-то идеалистического в его отношении к профессии токаря? Пожалуй, и так: Моряков — идеалист, но в самом исконном, забытом смысле слова: человек, живущий по дорогим его сердцу идеалам. Идеалист-практик. Именно это качество натуры определяет, очевидно, его незаурядный дар воспитателя, о котором мне многие рассказывали. Тринадцать лет подряд возглавлял Евгений Николаевич партийную организацию завода. Неосвобожденный секретарь, он трудился фактически в две смены: первая — на станке, вторая — на общественной работе. Моряков многое сделал для создания творческой атмосферы в своем коллективе, а вот оформлять собственные рационализаторские предложения (он их немало вносил) было недосуг. Есть у него, кажется, бронзовая медаль ВДНХ. Маловато, конечно. Но сам он об

этом никогда и не задумывался. Привык радоваться успехам других.

— Я горжусь тем, что главный конструктор нашего завода Макс Шапунов имеет более тридцати авторских свидетельств, многие иностранные фирмы прислали ему патенты. Но горжусь я и тетей Катей Белиховой. Она — ветеран нашего завода, всю жизнь режет металл. Вроде бы однообразная работа, да? Но, помните, писатель Бажов говорил про живинку в деле? Вот у тети Кати — живинка! Залюбуешься, как по-умному кроит она металл, лишнего сантиметра не выкинет. Ей иногда говорят: «Тетя Катя, что это — крепдешин, что ли? Возьми другой лист железа, дело-то быстрее пойдет!» А она — свое. Совесть ей не позволяет иначе работать.

Я недавно перечитывал Шукшина. Герой одного из последних его рассказов «Штрихи к портрету» мечтает: «А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничит — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух».

Представьте себе, как преобразилась бы наша жизнь, если бы каждый, буквально каждый человек на своем конкретном месте честно, от души трудился. Дело в том, что качество личного труда — это прежде всего качество воспитания личности, уровень совести. А мы порой начинаем дело воспитания с конца. Твердим человеку: работай хорошо, работай...

— Но сегодня, Евгений Николаевич, жизнь стала лучше, легче, чем в годы вашего детства. И сколько бы мы ни попрекали родителей, что,

мол, портят своих детей, оберегая их от трудностей, а процесс этот вполне закономерен, объективен.

— Я где-то читал, что если стрижа, который учится летать, посадить на совершенно ровную площадку, он не сможет оторваться от земли. Но если его подкинуть или посадить на крышу, у него сразу появляются и силы, и стимул для полета. Так, наверное, и с подростком. Создавая для него идеально ровную поверхность жизни, мы нарушаем естественное развитие его внутренней природы. А она-то, порой бурная, непокорная, все равно вырывается наружу, но вырывается боком. Нет, я вовсе не за то, чтобы создавать нашим детям искусственные трудности. Слава богу, что наши ребята могут сегодня спокойно учиться, а не идти, как я, например, в пятнадцать лет работать.

...Моряков пришел на завод совсем мальчишкой, паспорта еще не имел, штамп о приеме на работу прямо в метрику поставили. Смешно вспомнить: ростом в ту пору он совсем не вышел, и сделали ему двойную подставку, водрузили ее перед станком, а мастер пошутил: «Вот тебе, Евгений Моряков, капитанский мостик. Отправляйся в большое плавание!» Завод был от дома через стенку. Обедать ходил домой. Шел через большой двор в замасленном комбинезоне, нарочно не умывшись. Знал, что знакомые мальчишки высовываются из окон, с завистью провожают глазами.

На минуту Моряков останавливается, вспоминает, может быть, свое детство и насмешливо улыбается чему-то. Спohватившись, продолжает:

— Сейчас, конечно, совсем другая жизнь. Условия нас не поджимают, не заставляют с детст-

ва приносить в дом копейку. Но вот же какая закавыка: сегодняшний подросток, хоть ничего пока самостоятельно не совершил, а уважения к себе требует такого же, каким заслуженно пользовались в свое время мы, пятнадцатилетний рабочий класс. Да ведь это уважение было как дрожжи, на которых выросло с юности чувство достоинства, а из него уж и другие качества характера — честь, ответственность, умение думать про другого... Эти качества, по-моему, заложены в каждом человеке и ждут-не дождутся, чтобы проявиться. Как же дать им сегодня волю?

Думаю, что, во-первых, мы не имеем права шуметь на наших детей по пустякам. И обязаны быть щедрыми на уважение. Да, уважать подростка, так сказать, авансом. Пусть он ничем особо не отличился, но мы-то знаем, что он на многое способен. И должны доверять ему, предоставлять больше свободы, не дрожать, что он ошибется. Уважение всегда подтягивает, обязывает человека быть лучше.

— Значит, по-вашему, проблемы воспитания становятся сегодня гораздо сложнее?

— Конечно, от воспитателей, от всех нас, взрослых, требуется сегодня особая мудрость и гибкость, но главное — щедрость. Я на этом настаиваю. Конечно, чтобы узнать и почувствовать каждого воспитанника, нужны время и силы, а у наставника не так уж много свободных минут во время работы. Но вспомним: после войны свободного времени было еще меньше.

Теперь и объяснить трудно, откуда, например, выкраивала часы и минуты для воспитания новопеченных рабочих «Строймаша» комендант общежития простая русская женщина Александра Капитоновна Белякова. Сто пятьдесят мальчи-

шек и девчонок разом свалились на ее голову. Самому младшему — пятнадцать, старшей — семнадцать лет. Все голодные, растерянные. Выпускники ремесленного училища, приехали они в Ленинград из Рыбинска, обещали им благоустроенное общежитие с окнами на Неву, но в жизни все повернулось не так красиво... И обрушились на Капитоновну сотни вопросов и бед. Уму непостижимо, как успевала она разглядеть и понять каждого (но — успевала!), как ухитрялась помочь, причем норовила не просто оградить от дурного, а сделать ребят невосприимчивыми к дурному.

Самой Капитоновне выпала трудная вдовья доля. Муж погиб на фронте, на руках — двое детей, жили они в маленькой комнатухе общежития, рядом с большой и вечно шумной кухней, зарплата, конечно — гроши. Но Капитоновну никто из нас никогда не видел приунывшей. Девчонок и мальчишек как магнитом тянуло в ее комнату, которую она сумела превратить в настоящий домашний очаг для всех своих питомцев. У Капитоновны можно было и чайку выпить, и просто по-девчоночьи выплакаться, и залечить на руках порезы от стружки, и перехватить до получки пятерку. На всех хватало у нее тепла и любви. Помогало тогда, конечно, и наше умение «жить единым человеческим общежитием». Думаю, самое дорогое, что есть у человека, — это его единение, его дружба с другими людьми.

— Ну а что еще нужно человеку для счастья? Вам не раз, наверное, приходилось отвечать на вопрос о счастье.

— Очень трудно на него отвечать. У каждого — свое личное, сформулированное жизнью мнение. Но я сказал бы просто: счастье — это когда

ты чувствуешь свою нужность людям, когда у тебя здоровья до чертиков и тебе работать и работать хочется.

...Чувствую некоторую горечь в этих словах: сам Моряков, увы, здоровьем похвастать не может. В последние годы Евгений Николаевич болеет — тяжелая астма. Был, можно сказать, на волосок от смерти — лежал в реанимации, но каждый раз, выходя из больницы, вновь возвращался на родной завод, без которого себя не мыслит. «Радость жизни добывается только через труд», — сказал Моряков в начале нашей беседы и этим выразил свое жизненное кредо.

— Значит, по-вашему, счастье начинается и кончается работой? — спрашиваю я, тут же вспоминая свой спор на эту тему и с Илизаровым, и с Ходаковским. Да что они все сговорились, что ли?

Моряков убежденно продолжает:

— А как же? всю мою жизнь я видел по-настоящему счастливыми только тех людей, которые любят и умеют работать. Вы слышали, например, о Чуеве? Да кто сегодня не знает о Чуеве? Вот уж божьей милостью токарь и в самом высоком смысле счастливый человек. Токарь Чуев внес огромный вклад в создание советского флота. Почти все судостроительные заводы страны применяют сейчас чуевский метод. Раньше слесарную доводку многотонных валов гребного винта делали только вручную. Здесь нужна максимальная точность, и считалось, что доверить эту работу машине нельзя. А Чуев (он имел глубокие инженерные знания) долго, очень долго искал и нашел! Предложил и сам опробовал вариант обработки валов на токарном станке. Это было так непривычно! На завод приезжали несколько авторитетных комиссий, проверяли точ-



ность результатов, но все равно говорили: не может быть! Наконец вызвали одного известного профессора, и тот поддержал Чуева.

Жена Чуева — Вера Евлампиевна рассказывала мне, как он вскакивал среди ночи, что-то рисовал, ходил по комнате... Что им двигало? Не думаю, чтобы желание славы или мысль о вознаграждении. От него лично знаю, что очень уж ему хотелось избавить своих товарищей от мучительного ручного труда. Мне повезло в жизни — часто встречался с Алексеем Васильевичем. И нигде — ни на заседаниях, ни на выставках достижений ленинградских новаторов (Чуев был председателем совета новаторов города), ни в его цехе — ни разу не слышал, чтобы Чуев сказал: «Это сделал я, разработал я». Он всегда подчеркивал, что представляет опыт родного Балтийского завода. Трудное, конечно, было у Алексея Васильевича счастье, но надежное. Да что там говорить, без труда человек сразу становится себе самому ненужным, одиноким.

...И снова Евгений Николаевич задумался. Может быть, опять посетили его грустные мысли о постоянно висящей над ним угрозе — врачи уговаривают Морякова оставить работу, уйти на отдых. Материально-то он будет обеспечен, но как станет себя при этом чувствовать?

«Я — токарь, и этим я интересен», — сказал как-то Моряков, выступая от имени советской делегации в одной из своих зарубежных поездок. Спрашиваю его о впечатлениях от заграницы. Он первым делом вспоминает о добрых встречах с людьми труда, со своими коллегами — рабочими. С ними сразу удавалось найти общий язык, где бы это ни было — в Англии, в Норвегии, в ФРГ или в Японии. Но поразило Морякова, что усло-

вия жизни в капиталистическом мире заставляют даже хороших людей думать только о себе. «А зачем мне ученики? — удивился опытный столяр из Манчестера. — Есть училища, пусть там и учат. А у меня свои секреты». С недоумением вспоминает Моряков эпизод, о котором узнал из одной книжки об Америке:

— Представьте себе: огромный завод, и в цехе, оборудованном по последнему слову техники, вдруг стоит палатка. Что такое? Зачем? Оказывается, здесь работают экстра-мастера, отец и сын. А палатка — чтобы скрыть от чужих глаз свои секреты.

И снова наш разговор возвращается к излюбленной теме Морякова — об уважении к труду. Он говорит:

— В нашей стране созданы все условия, чтобы человек мог свободно выбрать для себя дело по душе. Но как жаль, что этот выбор превращается порой в метания без толку: то не нравится, это не подходит. А ведь, знаете, прежде чем сказать: «Я не люблю свою работу» — и искать новую, нужно литры пота пролить, пуды соли с товарищами по труду съесть. Хочешь открыть свой талант, изволь всерьез потрудиться. Природой каждому отмерен какой-то талант. Губить в себе талант, будь он большой или маленький, всегда преступление. Кстати, человек, который изобрел хороший резец, заслуживает не меньшего уважения, чем, предположим, поэт, написавший хорошую поэму. И то, и другое необходимо обществу. Знаете, слово «рядовой» в применении к человеку или к его профессии никогда не казалось мне оскорбительным.

Когда я выбирал профессию (тоже ведь мечтал найти свое единственное), мне было ясно: «рабо-

чий» звучит гордо, почти как слово «человек». В нашем поселке судостроителей все вокруг работы вертелось. Отец был рабочий, дядя был рабочий, жили большой семьей, друзья семьи — тоже рабочие. Дома разговоры — все про работу. Нам, детям, никогда не говорили, что стоять у станка легко, но никогда и не говорили, что это плохо.

Моряков как пришел токарем на завод, так токарем и остался. Завод «Строймаш» — маленький по ленинградским масштабам и нельзя сказать, чтоб очень современный завод, зато выпускает он уникальные строительные машины, которых никто в стране больше не делает. «Все, что построено за последние годы в Ленинграде, — жилые дома, заводы, станции метро, школы — все с помощью наших машин. Да и в других городах, в других странах наши машины работают», — говорит Моряков. И действительно, чего ему было со «Строймаша» куда-то переходить, когда именно здесь он всегда чувствовал себя на *своем* месте? Да и не из тех Моряков людей, которые ищут, где легче и лучше.

Напоследок Евгений Николаевич говорит:

— Вот и на июньском Пленуме нашей партии говорилось, как это важно для всех нас, для страны — помогать молодым правильно выбрать свой трудовой путь. Опыт ленинградских ПТУ был на Пленуме одобрен. Но можем ли мы успокаиваться? Имеем ли право не признать, что бываем порой неискренни — будто самих себя уговариваем, что все профессии хороши, а внутри в это не верим? Не ослабевает ли изначальное уважение к труду как таковому? Вот что меня сильно тревожит!

Эта мысль еще отчетливее прозвучит в беседе с другим человеком, которого я встречу на Алтае.

## СОЛДАТ ВОЙНЫ В. Т. ХРИСТЕНКО:

«...Для хорошего самочувствия человеку необходимо прежде всего самоуважение».

Есть люди (с годами их становится все меньше), для которых жизнь разделяется на время «до» и «после» войны — никакие мирные впечатления не могут перекрыть в их памяти остроту пережитого. К числу таких «вечных фронтовиков» относится и Василий Тимофеевич Христенко, первый заместитель председателя Алтайского крайисполкома

В начале его биографии любопытно повторилась цифра семнадцать: он был младшим (семнадцатым!) ребенком в семье сельского фельдшера и в неполные семнадцать лет ушел добровольцем на фронт. До войны мечтал стать художником, занимался в студии, у него находили способности.

Когда в первом бою увидел поле во всполохах взрывов, очарованно застыл, стоя на коленях: «Какие краски!» Очнулся от крика старшины: «Ты что, сдурел? Окапывайся!»

С войны Христенко возвратился полным кавалером ордена Славы. Художником он не стал. Закончил юридический институт. Более четверти века отдал партийной работе на Алтае. Шестнадцать лет был первым секретарем Шипуновского райкома. Это — в засушливой Алейской степи, в зоне рискованного земледелия. Герой войны, в мирные дни он стал Героем Социалистического Труда.

Был делегатом XXIV и XXV съездов партии, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР,

На Алтае Христенко известен не только своей незаурядной биографией, но прежде всего — самой своей личностью. «Надежный, прямой, смелый в решениях...» Это не из военных характеристик — из отзывов земляков о Василии Тимофеевиче.

Из окон гостиницы виден сквер с заиндевевшими деревьями, а чуть левее — здание крайисполкома. Кабинет Христенко — на втором этаже этого здания. Мое окно как бы смотрит в его окна. Каждое утро, просыпаясь, не могу удержаться и не взглянуть: как там, напротив? Зимнее утро медлительное, сумеречное, и вот каждый раз вижу, что в христенковском кабинете уже горит свет. Большинство окон здания темные, а у него — свет. Василий Тимофеевич приходит на работу одним из первых и уходит (судя по окнам) одним из последних.

Несовременная это привычка — пропадать на работе с утра до ночи. Когда-то мы таким поведением человека восхищались, теперь порой относимся с легким осуждением: не работой единой жив человек. Нужно-де так организовать свой рабочий день, чтобы в законные часы укладываться, а свободное время должно использоваться по назначению, поскольку эффективный отдых для той же работы важен. Но эти здравые наущения не проймут Христенко. У него свои твердые принципы, в суждениях о жизни он бывает резок, категоричен, наивен порой, но всегда — искренен. Предъявляя жесткие требования к другим, он к себе их в первую очередь применяет.

Итак, наш разговор начался с того, что я вспомнила выступление Христенко по радио (то-

гда я не знала, кто он, передачу слушала с середины, но непривычная страстность, наступательность говорившего заинтересовали меня).

\* \* \*

— Вы говорили, Василий Тимофеевич, что вам не по нутру люди спокойные — спокойствие часто оборачивается равнодушием. Вы доказывали, что счастливым может быть только человек, который горит за свое дело, и возмущались теми, кто делает ровно то, что положено, — «от» и «до»... Меня, помню, взволновал пафос ваших слов, но с позицией, если вдуматься, трудно согласиться. Ведь если бы все мы нормально исполняли каждому из нас положенное, наверное, и горения ни от кого не потребовалось бы. Да и плохо ли, когда человек спокойный? Вы вот сами — спокойный... Многие даже считают это главной чертой вашего характера.

— Спокойный? Ну уж нет — просто в узде себя держу... Но не о том же спокойствии речь, не о форме поведения, а о человеческой сути. Насколько помню, я тогда по радио об уважении к труду говорил. Не верю, что человек может быть счастливым, если не любит труд, если с детства ему потребность трудиться не привили. Мы вот обычно, когда беседуем с молодежью, упираем на то, что трудиться — долг человека перед обществом: кто, мол, не работает, тот и не ест... А они, эти ушлые молодые, тут же припоминают своего знакомого или соседа, который никаким общественно полезным трудом не занимается, но очень даже вкусно ест...

Что скрывать, мы живем в такое время, когда человек, не желающий работать, с голоду, конечно, не умрет. Ловкачи придумали множество спо-

собов, как безбедно прожить за счет общества, причем для этого не обязательно воровать в открытую. И что же может подумать, оглянувшись, молодой человек? Труд, скажет он, вовсе не так уж необходим для хорошей жизни, как это пытаются мне внушить. Труд — просто повинность. Вступая с таким заблуждением в жизнь, невозможно радоваться или — повторяю — гореть даже на самой интересной работе.

Очень обидно, что в трудовом воспитании мы мало обращаем внимания на главную суть: труд, образно говоря, дает человеку не только хлеб насущный, но и хлеб духовный. Труд — прежде всего потребность, которая заложена в самой человеческой природе.

Очень серьезный это вопрос. Но как подступиться к его решению? Можно ли человека, по выражению Христенко, «спокойного» убедить... гореть? Это же все равно, говорю я Василию Тимофеевичу, что кого-то *заставить* быть счастливым.

Он сразу же соглашается: да, голыми призывами ничего не достигнешь. На некоторое время замолкает, рассеянно перебирая деловые бумаги, в изобилии скопившиеся с утра на столе. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, задаю вопрос, который занимал меня с тех пор, как услышала о Христенко: как случилось, что его наградили «лишним» орденом Славы? Дело в том, что у Василия Тимофеевича четыре Славы — уникальный случай. Ведь этот солдатский орден, как известно, имеет только три степени (вручался за проявление личной храбрости).

Василий Тимофеевич чуть устало улыбается — много раз, конечно, спрашивали его об этом. «Ну, когда первый раз наградили, лежал в госпитале

и ничего не знал, награда затерялась на дорогах войны. А потом попал в другой полк, и фронтовая жизнь пошла по новой. Был разведчиком, было много возможностей проявиться, заработал три Славы. Ну, а о том, самом первом ордене (потом он оказался уже четвертым) стало мне известно только после Победы. Это, понимаете ли, счастливая незаконная случайность войны. Впрочем, как и то, что остался я жив». — «Вас сразу направили в разведку?» — «В разведку никого не направляли, только — по собственному желанию». — «И всю войну в разведке?» — «Да, нравилась эта работа. Там очень многое зависит от тебя лично».

В статьях о Христенко (о нем немало писали) я не раз встречала сравнение его мирной жизни с фронтовыми буднями: «он, секретарь райкома, по-прежнему чувствует себя на самой горячей передовой», «он любит бывать в поле, когда оно золотится от созревающих хлебов, и комбайны в час заката порой кажутся ему танками на поле сражения».

Сам Василий Тимофеевич ничего подобного сказать журналистам не мог, он вообще весьма сдержанно и скупно рассказывает о своих чувствах. Но метафоры эти, пожалуй, уместны: ведь Христенко, как я уже говорила, «вечный фронтовик». О чем бы он ни рассуждал, явной или незримой точкой отсчета присутствует в его рассказах война. Вот и сейчас, когда беседа наша подошла к трудному вопросу о том, как воспитать в людях *сознательное* уважение к труду, Христенко вспомнил о войне. И сказал о ней так:

— Война — это тоже труд, тоже тяжелая, повседневная работа. Можно ли было ее делать без души, то есть формально? Сама обстановка тре-



бовала от человека высочайшего напряжения сил. Были условия необходимости, и в человеке поднималось лучшее. Войну принято вспоминать как горькое, страшное время, и это так, конечно. Мне до сих пор снятся лица погибших друзей. Их нет, а я живу, и порой мучает сознание, что в чем-то ты оказался без вины виноват перед ними... И никуда от этих мыслей не деться. Но с годами понимаешь и другое. Вы будете поражены, но я скажу правду: сейчас, издали, война, несмотря на все ужасы, видится не только как страшное, но и как счастливое время. Ведь мы видели столько красоты человеческой! Испытали истинное братство — не было тогда деления на «мое» и «твое», все было «наше». В этом смысле жить тогда было легче и радостнее. Все люди были охвачены единым порывом.

Разумеется, такое признание вызвало у меня протест, желание спорить, но Василий Тимофеевич опередил:

— Понимаю: нельзя сравнивать. Но трудно же смириться: почему, ну почему в тех нечеловеческих военных условиях, да и после войны, в тяжелые годы разрухи, когда мы были голодные, нищие, почему мы были добрее друг к другу, отзывчивее? Смотришь сейчас фильмы о тех временах и себе не веришь: неужели мы могли так нормально жить и работать в столь ненормальных условиях?

Нелепо было бы подозревать Христенко в том, что он может тосковать по невзгодам и трудностям. Ведь всеми своими делами Василий Тимофеевич как раз с этими невзгодами, «ненормальными условиями» неустанно воюет. В свое время, будучи секретарем райкома, он затратил немало сил, чтобы его Шипуновский район стал передовым

на Алтае в деле улучшения социально-бытовых условий на селе. Именно здесь начали усиленно строить детские сады и школы, здесь появились добротные сельские больницы и клубы, здесь возник знаменитый самодеятельный хор «Сибирячка», ставший впоследствии лауреатом Всесоюзного и Всероссийского смотров самодеятельных коллективов, здесь открылся первый в крае народный краеведческий музей, был построен мемориал «Солдатам, с кровавых не вернувшимся полей», здесь улицы поселков украсились цветниками и клумбами (Христенко сам любит выращивать цветы), даже бассейн в райцентре мечтали сделать, проект утвердили, и когда кто-то удивлялся: «На селе — бассейн?» — Христенко спокойно отвечал: нужно, мол, менять стародавнее отношение к деревне.

Сейчас, став горожанином, он с явной грустью вспоминает о бессонных ночах во время жатвы, о росных утрах и тихих деревенских вечерах — будто разлучили его со смыслом жизни. И это при всем при том, что на повышение человек пошел. Теперь не один Шипуновский район, а весь Алтайский край — поле его деятельности. С чего бы, казалось, грустить? Но я уже говорила, что Василий Тимофеевич — человек устоявшихся привычек, в какой-то степени даже консервативный, и нет ничего удивительного, что к переменам в своей судьбе, какими бы лестными они ни казались со стороны, он привыкает с трудом. Это — его личные переживания, на дело они никак не влияют. О социально-бытовых преобразованиях в масштабах всего края, за которые ратует теперь Христенко, речь впереди, а сейчас вернусь к тому острому моменту, на котором прервался наш разговор.

Христенко, нахмутив лохматые брови, упрямо продолжал:

— Как говорится, не дай нам бог тысячной доли тех испытаний, что были в войну. Но если согласиться, что война — тоже работа, то она ярко выявила, как сильна в человеке способность самоотдачи. Она и сейчас никуда не делась, я уверен. Но одно дело — жить в полную силу, когда этого требуют обстоятельства, и совсем другое — когда обстоятельства позволяют расслабиться, а требовать ты должен сам от себя.

Я не раз думал: сейчас, на гражданке, мужества требуется не меньше, чем на войне. Вот идет собрание, ты чувствуешь, что идет оно «не туда», ты хотел бы встать и сказать правду в глаза руководству и знаешь наперед, что оно тебе этого не простит. Конечно, задача. На войне было понятно, кто враг, а кто друг, и на войне не было выбора: если не победишь, то погибнешь — любой ценой нужно победить. Сейчас выбор широк: можно отсидеться, отмолчаться, попить потом в коридоре, можно найти себе тысячу оправданий... И так тихо, мирно прожить жизнь, как говорят — ни богу свечка ни черту кочерга.

Чтобы доказать, как это, по сути, трудно — отвечать за себя, Христенко рассказывает о фронтовом товарище, судьба которого давно не дает ему покоя. Какой это был смельчак на фронте! Человек-молния. Казалось: с его головой и характером в мирной жизни можно горами ворочать. Но случилось так, что именно он и сломался. Или, может быть, его сломали на одном из крутых поворотов. Попытки друзей помочь ему ни к чему не привели. В его трагедии виновата, наверное, все та же война. «Во многом виновата,—

подчеркивает Христенко, — но не полностью. Человек, что и говорить, сам отвечает за себя и нуждается в насилии над собой со стороны самого себя».

В насилии? Я не сразу поняла эту его мысль. Василий Тимофеевич пояснил простым примером.

— Взять хотя бы зарядку. Ее ведь тоже делать нелегко. Откроешь глаза в пять утра, думаешь: эх, полежать бы. Даже в такой мелочи и то преодолевать себя — дело не из приятных. Зато потом, когда поработаешь с гантелями, примешь холодный душ, странно даже представить: как же я мог бы без этого? Когда не сделаю день-два зарядку, кажется, лет на десять постарел.

(Фигура у Василия Тимофеевича, замечу кстати, до сих пор юношеская. Он невысок ростом, но так подтянут, упруг, что идет по улице — залюбуешься. Твердая у него походка, уже в походке чувствуется характер. Из дома на работу и домой с работы — обязательно пешком. Не все это понимают: зачем пешком, если закреплена за человеком служебная машина? Но зато вот какая любопытная деталь в биографии Христенко: ни разу в жизни он не брал бюллетеня.)

Ну, про зарядку это он так, к слову сказал. И тут же возвратился к вопросу об уважении к труду:

— В заботах о плане, о высоких показателях мы забываем порой главный наш принцип: не человек для производства, а производство для человека! Меня глубоко радует, что в Продовольственной программе со всей остротой поставлены социальные вопросы развития села. В этом ее отличие от других экономических программ, то есть на производство и экономику мы стараемся

смотреть через человека и его нужды. Человек должен постоянно чувствовать, что своим трудом он не просто создает материальные блага, не просто зарабатывает деньги, но и преодолевает самого себя, то есть развивает все мышцы тела и души, если можно так выразиться.

...Здесь я возразила, что стремимся-то мы к тому, чтобы любой труд был по возможности приятным, творческим, и что в наше время ориентация на трудности звучит как-то неубедительно. Рассказала ему, что на том же БАМе, например, «романтика трудностей» никого не вдохновляет. Люди хотят, чтобы труд был четко организован, чтобы не тратились понапрасну нервы. И, если угодно, сегодня и на рабочем месте должен быть максимальный комфорт.

Христенко не согласился:

— Но кто сказал, что труд может стать наслаждением? Другое дело — результаты труда, они приносят человеку радость, удовольствие, но сам труд... Настраиваться на легкую жизнь пока рано. Мы возлагаем большие надежды на НТР, но в отношении к самому человеку НТР — штука коварная.

Встречали вы, наверное, в колхозах лозунг: «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Хорошие слова, но все меньше соответствуют действительности. Раньше хлебороб, и правда, нянчил это зерно в руках, начиная с закровов, сам был весь в хлебной пыли. Сейчас — механический загрузчик, сеялка, трактор, комбайн (иной механизатор ползет в бункер потрогать зерно, иной — нет). Руки хлебороба сегодня пахнут или соляркой, или бензином. А настанет время, он вообще будет только кнопки нажимать и живого хлеба в глаза не увидит. Хорошо это? Плохо! Ведь человеку,

куда ни денся, и усталость нужна, здоровая физическая усталость, и зримость результатов своего труда. Чтобы острее почувствовал он себя человеком.

И вот получается замкнутый круг. С одной стороны, мы боремся за то, чтобы облегчить труд машинами, а с другой — вынуждены оглядываться: не подавит ли машина человека? Уровень сознания, что и говорить, часто отстает от научно-технического прогресса. И сегодня, как никогда, важно напоминать человеку, что *труд есть труд*.

Здесь я возразила: уровень сознательности от напоминаний не повысится. Чтобы каждый стремился хорошо работать, нужны материальные стимулы.

Он встал из-за стола и зашагал по кабинету. Молча. Но и без слов было понятно, что мое замечание пришлось ему не по душе и что пытается он сейчас смирить поднявшийся в нем гнев. Впрочем, голос, когда он начал говорить, был по-прежнему спокойный:

— Вопрос этот давно меня жжет... Не слишком ли мы переусердствовали, поднимая на щит принцип материальной заинтересованности? Вместо того, чтобы разумно организовать производственный процесс, создать человеческие условия труда, только и знаем, что платим премии. Человек и не знает толком, какая у него реальная зарплата. Платим, как говорится, за каждый чох. Как нерадивые родители, которые ленятся (или не умеют) вложить душу в воспитание ребенка и вместо этого заваливают его дорогими подарками, будто откупаются от него. Нет, я не за то, чтобы что-то недодать труженику. Но нельзя же весь смысл труда сводить к деньгам! Раньше мы

как-то стеснялись говорить о зарплате, теперь стесняемся говорить об энтузиазме. Ну, если не стесняемся, то во всяком случае оговариваемся сто раз, чтобы нас не заподозрили в неделовом подходе.

Вот пример: установился на селе обычай — за каждые сто намолоченных тонн звездочку на комбайне рисовать. Но тут же немедленно за эту самую звездочку по пятерке приплачивают. Зачем? Если вдуматься, это не столько стимул и уважение, сколько унижение труда. Нужна или не нужна эта немедленная пятерка комбайнеру — судить не будем. А вот то, что не сумели мы по-человечески труженику спасибо сказать, будто бесплатная благодарность уже ничего и не стоит, это, по-моему, ясно. Раньше грамоту — в рамочку и вместо божницы выставляли, а теперь часто ли ее из комода достают?

— Но ведь знаем же мы, Василий Тимофеевич, что энтузиазм, сознательность часто разбиваются об элементарную неразбериху и бесхозяйственность. И здесь, увы, моральные стимулы не помогут.

— А материальные? Никакие премии, колесные или там северные надбавки не заставят человека честно, с умом трудиться, если он видит, как труд его вылетает, что называется, в трубу. Сколько потов хлебоборок проливает, выращивая и собирая урожай, а потом зерно по нерадивости руководства колхоза на току гниет. Что испытывает труженик, глядя на такую пагубу? Деньги-то у него лежат в кармане, и немалые, но морально он обворован. Отсюда что рождается? Безразличие, рвачество. А потом мы сетуем: люди не хотят работать, стремятся только побольше зарабатывать.

Сколько раз я мучительно спрашивал себя: почему так получается — вот два соседних колхоза, все у них одинаковое — земли, климат, оснащенность техникой, а результаты разительно непохожи? Почему в одном хозяйстве люди болеют за дело, а в другом — работают «от» и «до», лишь бы отвязаться? Что же, в одном месте все подобрались трудолюбивые, а в другом одни лентяи? Не бывает такого! Но в чем же дело?

Вникая в суть сложившихся отношений, каждый раз убеждаешься: очень многое зависит от того, удалось ли руководителям колхоза и партийной организации создать атмосферу всеобщей заинтересованности в результатах труда, привить каждому колхознику реальное чувство, что он на своей земле — хозяин.

— Но и атмосфера заинтересованности, и чувство хозяина прививаются, очевидно, не только воспитанием, они естественно возникают в соответствующих экономических условиях.

— Правильно. Сейчас уже прошло время, когда мы умилялись на отдельные хозяйства: вот, мол, какой хороший колхоз, люди из него не бегут, план выполняют. Не можем мы утешаться, что существуют такие благополучные островки в безбрежности наших земель. На этом не выедешь. Для решения задач, поставленных Продовольственной программой, необходимо выработать правильные экономические взаимосвязи между человеком и обществом, чтобы сами условия заставляли хорошо работать, чтобы просто не было у человека другого выхода... Перекрыть лазейки для тех, кто не работает, а ест. За счет других ест.

На XXVI съезде нашей партии, помните, говорилось: «Наша система материальных и мораль-



ных стимулов должна всегда и повсеместно обеспечивать справедливую и объективную оценку трудового вклада каждого. Надо всемерно поощрять добросовестных работников, не оставлять лодырям и бракоделам никаких лазеек для хорошей жизни при никудышной работе».

Раньше нам казалось: построим шикарный клуб, и он притянет молодежь к селу, как магнит. И вот настроили в колхозах такие дворцы, что город позавидовать может, а больных проблем села это не решило. Строим мы, конечно, и жилье в сельской местности, много строим. Но канализация, центральное отопление в селе — пока большая редкость. И что получается? Приезжает молодой специалист работать в колхоз, от многих соблазнов города отказывается, а тех элементарных удобств, которые он имел, будучи студентом, у него теперь нет...

На том же XXVI съезде партии отмечалось, что «люди трудятся лучше, охотнее там, где они ощущают постоянную заботу об улучшении условий их труда и быта».

Продовольственная программа предусматривает широкий комплекс мер по улучшению жилищно-бытовых и культурных нужд села. В частности, расширится сфера коммунальных услуг — не должны сельские труженики испытывать дополнительные трудности!

Разговор наш, как заметил читатель, имел критическую направленность. Христенко высказывал то, что давно у него наболело, с присущей ему прямолинейностью, не заботился о том, чтобы уравновесить негативные суждения позитивными примерами. Но справедливости ради и чтобы

доказать право Христенко говорить так, как он говорил, я должна сообщить читателю, что в Алтайском крае предпринимается ряд конкретных усилий для социально-бытового преобразования села (в крайисполкоме за эту работу отвечает он, Христенко). И уже есть некоторые успехи.

Например, опыт работы Славгородского района по строительству жилых домов на селе был одобрен Советом Министров РСФСР. Несколько сел в этом районе отстроены заново, с учетом современных требований, причем и колхозные, и индивидуальные дома (индивидуальному строительству оказывается всемерная помощь) не только с городскими удобствами: водопровод, канализация, отопление, но еще и с сельскими благами: приусадебный участок, цветник, постройки для скота и хранения кормов. Есть такое село на Алтае — Подсосново. Так вот, оно полностью телефонизировано, все улицы и дороги асфальтированы, освещены. В Славгородском районе действует передвижная выставка проектов домов, работают свои кирпичные заводы, созданы мощные строительные бригады. Пример Славгородского района по застройке и благоустройству сел, может быть, лучший, но не единственный на Алтае. В этом крае не привилась дурная мода сселять на центральные усадьбы малые деревни, наоборот, здесь стремятся отстраивать эти деревни, приближая рабочие руки к земле.

...А потом наш разговор вдруг совершил крутой вираж. Василий Тимофеевич, только что с такой страстью доказывавший необходимость улучшения бытовых условий жителей села, задумчиво произнес:

— А вообще-то я считаю, что незачем нам стремиться к удовлетворению всех возрастающих материальных потребностей трудящихся. Все потребности никогда не удовлетворишь. Ну, можно третий, пятый костюм приобрести, машину купить, дачу выстроить, потом новую, более дорогую марку машины достать, потом... Но станешь ли от всего этого счастливее? Да ведь человек в своем потреблении никогда не достигнет предела, не скажет: «Довольно, я уже имею все, что хотел». Чем больше имеет, тем больше хочется, будто червь какой изнутри сосет.

— Но нельзя же, Василий Тимофеевич, бороться с вещизмом путем ограничения человеческих потребностей.

— Почему же нельзя? Ведь идеал нашего общества в чем? Не просто же в материальном комфорте и благосостоянии, а в том, чтобы рос духовный уровень людей, их удовлетворенность своей жизнью. А может ли быть счастливым человек, если его червь накопительства точит? Думаю, здесь выход один: развивать потребности, но в то же время и ограничивать их.

— От чего она, по-вашему, зависит — культура потребления?

— От того, во-первых, как люди относятся друг к другу и к своему труду. Если я уважаю свой труд и труд других, мне и в голову не придет урвать для себя побольше вознаграждения за чужой счет. Если я привык свое достоинство отстаивать трудом, то что же прибавят к моему авторитету престижные вещи? Для хорошего самочувствия человеку необходимо прежде всего самоуважение, а его находишь только в деле, которое делаешь вместе с другими людьми и, значит, не одному себе становишься нужен.

Война еще чем запомнилась? Она была горячим общим делом. Там каждый думал не только о себе.

«Опять он сравнивает...» — с нарастающим неприятием подумала я, но тут же себя одернула: все правильно человек говорит, только вот несколько упрощает. Будто бы вещизм можно отменить диктатом. Не учитывает он, что ли, изменений, происходящих в духовном мире современного человека? Я начала было говорить о развитии индивидуальности... Но Христенко перебил: чем?

— Нет, меня никто не убедит, что развитие индивидуальности и индивидуализма — это одно и то же. В человеке только тогда крепнет личность, когда он берет на себя смелость решать: как нам жить завтра. Наш идеал личности — это человек общественный, коллективный.

Я, например, не очень восторгаюсь, когда узнаю про головокружительные личные рекорды. Знаем же мы, что порой они совершаются в искусственных идеальных условиях за счет других людей. Помоему, сегодня нужно особое внимание обратить именно на коллективные формы труда и соревнования, но вот в коллективе (обязательно!) замечать каждую отдельную личность. Почему мы говорим: «Первое место заняла бригада Петрова... звено Кузнецова»? И — точка. А где же остальные члены звена и бригады? Они-то разве ни при чем?

Кстати, когда человек плохо работает, ему об этом тоже нужно прямо в лицо — и главное — вовремя сказать, и с должности, если надо, попросить, раз он сам не понимает. Умение говорить правду в глаза, какой бы она ни была, — это тоже уважение к человеку.

...Потом Христенко рассказал об одном примечательном разговоре со знатным комбайнером совхоза «Шипуновский», Героем Социалистического Труда Владимиром Дмитриевичем Савиновым. Этот хлебороб работает уже четверть века, намолачивал за сезон, бывало, по двадцать тысяч центнеров зерна и больше. Как-то Христенко спросил у Владимира Дмитриевича, может ли тот сейчас пойти на рекорд? «Да,— ответил Савинов без колебаний.— Но к чему? Конечно, в этом случае лично сам намолочу больше, но поле-то у звена одно, значит, у новичков выработка упадет. Невыгодно! Потеряется вера в коллектив!»

— Понимаете, не может человек думать о себе в отрыве от других, не хочет ставить себя в положение одиночки. Ему — невыгодно!

Дальше Василий Тимофеевич стал развивать свою любимую идею о том, что воспитывать человека общественного нужно с самого раннего возраста — «потом мы уже только переделываем, перемучиваем недостатки, а КПД мал».

— В народе говорят, что приучать человека к труду в 16 лет — это все равно что засеять поле среди лета. А ребенок, как только сознает себя, сам к труду тянется. У какого-то знаменитого педагога я недавно читал, что малыш никогда не играет, он буквально на каждом шагу делает для себя открытия, исследует, трудится. И, по-моему, надо не проглядеть момент, когда ребенок способен от простодушных игр перейти к какому-то малому, но полезному занятию.

Все больше увлекаясь своими педагогическими размышлениями, Христенко подошел, наконец, к той крамольной мысли, о которой местные журналисты рассказывали мне с осуждением:

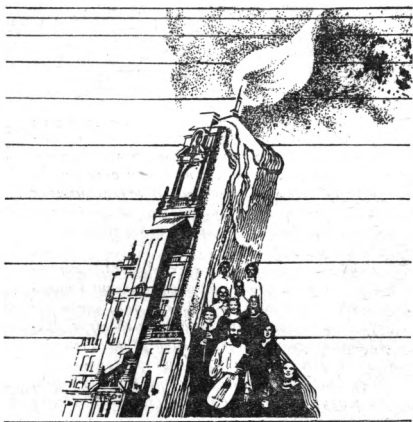
«Дай волю Василию Тимофеевичу, он бы всех детей у родителей отобрал и в интернаты отправил».

Нет, он, Христенко, не противник семейного воспитания, но что ж поделать, если такие неуправляемые бывают семьи? Сколько мы знаем семей, где родители пьют («...водка — она, как пожар, каждый день у нас на глазах людей сжигает»). Многие родители элементарных воспитательных навыков не знают, да и не хотят знать. Есть такие, что заражают ребенка своим пристрастием к дорогим вещам. «И вот получается, что только в условиях государственного воспитания мы можем вложить в душу ребенка идею равенства!» Нужны детсады, много детсадов с талантливыми воспитателями. В интересах же идеи равенства Василий Тимофеевич считает, что сейчас, пока нет возможности обеспечить все семьи личными автомобилями, надо вообще отказаться от частного транспорта, а все усилия направить на создание идеально действующего общественного транспорта. И сухой закон объявить, чтобы не было сирот при живых отцах...

Вот, я ведь сразу предупреждала: некоторые суждения Василия Тимофеевича слишком категоричны, неприемлемы. Не стану их комментировать, оставляю эту возможность самому читателю. Но напоследок хочу, чтобы вы представили себе лицо говорившего. Для меня, например, когда я слушала Христенко, лицо его было самым главным аргументом, доказывающим право этого человека и на максимализм, и на заблуждения.

У него широкие скулы, твердый, чуть исподлобья взгляд, морщин немного, но — глубокие, резкие. Если допустить, что каждому времени

соответствует характерный тип внешности, то можно сказать, что у Христенко по сию пору осталось... лицо солдата Великой Отечественной — сколько таких вот лиц запомнили мы по кинохроникам военных лет. Пока не дождешься улыбки (а улыбается Василий Тимофеевич редко), лицо его кажется суровым.



---

## *Глава четвертая*

---

*Все — не даром*



*«Прости, не можешь ли ты с ходу ответить на банальный вопрос: в чем смысл жизни?» — несколько дней, встречаясь со знакомыми, проводила я такое шутовское, а на самом деле весьма серьезное микроисследование. В ответ слышала немало острот, отговорок, но порой люди так искренне удивлялись вопросу, будто никогда над ним не думали.*

*Наиболее частым был ответ: «Смысл жизни — в жизни» (некоторые расшифровывали: «жизнь самоценна»). Трое ответили: «...в том, чтобы делать добро». Две женщины (одна медсестра, другая библиотекарь) переспросили: «Смысл жизни? Моей?» (Очень пронзительно прозвучало это уточнение: «Моей?») Обе они определенно знали, что живут затем, чтобы вывести сына (дочь) в люди.*

*Кому-то этот ответ может показаться приземленным. Кто-то считает, что вовсе и не надо над вопросом «зачем» задумываться. Один мой знакомый, искушенный в словесных баталиях, ответил: «Если бы я знал, в чем смысл жизни, зачем, скажи, было бы жить?» То есть он отменял вопрос как досужий. Нужно, мол, просто жить, честно делать свое дело... Да, конечно. Но насколько же осознанней (глубже!) становится жизнь у того, кто возьмет на себя смелость и задумается...*

О «Свече» я узнала случайно — из письма. В письме этом спрашивалось, как сложилась дальнейшая судьба одной молодой латышской писательницы, о которой было рассказано несколько лет назад в моем очерке. Сама по себе удивительна такая долгая память, но еще удивительней была причина, заставившая помнить: «Ваша героиня взволновала нас тем, что выбрала неблагополучие как образ жизни. Мы много спорили об этом на занятиях «Свечи», мнения резко разошлись, и хотелось бы разговор продолжить».

Что это за «Свеча» такая, которую волнует «неблагополучие как образ жизни»? Я написала в Ангарск письмо. Из ответа узнала, что при одной из городских больниц уже восьмой год работает клуб. Что посещают его заседания от 30 до 100 человек. Кроме сестер ходят их дети, санитарки и врачи, а еще и городские гости — журналисты, поэты, музыканты, учителя, библиотекари, инженеры, повара, парикмахеры...

Почему «Свеча»? Оказывается, название — от девиза. Своим девизом медсестры выбрали известные слова голландского врача Ван Тульпа: «Светя другим, спасаю сам!» («*Aliis inserviando ipse consumor!*»). Потом я услышу, как торжественно это звучит на латыни.

«Цель нашего клуба — раскрытие индивидуальности каждой медсестры, созидание интеллекта и духовности...» Ничего себе — замах! Читала я все это и, честно сказать, не верила. Да возможно ли такое: чтобы взрослые люди (возраст медсестер самый разный: от 18 лет до пенсионного) вдруг собрались вместе и решили, что отныне начнут новую, наполненную глубоким духовным содержанием жизнь?

«Духовность, духовность... Все о ней говорят, а никто не знает, что это такое. Как летающие тарелки...» — проворчал один скептик, когда услышал про «Свечу».

Действительно, прошли те времена, когда само слово «душа» казалось чем-то крамольным. Теперь это слово стало столь же обыденным, как соль в супе. Очевидно, это отражает некую новую черту нашего времени.

«Духовной жаждою томим...» Сегодня эту жажду пушкинского пророка мы все больше примеряем к себе. Мало образованности, культуры, интеллигентности, современный человек должен быть еще духовным. Но что это такое?

В словаре Ожегова написано: «Дух — это внутренняя моральная сила». И, значит, эта сила жаждет, ищет себе применения? Но откуда она берется? Дается человеку от рождения? Или исподволь воспитывается? Ну а если нет такой силы в человеке, и если это уже сложившийся, взрослый человек, можно ли ему себя переделать?

Рассказывая про «Свечу», попытаюсь поискать ответ на эти трудные вопросы. Но сначала хочу рассказать о писательнице Марине Костенедкой — ведь получается, благодаря ей познакомилась я с ангарской «Свечой».

## НЕПУТЕВАЯ

«На берегу стояла Анна... Нет, лучше так: Анна стояла на берегу...» — вообще-то Марина говорит с собой, а я — случайный свидетель того, как она взвешивает, будто ком глины с ладони на ладонь перекатывает, мнет первую фразу своего будущего рассказа. Я потому допущена в свидетели, что шли мы сейчас с Мариной по берегу и еще издали заметили пожилую женщину в длинной суконной юбке, которая напряженно смотрела на прыгавшую в волнах лодку. Потом женщина, приподняв подол, пошла по низкой воде отлива и помогала выталкивать лодку на берег. И это была Анна, и это муж Анны-Андреас возвращался с хорошим уловом. Откуда-то сразу сбежались редкие в эту пору отдыхающие, заискивающе шутили, кто-то подставлял плечо под тяжелый мокрый ящик, и все это — чтобы добыть рыбки. Я видела, как Андреас отыскал в толчее Марину, чинно поздоровался с нею. И Анна тоже посмотрела в нашу сторону. Вскоре Анна, Андреас и все отдыхающие скрылись за дюнами. На белом песке осталась одна черная лодка.

Но — на берегу стояла Анна. Не час, не день, целую жизнь стояла на этом берегу. Ждала Андреаса, который целую жизнь потел, мерз, тонул в этом море, а возвращаясь, ко всем людям и явлениям обращался с тихой улыбкой. Марине хочется написать про эту жизнь так, чтобы строчкам было упруго, как парусу на ветру.

Мы еще долго шли молча, и я вспоминала первую встречу с начинающей писательницей Мариной Костенецкой. Вроде бы недавно это было, в Переделкине, куда на семинар молодых публицистов она приехала из Риги с первой своей тонень-

кой книжкой. В неизменных джинсах, с короткой стрижкой, была она похожа на школьницу, вдруг попавшую на институтский экзамен. Теперь у нее уже вышло несколько сборников рассказов. Но не только строчками интересна Костенецкая. Меня поражает та одержимость, с которой она сочиняет свою собственную жизнь.

Еще в детстве Марина ощутила в себе две страсти — писать и бродяжничать. Родиться девочкой и, мечтать, как сказано в ее дневнике, «излазить по канатам меридианов всю землю». Говорят, писатель сначала должен интересно жить, а потом уже сможет интересно писать. Но у Марины, думаю, не было этого деления на «сначала» и «потом». Просто хотелось жить сейчас, каждый день не даром. И вот только выдастся отгул или выходные (не поступив на факультет журналистики, работала лаборанткой) — брала рюкзак, спальный мешок и в абсолютном одиночестве спешила на ночное шоссе останавливать по законам «автостопа» попутные машины. Она не боялась ни темных дорог, ни плохих людей, может быть, потому и встречались ей только хорошие люди и только добрые приключения.

...В кузове разговорила с пассажирами. «Куда?» — спрашивают. «Сама не знаю, еду свет посмотреть». Тогда мужчина и говорит: «А мы с сестрами едем к матери картошку копать, хочешь с нами?» И попала на заброшенный хутор, и копала до седьмого пота картошку, и жила чужой жизнью, как собственной.

Марина этот эпизод, может быть, уже и не помнит. А я знаю о нем из ее же писем. Эти письма (целые десять лет в строчках!) сохранила инженер Галина Синтовская, москвичка, случайно встреченная Мариной в путешествии на Со-

ловках, но, наверное, не случайно, а по родству души избранная ею в исповедники. Эти письма особенно важны сейчас, когда приступаю к описанию ее странствий, к ее Чукотке. Вот что было в ее судьбе: два года работала Марина учителем красной яранги в тундре. Об этом и написала свою первую книжку «Луна холодного лица». Странный заголовок? Но именно так звучит в дословном переводе с чукотского наименование февраля — самого сурового, самого пуржистого месяца в году. Хотя прочла я эту книжку, хоть слышала множество ее рассказов (в большой аудитории слышала, где пережитое Мариной воспринимается как героизм и задаются вопросы об истоках мужества, слышала и наедине: «Из моей ли это жизни?» — повторяет с удивлением Марина), но все-таки листки писем, исписанные корявым почерком, карандашом — коченели руки, замерзали чернила, заставляют вновь волноваться и смотреть на те давние события ее тогдашними восторженными глазами.

Неважно, как занесло ее из Риги во Владивосток, как на краю земли обнаружила от своих долгих сбережений всего-то 15 рублей в кармане. Это еще похоже на романтику «автостопа», на случайность. Важно последующее — почему, отколовшись от двух рижских спутников, одна поехала из Владивостока на Чукотку. Здесь начинается выбор. Это — серьезно.

«...Не дает покоя ощущение, что я опоздала родиться, что самое трудное за меня уже сделал отец. И как убедить себя, что я и в самом деле живу, а не просто ем хлеб, беру у жизни в долг хорошие книги, интересных людей».

Марина мало знала отца. Только после его смерти, получив в день своего шестнадцатилетия

сго дневники (так хотел отец), поняла, какой это мужественный человек. Отец был ровесником века, многое пережил вместе с веком, много страдал, но не сломился духом. И кому же, как не Марине, своему единственному, позднему ребенку, мог он завещать жгучую память о прошлом? Дневники отца стали для нее потрясением на всю жизнь. Не потому ли отважилась она испытать себя Крайним Севером, что именно там, на Севере, трудные, долгие годы не по своей воле провел ее отец?

«Так мне надо, обязательно так...» Чтобы убедить себя, что «я и в самом деле живу»?

Раз уж Чукотка, то чтоб все было по-настоящему. И упросила заведующего Беринговским районо послать ее в Мейно-Пильгино. Этот поселок знаменит в районе наибольшим количеством снежных бурь в году.

А теперь пусть прозвучит ее голос с Чукотки, и не стану перебивать строки писем никакими комментариями.

«...Мы ходим в тундру вдвоем: я и проводник Компас, он же — переводчик. Старые пастухи, мои ученики то есть, плохо понимают по-русски, а я только осваиваю чукотский. Бригад в колхозе пять, кочуют они за десятки километров друг от друга, и мне нужно попасть в каждую, провести урок, задать задание, а позже возвратиться и проверить. Мой класс — полог из оленьих шкур, мои ученики — удивительные, загадочные люди.

...Вчера прошли с Компасом 50 километров против ветра, по колено увязая в снегу. На партах больше риска, горные речки не успели замерзнуть. А ждать нельзя, надо было спешить на центральную усадьбу.

...Стихийное бедствие — гололед лишил оленей корма, пастухи погрузили все добро на нарты и двинулись на восток. Устали все: и олени, и люди. Иногда мне казалось, что я совсем не могу больше, просто упаду — и дайте мне умереть спокойно. Но пастухи шли, и олени шли. Целое море оленьих спин колыхалось в свете северного сияния на белом снегу, а мне было уже ни до чего, хотя, черт знает, какая красотища!

...В нашем стойбище заболела чумработница. И теперь я не только учу, но и варю обед. Разделывала на морозе тушу оленя, пальцы прикипали к лезвию ножа, приходилось греть их в еще теплом оленьем желудке. Но знаешь, что думала: а вдруг это и есть самая честная романтика?

...Больше месяца нет вертолета с письмами. Кажется, все отделения связи снесены пургой с лица земли. Но я должна скрывать хандру, потому что мое горе — это горе для всех в стойбище. Здесь и горе, и радость воспринимаются острее. Эффект эха в большом пространстве? Нет, все дело в душевном такте, отзывчивости этих людей.

...Знаешь, о чем я размышляла? О настоящих румяных лепешках. Мы сейчас живем на одной оленине. Ждем каюров. Они должны были приехать две недели назад. Пастухи все вспоминают, как в прошлом году вместо каюров вдруг прилетел вертолет и привез много разных продуктов. Они так часто это рассказывают, что вчера я не выдержала, сделала из серебряной обертки от чая маленький самолетик и стала пускать его из яранги. Видела б ты, как радовались мои взрослые ученики, перечисляя, сколько вкусных вещей доставляет наш самолетик с каждым рейсом. Как я люблю этих людей!»



Здесь остановимся, вернее — остановим на лету тот серебряный самолетик. В этой сентиментальной детали видится мне немало мужества. Потом, когда приедут каюры и привезут продукты, Марина решит испечь своим ученикам румяные лепешки, но окажется, что нет в яранге сковородки, и ей придется ободрать руки в кровь, соорудив с помощью охотничьего ножа посудину из жестяного ящика для галет. Испечь лепешки на костре, наверно, непросто, но это мог бы и другой взрослый, а вот придумать в тягостную минуту серебряный самолетик... Не растерявшая драгоценностей детства, она с естественной легкостью раздавала (и раздает) их тем, кто рядом. Не потому ли так просто вырастает в какую ни случись жизнь, так быстро становится людям необходимой, своей? Тогда — пастухам, сейчас — рыбакам...

На Чукотке Костенецкую избрали депутатом сельсовета. На Чукотке о ней ходили легенды, и писатель Юрий Рытхэу написал повесть об «отважной девушке тундры», потом и фильм вышел «Самые красивые корабли». В 21 год оставить такой след в памяти людей! Здорово? Но... Из тундры Марина возвратилась с санрейсом вертолета. Немыслимые перегрузки, которыми сначала из дерзости себя испытывала, которые потом из необходимости на себя брала, не могли не сказаться — сказались на ее здоровье.

И приходится усомниться: стоило ли такой ценой убеждать себя, что «я и в самом деле живу»?

У меня не было ответа на этот вопрос, и сам образ жизни Марины (неблагополучие, возведенное в образ жизни) вызывал внутренний протест, пока не съездила я в «Дикли». «Дикли» — латышский санаторий, расположенный в мрачноватой аданин бывшего графского замка.

Сейчас мы войдем в узкую, как пенал, комнату с маленьким, на уровне глаз, окном, когда-то кладовую, теперь — изолятор санатория «Дикли». Кровать, тумбочка, стол. Здесь была написана «Луна холодного лица». «Представляете: высокая температура, боли в сердце, в почках, в спине, а она с утра до вечера сидит за этим столом. Доктор Лаукманис понимал, что писать — лучшее для нее лекарство, и разрешал нарушать режим», — вспоминает, волнуясь, Зигрида Крейере, лечащий врач, ночная сиделка, верный друг Марины.

В «Дикли» Марину привезли после многих больниц, потому что здесь был доктор Лаукманис и его особый метод аутогенотерапии. Но не только метод спасал. Доктор Лаукманис, директор и главный врач санатория, каждый вечер читал ее горячие, прямо из-под пера страницы, расстраивался, если что-то у нее не выходило, сиял (чаще — сиял), радуясь малейшему ее успеху. Однажды, когда у Марины было очень скверно на душе, а на улице стояла весна, доктор Лаукманис велел санитарам отнести ее на носилках в машину, сам сел за руль и привез ее в свой сад. Она увидела, как хороши белые кроны цветущих деревьев, как упрямо пробивается сквозь камни ручей, услышала, как призывно поет какая-то серенькая птица на ветке, и с новой силой ощутила, что жизнь идет, что ничего для нее не кончилось и какое же это счастье — начинать все сначала!

В «Дикли», в грустном царстве белых халатов, где прошло целых четыре года Мариной жизни (два года лечилась, два года работала культторгом, медсестрой), меня не покидало настроение какой-то приподнятости, будто захватывал властный поток торжественной музыки. Может быть, оттого,

что расставалась я с сомнениями, начинала понимать: больничный изолятор потребовал от Марины силы духа не меньшей, чем коварная тундра, и Марина это испытание тоже выдержала.

«Но чему же вы радуетесь? — может перебить одержимый здравым смыслом читатель. — Мечется по жизни ваша Марина, а толку? Может, она просто неудачница?» Я не стану спорить. Наоборот, сразу же расскажу об одном ее поражении. Это было после «Дикли». Марина поступила в институт. В медицинский — хотела отблагодарить таким образом доктора Лаукманиса за свое спасение. На педиатрический факультет — хотела отдать этим долг памяти маленькому Кеулькуту, умиравшему в тундре у нее на руках, а она была тогда совершенно бессильна ему помочь. С головой зарылась в учебники, ликвидируя свою «вековую отсталость» (ровесники-то давно успели закончить институты). Получала повышенную стипендию. И, казалось, в бедолажной Марининой судьбе появились, наконец, прямые линии: забрезжил впереди диплом, благородная профессия, перспектива жить, «как люди». Но вдруг она бросает институт. Даже мама, умная, столько прощавшая, все всегда понимавшая мама, на этот раз упрекнула дочь: ничего-то в свои годы ты не достигла. Марина ушла из дома. Не вернулась и в «Дикли», который в последние годы был ей вторым домом.

Целое лето работала в одном из колхозов Цесисского района пастухом.

Сейчас можно оправдать ее шаг: отказалась от медицины ради литературы. Но ведь тогда рукопись ее книги уже год без движения лежала в издательстве, и Марина совсем не верила, что «Луна» выйдет. Повторяю: она в пастухи, а не в писатели уходила. Почему уходила?

«Поняла, что не смогу стать хорошим врачом. Было стыдно, что занимаю в институте чужое место и столько людей обманула... Какая же разница, куда бежать от позора», — сказала она раздраженно, когда я решилась спросить ее о пастушестве. Впрочем, на вопрос об институте она и себе до сих пор не может толком ответить. А Зигрида Крейере предположила: «Это не для Марины — быть врачом. Она чужую боль переживает сильнее, чем свою». И тут я смею продолжить: но не чужой боли боялась Марина, а, может быть, наоборот — после будничных занятий в анатомичке испугалась, что профессионализм притупит остроту чужой боли в ее сердце? Может быть, бегством из института спасала (интуитивно, конечно) свою индивидуальность? Понимаю, такое объяснение звучит спорно. Но, увы, исхожу из ее же признания по другому поводу: «Ведь не случайно природа взгромодила на мои плечи такой чудовищный дар чувствительности...» Этот чудовищный дар станет впоследствии основой ее писательского мастерства, воплотится в пронзительные по силе строчки. Но как же трудно с таким даром каждый день жить: страдать от того, что для других — пустяк, все-все принимать близко к сердцу...

И какая же это сложная диалектика: что мы теряем, что приобретаем взамен. И можно ли жалеть о неслучившемся? И нужно ли прислушиваться к голосу чужого здравого смысла или лучше слушать (слышать!) себя?

Пастушью карьеру Марина приняла в ту пору как свой крах. Но говорит же ее мама: самый темный час бывает перед рассветом.

Прошел год, и все в жизни Марины, даже катастрофы и чудачества, даже горькое и необъяснимое, неожиданно выстроилось в оправданную за-

кономерность. Как путник, остановившийся в дороге, она скинула на землю рюкзак, и оказалось, что там не просто груз и тяжесть жизни, а самое настоящее сокровище — отшлифованные жизнью сюжеты и образы. А она, Марина, оказывается, готова к одиночеству с белым листом.

«Молодость, одержимость, храбрость... Но с самого начала это воспринимается как специальный подвиг, как желание не жить внутри жизни, а изучать жизнь» — это уже слова не воображаемого, а вполне конкретного оппонента. И написаны они в одной рецензии. Конкретно о Костенецкой.

Но опять не стану спорить. Лучше покажу читателю на прощанье: стоит избушка, аистное гнездо на крыше, лес под окнами, море через дорогу. Здесь Мариша живет и пишет. Очень скромно живет, очень много пишет. Опять, скажете, экзотика? Но Мариша потому снимает под жилье эту старую баньку чужого хутора, что дома-то, в их единственной с мамой рижской комнате, не умещается письменный стол, а банька эта — почти бесплатно. Хозяева держат Марину за уколы. Она ведь освоила метод доктора Лаукманиса и — так уж случилось — стала для рыбаков поселка нештатной, неплатной, безотказной медицинской сестрой. Лишь раздастся в окно стук, Марина сворачивает рукописи, собирает свою аптечку и — пешком, через лес, через любую слякоть. При мне не раз возвращалась поздно ночью, сердитая — полетели все намеченные на день рабочие планы, но счастливая — помогла человеку.

Пожалеть ее? Посочувствовать? Нет, радуюсь и восхищаюсь ею! И с каждой новой встречей (часто — в укор себе) убеждаюсь: в жизни, которая живет без оглядки, движется искренним азартом души, ничто не бывает напрасным.

## СВЕЧА

Ну а теперь возвращаюсь к «Свече». Можно ли развивать («созидать»!) духовность во взрослом, давно сложившемся человеке?

Существует мнение, что нельзя, что — безрезультатно.

Вспоминаю: перед моей поездкой в Ангарск пришло письмо. Никакого отношения к «Свече» оно не имело, но потом, в Ангарске, я не раз о нем думала. Женщина 32-х лет, живущая в Ленинграде, писала, что ощутила пустоту своей вроде бы благополучной жизни. Есть у нее квартира, есть хорошо оплачиваемая работа (на заводе), есть любимая дочь. А интереса в жизни нет. И все потому — считала эта женщина, — что никак не может она приобщиться к серьезной литературе, старается, но не в состоянии себя заставить прочесть хоть какой-то роман Толстого или Достоевского. «Открою, смотрю на страницу, а мысли в постороннем бродят». У нее, судя по письму, было тяжелое детство — пьющий отец, больная мать, «в общем, было не до книжек». А сейчас у самой растет дочь — второклассница, умненькая, любит читать, и вот мать боится, что скоро дочь увидит ее духовную отсталость. Но что же ей делать? Вот ходила недавно с дочерью на Мойку в музей-квартиру Пушкина, возвратились домой — взяла томик стихов, но «душа не отзывалась, не чувствую я стихов так, как нужно их, наверно, чувствовать».

Что и говорить, не пустячная беда у этой женщины, хотя со стороны можно и порадоваться, что сегодня становятся насущными такие беды. Можно оптимистически предположить, что человек, задумавшийся о своей серости, уже сделал первый

шаг к выходу. Но это в теории, а в жизни-то как этой жёнице помочь? Посоветовать поступить в университет культуры? Порекомендовать прочесть работы о самообразовании? Но все это будет пища для ума, а человек как раз жалуется на то, что даже Пушкина «душой не видит и не слышит». Действительно, беда. И случилась она, очевидно, еще в невозвратном детстве.

Так можно ли научить взрослого человека глубоко воспринимать прекрасное?

Первое впечатление от Ангарска — высокие сосны и прямые проспекты, чем-то напоминающие Ленинград, даже парковая решетка чуть похожа. Город молодой, а сосны в нем древние. Впрочем, если сравнивать Ангарск с другими новыми городами Сибири, с теми, например, что каждый год вырастают вдоль трассы БАМа (она проходит здесь в какой-нибудь сотне таежных километров), то не столь уж и молодой этот город. Не так давно отпраздновал свое 25-летие. Четверти века хватило, чтобы Ангарск почувствовал себя вполне городом, но четверти века оказалось недостаточно, чтобы из сознания ангарчан выветрилось настроение новизны, свежести, начала. Что касается отдаленности, то это нам кажется, что они за тридевять земель живут, сами же ангарчане ощущают себя от Москвы близко. Во всяком случае, духовной провинцией Ангарск никак не назовешь. Впрочем, может быть, такое праздничное ощущение города объясняется тем, что символом Ангарска стала для меня «Свеча»?

Больница № 2 стоит почти в центре города, но окружена густыми деревьями и кажется, что — в лесу. Во дворе высажены кусты бузины и сморо-

дины, на клумбах — колокольчики, ромашки. Внутри больницы, в холлах тоже растут цветы, и в кабинете главной сестры целая оранжерея, и картинки висят на стенах — все больше с видами Байкала. Но такое можно встретить и в других больницах. А здание вообще-то типовое, трехэтажное (кажется, из серого кирпича), и больные ходят в обычных унылых халатах, и тумбочки стоят стандартные, как везде. Как и водится, переполненные палаты, длинные коридоры с гулом голосов и с острым больничным запахом то ли от лекарств, то ли от того, что полы недавно помыли с хлоркой.

Когда мы с Людмилой Борисовной Тимофеевой, главной сестрой больницы, ходили в последний вечер по отделениям, в этих длинных коридорах было полутемно, и даже офорты Байкала нельзя было толком рассмотреть. А я, конечно, ожидала увидеть в этой больнице что-то особенное и вот спросила у Людмилы Борисовны: «Как помогает «Свеча» вашей работе?» «Как вам ответить? — задумалась она. — Сказать, что давно ни одной жалобы на сестер не слышу? Но ведь это же норма. Нет, нельзя весь эффект «Свечи» учесть — это все равно что душу взвесить».

Теперь, когда пишу про «Свечу», вспоминаю нестареющий секрет из «Маленького Принца»: «...зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Может быть, даже хорошо, что они сами перемен не замечают. Ну, и раньше работали честно и самоотверженно. Можно ли жалеть для больных теплоту и заботу? Если бы кто-то ответил мне, что теперь, после обсуждения в клубе проблем добра и зла, они все стали добрее и терпимее (в том, что это именно так, я убеждена), ответу такому стоило бы не радоваться, а



огорчаться. Он свидетельствовал бы о неглубине перемен. В общем, плоды работы клуба не внешние, а внутренние.

«...Стоит больница под синим небом... Свои здесь темы, свои здесь споры, свое здесь счастье, свои законы». (Из рукописного поэтического сборника «Свечи».)

Эскизный портрет «Свечи» можно нарисовать, перечислив хоть несколько тем, которые обсуждаются на занятиях клуба. Вот, например: «Что такое «душевная терапия»?», «Нужно ли в наше время такое качество, как смирение?», «Что такое успех и каково значение слова «добиться»?», «Что такое победа над собой?»

Клуб конечно же дискуссионный. Они, собираясь, спорят о тех высоких материях, о которых мы порой стесняемся говорить вслух — кажется нам, что все здесь давно понятно и обговорено. На самом же деле — увы! — боясь высоких слов, не поступаемся ли порой и высокими чувствами?

Как и почему родился этот клуб? Сестры считают, что, не будь Инны Львовны Лейдерман, человека, прошедшего войну, с энциклопедичностью ее знаний, с ее страстью подвижничества, с ее болезнью, наконец, отнявшей физическую возможность у нее, терапевта высшей категории, с полной отдачей работать в медицине (а неумность души оставалась прежней и требовала выхода), не будь ее, никакой «Свечи» в Ангарске не появилось бы. Сама же Инна Львовна уверена и любит убеждать в этом других, что «Свеча» возникла из естественной потребности: «Недаром же подошла тогда старшая сестра Вера Иннокентьевна Чикалова, прижала меня к стенке, буквально прижа-

ла — после операции я еле на ногах держалась — и стала горячо уговаривать прочесть им на профучебе лекцию «Медсестра в искусстве». И такое у нее лицо было! А ведь часто профучеба — мероприятия для галочки. А они, видите, какой поворот придумали... Сами!»

Согласившись на лекцию, Инна Львовна поставила свое условие: пусть сестры тоже подготовятся — подумают. И дала им список. Из 49 пунктов. Чего там только не было!

«...Что вам известно о роде Гиппократов? Кто из врачей-декабристов оставил след в развитии медицины нашей Иркутской области? Что из учения В. А. Сухомлиńskiego ты берешь с собой в жизнь как медицинская сестра и мать? Приведите примеры правильного, но мгновенного нравственного выбора, лучше — из своей жизни или жизни близких».

Даже некоторые врачи недоумевали: не слишком ли многого требует Инна Львовна от обыкновенной медсестры? То, чему их в школе учили, давно забылось, а самообразованием когда заняться? Больница, магазин, детсад, кухня, стирка — «дважды рабочий» день современной женщины хорошо известен. К тому же они не в Москве живут, не в Ленинграде, а в небольшом городе, где даже театра нет, да что там театра — любая бытовая мелочь вырастает порой в проблему, не оставляя ни сил, ни времени, ни просто желания думать о высоких материях.

Ни желания? Но кому дано судить об этом со стороны? Да и изнутри, то есть самому о себе, можно ли знать такое наперед?

Сестры вспоминают, что отнеслись к тому списку из 49 пунктов с внутренним сопротивлением. Однако срок на подготовку был дан большой —

целый месяц, и понемногу кто-то что-то через кого-то (через врачей, старших своих детей, через образованных больных) выяснял, и начались в их разговорах непривычные разговоры...

Все это было уже так давно, что кажется, и не с ними было. На первых заседаниях сидели тихие, скованные, каждая про себя думала: «Ну что такого умного я могу сказать, чтобы меня все слушали?»

За прошедшие годы они прочли (проработали) около трехсот произведений различных авторов, научились пользоваться энциклопедиями, справочниками, словарями. («Раньше я и не подозревала, какое это чудо — словарь!» — воскликнула как-то одна из сестер, ей потом на «Свече» подарили словарь.) Подготовили за это время свыше ста пятидесяти рефератов, а импровизированные выступления с мест (они порой бывают самыми интересными) никто, конечно, не считал. На заседаниях клуба звучат стихи и музыка, устраиваются тематические выставки книг и даже книжные ярмарки.

«Ну и что? — может возразить читатель. — Читают люди книжки, и прекрасно. Но при чем тут духовность? Мало ли мы знаем интеллектуалов, которые литературу тоннами потребляют, а не становятся ни отзывчивее, ни добрее?»

Старый спор о знаниях и нравственности. Идет он, конечно, и на «Свече». (Я, кстати, не раз с радостью для себя открывала, что все-все злободневные темы, о которых толкуют мои московские знакомые, так или иначе поднимаются и в ангарском клубе. И самые дорогие мне имена — доктора Гааза, Швейцера, Корчака, оказывается, близки и им. И любимые строки стихов... С некоторых пор воспринимаю «Свечу» как некую ко-

пилку драгоценностей, в которой все главное хранится.) Так вот, возник у них разговор: «Что такое культура?» — и молоденькая медсестра Жанна Строгая вдруг точно сформулировала: «Культура это не просто воспитанность, не просто знания. Культура — это особая способность такая. Способность понимать!»

На следующий день после моего приезда в Ангарск состоялось заседание «Свечи», и я наконец-то увидела их всех вместе. Довольно просторный конференц-зал больницы, напоминающий чем-то школьный класс, был заставлен плотными рядами стульев, но мест не хватило, и многие сестры, чуть опоздав, так и простояли до конца у стен и у дверей.

«Время у нас ограниченное. В два часа — кормление больных, да пока всех лежащих обслужишь... Вот и тянемся, опаздываем. А в четыре часа начинаются антибиотики». Так мне и запомнилось: заседания «Свечи» — «между кормлением и антибиотиками». Их лица показались сначала усталыми.

В тот день на «Свече» шли «А зори здесь тихие» Театра на Таганке. Как это — «шли»? А вот... Председатель клуба Инна Львовна, только что возвратившаяся из Москвы, где ей посчастливилось попасть на Таганку, рассказывала о своих впечатлениях от спектакля. Но был это не просто рассказ. И не просто о спектакле. Чтобы понять, почему такое взволнованное напряжение стояло в зале, нужно знать, что одноименная повесть Бориса Васильева уже давно сестрами прочитана и что все эти девушки — Рита, Женя, Соня — стали для них не книжными героинями, а как бы по-

другами. И еще нужно вспомнить, что организатор и вдохновитель «Свечи» Инна Львовна в семнадцать лет ушла добровольцем на фронт, как и эти девушки. До последнего дня войны была она связисткой. Ее судьба отличается от судьбы Риты, Жени, Сони, Гали и Лизы только тем, что они погибли, а она чудом осталась жива. Хотя там, на фронтовых дорогах, она не раз могла умереть, как и они.

Рассказывая о спектакле, Инна Львовна ни словом не обмолвилась о своем фронтовом прошлом, но ее слушатели каждую минуту, конечно, об этом помнили, и видели они в своей Инне Львовне тех погибших девушек, всех сразу, и вместе с нею понимали, какая это чудовищная несовместимость: война и женщина, будущая мать.

На трибуне стоял подсвечник с пятью свечами. Одна за другой погибали девушки, и после каждой смерти, как символический вечный огонь в театре, зажигалась новая свеча...

В конце Инна Львовна вдруг спросила: интеллигентен ли старшина Васков?

И сразу потянулось несколько рук, и начался спор о том, обязательно ли интеллигентному человеку иметь высшее образование и что такое духовность? «Духовность — это общение. Даже когда книжку читаешь, тоже ведь будто говоришь с человеком, который ее написал». «Духовность — это связь с людьми!» «Наполненность человека миром — вот что такое духовность!»

На заседании «Свечи» мне вспомнились вот эти строки Блока, будто они там в яви воплотились:

...через край перелилась  
Восторга творческого чаша,  
И все уж не мое, а наше,  
И с миром утвердилась связь.

Я смотрела на лица этих женщин в одинаковых халатах, в одинаковых накрахмаленных колпачках и не узнавала тех, которые два часа назад пришли сюда усталыми. Каждое лицо казалось красивым, особенным.

Дежурные сестры ушли вводить антибиотики, а остальные еще долго толпились то у книжного киоска — продажа книг устраивается после занятий «Свечи» часто, то у выставки произведений Б. Васильева, подготовленной центральной городской библиотекой, то просто о чем-то друг с другом беседовали.

На этой встрече я увидела еще одно поразившее меня явление — эффект «обратной связи». К этой конференции готовилась не одна Инна Львовна. Навстречу ей вышли и сестры. Их проникновение в образы Б. Васильева выразилось в изготовлении удивительных композиций — символов, сделанных из цветов, зелени и камней. Композиция «Живи и помни» — глиняное кашпо, обвитое колючей проволокой, сквозь которую прорываются алые головки гвоздик. Простой круглый букет из пушистых одуванчиков: «Шар земной» — вот она какая маленькая и хрупкая, наша планета, и как же мы должны всеми силами стараться уберечь ее от войны.

Потом я узнала, что язык цветов весьма традиционен для «Свечи».

Праздники цветов устраиваются в любое время года. Выйти в голый лес зимой и увидеть там что-то говорящее, найти неприметную вроде бы ветку с шипами, поставить ее в обыкновенную стеклянную вазу и назвать композицию «Суть» — это конечно же творчество. Истинное творчество, которое есть результат многолетней работы «Свечи».

В этих композициях на языке цветов сестры выражают то сокровенное, что порой не удается им высказать словами. Идет зримая отдача. Дарение себя другим. «Для чего нужны цветы? Чтобы их дарить», — висел плакат на одном из собраний «Свечи».

«Главные споры и разговоры начинаются у нас после занятий...» Хоть собираются они раз в месяц, но света хватает надолго — от «Свечи» до «Свечи»...

Потом, когда ушли из конференц-зала и те, кому нужно брать ребенка из детсада или готовить семье ужин (с великим сожалением уходили), человек десять все-таки осталось, и до позднего вечера они доказывали мне, что «Свеча» — это то, без чего теперь просто невозможно жить.

«Когда шла в клуб первый раз — нервничала: целых два часа потеряю, сколько бы за это время дома успела. А возвращалась — будто новыми глазами на все смотрела, знакомую улицу не узнавала. И какая, оказывается, весна у нас красивая», — рассказывала Тамара Минаева, показавшаяся мне мягкой и доброй, а сама она отозвалась о себе: «До «Свечи» я такой злючкой была!» Года три назад Тамара из этой больницы увольнялась, а потом вернулась, хоть в зарплате потеряла, но вернулась: «Честное слово, из-за «Свечи»!»

«Жили мы, конечно, и без «Свечи», не умирали. Но теперь, как оглянешься назад, кажется, что половиночкой души жили», — рассказывала пожилая акушерка Нина Михайловна Гудыма.

«Ждешь каждого занятия, как праздника, стараешься принарядиться, выходишь потом красотой наполненная», — рассказывала Вера Иннокентьевна Чикалова. И почему-то со вздохом доба-

вила: — Конечно, мы же в поте лица трудимся, готовясь к каждому занятию».

Вот что с ними происходит: каждой удалось понять, нет, всем существом почувствовать, что она, давно взрослый, вполне, казалось бы, «готовый» человек, живет не только для того, чтобы ходить на работу, чтобы содержать дом и семью, чтобы исполнять другие многочисленные обязанности, а еще и для того, чтобы думать о высоком, восхищаться прекрасным, мечтать о несбывшемся. Для кого-то, кто привык к этому измерению с детства, не будет здесь никакого открытия. Но сейчас речь о людях, которые жили совсем другой жизнью. И вдруг будто нашли себя.

А если посмотреть со стороны, «Свеча» их — сплошной хаос: то Монтеня читают, то Валентина Распутина в гости приглашают, то устраивают предновогодний вечер «О мудрости застолья» — приносят в больницу произведения своего кулинарного искусства, то выпускают стенгазету длиной в несколько метров «Глазами детей: что я знаю о работе своей мамы?» Но все это объединяется в стройную единую систему тем, что из каждого, самого будничного жизненного явления они, сестры, умеют извлекать духовную пищу.

Ни одно из занятий клуба не проводится развлечения ради. Нельзя забывать, что горит эта «Свеча» в стенах, где постоянно слышатся жалобы и стоны, где воздух насыщен человеческим страданием, где вопрос о смысле жизни звучит совсем не абстрактно. И даже говоря о мудрости застолья, они возвращаются к тому, что неосознанно тревожит каждого человека, а на «Свече» звучит уже восьмой год: как же достойно и радостно прожить свою короткую жизнь на земле?



...Художника привезли в больницу с тяжелым инфарктом миокарда. Сразу после осмотра больной сказал врачу: «Мне нужно быстрее вылечиться. Я не дописал картину». Сказал и потерял сознание. Очнувшись, громко спросил: «Доктор! Вы видели мои картины?» — «Да, да», — радостно ответила доктор. Она и в самом деле недавно в заводской столовой обратила внимание на полотно с подписью: «С. Гвоздев». На том полотне, изображавшем землю в проталинах, особенно запоминался снег — он был легкий и живой, как дыхание весны.

Ночью больному стало лучше, он пытался даже подниматься с кровати, считая себя уже здоровым, а утром — сильнейший приступ. Когда врач вбежала в палату, он лежал на спине, глаза смотрели куда-то вдаль. «Скажите мне правду, — тихо попросил он, — вы действительно помните тот снег или успокаивали меня?» Врач не успела ответить. Художник умер.

О художнике Гвоздеве я прочла в их дневнике «Наши герои». О Гвоздеве они говорили на занятиях «Свечи». Вспоминали и других своих незначительных героев, которые на их глазах, на их руках стойчески боролись с болезнью, с самой смертью. Однажды темой заседания «Свечи» стал такой неожиданный вопрос: должны ли мы думать о смерти не меньше, чем думаем о любви? И — должна ли смерть застать человека врасплох или к ней надо готовиться? Формулировки они взяли из «Повести о разуме» Зощенко. Все по очереди прочли эту повесть, так же, как «Этюды оптимизма» Мечникова, как соответствующие главы из «Опытов» Монтеня (делали рефераты).

Одного занятия не хватило, перенесли на второе, третье. Обнаружили, что у них, медиков, не-

примиримое расхождение с философами в отношении к смерти. «Что неизбежно для всех, то может ли быть несчастьем для одного?» — размышлял Цицерон. Мечников говорил о естественном «инстинкте смерти», о «желании небытия» у стариков...

Но ведь в жизни все выглядит иначе! Самые старые, самые беспомощные люди любят жизнь, буквально цепляются за каждое ее мгновение. И никогда, ни за что не сможет врач, медсестра смириться с неизбежностью смерти своего больного, пусть и безнадежного.

Вся история медицины от большой драматической до малой (но и малая медицина — тоже драматическая, и они, медсестры, к ней прямо причастны) есть вечное противление смерти, есть неустанное сражение за каждую минуту жизни больного.

На одно из тех занятий принесли деревянную игрушку — двух козлят, которые от движения рычажка сталкиваются лбами, пытаясь сбить друг друга. Точно такая же была и на сцене в спектакле «Два упрямца» по Назыму Хикмету (два упрямца, по мысли автора, — медицина и смерть). Этот спектакль одна из них видела в Москве, и теперь попытались повторить сценический эффект: от маленькой игрушки падали на стену две огромных, причудливых тени, медленно расходились, потом стремительно налетали друг на друга. Стук-стук. Кто кого? Два упрямца... Борьба, жестокая борьба. Поединок жизни и смерти. Скорей! Кислород! Камфора! Каждая жизнь — самоцель.

Вопрос об отношении к собственной смерти поначалу их испугал, потряс. Как ни странно, оказалось, что многие об этом никогда раньше не за-

думывались. Долго и мучительно размышляли над смыслом строк Давида Самойлова:

Надо готовиться к смерти  
Так, как готовятся к жизни...

Но потом, по размышлении, сделали для себя немало важных открытий. Вот несколько их реплик из моего блокнота:

«Жалуемся: некогда, некогда, и вдруг умираем. Нужно стараться урывать время для настоящей жизни». «Мы привыкаем жить. А ведь нужно любить каждый обычный день заново!» «Завидую ему (речь идет о Монтене.— Л. Г.). Он хотел, умирая, поливать капусту, то есть сохранять равнодушие к смерти». «И сыну своему скажу: ты должен помнить, что когда-нибудь умрешь, спеши жить достойно!»

А Инна Львовна напишет потом стихи «Vivere memento»: «Мозг человека странен: смерть для него — мера высшего, а жизнь никогда он не мерит, будто бы жизнь — пустяк...»

Для художника Гвоздева тропой в бессмертие были его картины, ну а мы, не наделенные особыми талантами, какой след можем оставить на земле? — этот вопрос неотступно стоял перед ними, да и сейчас стоит почти на каждом занятии «Свечи».

Гость клуба — ангарская журналистка читала реферат «Критерий добра и зла в марксистско-ленинской этике». А потом обсуждали: бывает ли сознательным зло? Почему сбежал из больницы Ванька Тепляшкин? (Это — по мотивам рассказа В. Шукшина.) Умеем ли мы в лекарства наши добавлять надежды? Почему мы так мало приносим людям радостей?

...Как-то Инна Львовна спросила: «Имеет ли

больной право на каприз?» Все зашумели, припоминая свои маленькие обиды. Вот лежал у нас шофер Т.— помните? Откашливаясь, он всегда норовил сплюнуть мимо урны, демонстративно... А больная П., которая по три раза заставляла меня ей стакан чая — все говорила, что недостаточно горячий... А этот парнишка с пороком сердца. Неделю с ног сбивались—его отхаживали, ему покой нужен, а он вдруг на свидание сбежал... «Ну и что ж, что сбежал?» — зычным своим голосом остановила хор Нина Михайловна Гудыма. Ее зовут на «Свече» «наша бомбочка». Как скажет что-то Гудыма со своей сибирской прямоотой, так обычно спор и взрывается. И здесь сказала: «Не для того ли мы с ног сбивались, чтобы он ожил, о любви вспомнил?»

Из дневника «Наши герои»:

«Что такое любовь? О ней так много написано. Но зайдем в шестую палату. У окна лежит старая женщина, рядом с ее кроватью сидит старик, ее муж. Женщина всем кажется страшной — синяя, отечная, но не ему. Поднял ее тяжелые ноги на кровать (она сама не в силах) и помчался, покатылся по лестнице за кислородом. Никому не доверяет уход за ней — сам кормит, читает ей газеты. Расчесывает ее косы — седые, жиденькие, и приговаривает: «Какие волосы! Ведь за эти черные косы я тебя и полюбил!»

В этом их дневнике — рассказ о враче Елене Немецкой, которая была больна неизлечимой болезнью, уже начались метастазы, и она, врач-онколог, хорошо отдавала себе во всем отчет, но, несмотря на страдания, спешила закончить работу о симптомах своего недуга (изучала их на себе!) и сделала доклад на конференции врачей так, будто все это вовсе ее не касается («Город,

город любимый! Сохрани ее светлое имя!»). И рядом — рассказ о простой женщине тете Нюре, которая тоже, умирая, думала не о себе — заказывала врачам после смерти обязательно ее разрезать и все внимательно изучить: «Вам ведь что-то непонятно было. А поймете по мне, может, хоть Зинке сумеете подмогнуть, она ведь совсем девчонка, а болезнь у нас одна».

Один из рефренов клуба — слова из песни Окуджавы: «Давайте будем жить, друг другу потакая...» С одной стороны, взыскательно спрашивают друг с друга и каждая с самой себя, ведут еще один дневник, совсем уж неожиданный «Моя ошибка» — ворошат старое, обнаруживают вдруг, что даже ошибки, если их хорошо осмыслить, могут принести кому-то другому пользу («а то бы они лежали на дне моей души, как хлам, но вот — пригодились»). А с другой стороны — «мы не боимся друг друга хвалить!» Не нужно хорошие слова копить для поминок. От одного доброго слова у человека рождаются огромные силы.

И наконец, был у них такой вопрос: «Можно ли работу медсестры считать подвигом?» Нескромно? Но знаете, по-моему, утверждение «мы — люди маленькие» таит в себе куда больше гордыни. Обида здесь, зависть к тем, кто по каким-то параметрам тебя обошел — вот и «большой». А внутри-то ни один человек, наверное, маленьким себя не считает, ведь каждый знает про себя, сколько неосуществленного в нем похоронено («эх, если б не эти проклятые обстоятельства...»). Можно ссылаться на обстоятельства, на судьбу, можно сравнивать себя с другими — всегда найдется кто-то талантливее тебя, удачливей, сильнее — и от этого

чувствовать себя несчастным. (Есть пословица: болен чужим здоровьем...) А можно сравнивать себя, такого, как ты есть, с собой же — таким, каким ты можешь стать, и от этого сознания, от беспокойства изменяться, расти...

«...На «Свече» мы учимся свободно, без всякого стеснения говорить.

...На «Свече» мы учимся думать.

...На «Свече» мы учимся понимать каждого...»

«Воздействовать на человека можно, очевидно, только через чувство», — говорю Инне Львовне. Она возражает: «Чувства недостаточно, главное — пробудить интеллект, понимание». Об этом — о понимании и чувствах — вышел у сестер интересный разговор с Валентином Распутиным. Писатель, изменив своему правилу отказываться от выступлений, специально приехал в Ангарск на занятие «Свечи», где обсуждалась его повесть «Живи и помни». Это было, конечно, значительное и радостное событие в жизни клуба, да и в жизни города — пришло, разумеется, на «Свечу» много гостей.

Еще до обсуждения прозвучал «Наш музыкальный эпиграф к повести» — *Andante Contabile* из 5-й симфонии Чайковского, а затем — стихотворные ассоциации к ней из Самойлова, Симонова, Слуцкого... «Не плакать, не смеяться, а понимать» — этот афоризм висел на стене конференц-зала. И сестры говорили, что они не только плакали, читая «Живи и помни», но прежде всего стремились понять происходящее, вникнуть в суть драмы. Они считают, например, что главный герой повести не Андрей, а Настена и что она — «фактически медсестра, сестра милосердия, которая не может отойти, бросить тяжелобольного, то есть своего мужа».

На прощанье сестры подарили Распутину двухтомник Сервантеса «Дон Кихот». Писатель потом прислал письмо, в котором называл сестер «Свечи» «не просто читателями, а подвижниками литературы».

...Вспоминаю свой второй приезд в Ангарск. Мы собирались с Инной Львовной на «Свечу» (тема на этот раз была «Суета сует»), я рассматривала случайно попавшийся на столе листок с вопросами (потом оказалось, что такие же вот уже неделю висят во всех раздевалках больницы), там было много разных, как мне показалось, трудных и торопливых вопросов, я выразила по этому поводу опасение, а Инна Львовна пожала плечами: «Трудные вопросы? Я уверена, да вы это сами сейчас увидите, что на все эти вопросы сестры дадут глубокие, сложные ответы. Да, ответы на уровне Достоевского и Толстого...»

Нет, она не оговорилась и, с ее точки зрения, насколько не преувеличила. Она убеждена, что в каждом человеке — неисчерпаемые запасы ума, таланта, доброты, только порой все это будто пленкой покрыто и достаточно бывает пленку чуть разорвать...

На занятиях «Свечи» своими глазами видишь то, что обычно от глаз скрыто — как она разговаривает, движется, тяжелыми жерновами мельет, эта самая духовная работа. И с неоспоримостью понимаешь, что потребность человека в пище духовной — такая же реальность, как потребность в куске хлеба, в крыше над головой, в одежде.

Человек, научившийся воспринимать красоту в литературе, в искусстве, вовсе не механически станет различать ее потом в повседневной жизни, в людях, которые рядом. Зависимость здесь, ко-

нечно, есть, но не прямая, не абсолютная. Как ее усилить?

Помните, в рассказе Глеба Успенского «Выпрямила!» опустившийся, давно не помнящий свою душу человек случайно забредает в Лувр, уныло подходит к статуе Венеры Милосской, не догадывается даже, что уже много веков мир преклоняется перед этим творением, и вдруг видит... Не только божественную эту красоту видит, но в яркой вспышке сознания впервые видит и свою жизнь — всю ее черноту и мерзость...

Почему же подобные выпрямления души искусством случаются с нами так редко, хотя «Война и мир» или, например, симфония Шостаковича могут потрясти не меньше, чем Венера Милосская? Даже на просто хорошем фильме, спектакле люди волнуются, некоторые плачут, но потом выходят из зала, и сразу — ссоры в раздевалке, в буфете. Конечно, не все так забывчивы, некоторым пережитого впечатления хватает на неделю, на месяц...

Но я-то собираюсь доказать, что все, абсолютно все сестры «Свечи», даже те, которые походили год-два и бросили, пронесут какой-то, пусть маленький, отсвет коснувшейся их красоты через всю жизнь. И секрет здесь, видимо, в том, что в отличие от посещения спектаклей, фильмов, которые мы смотрим как зрители, в отличие от нашего обычного общения с книгой, когда мы — просто читатели, «Свеча» дарит такую глубину со-мыслия, со-чувствия, со-переживания, впечатления искусства так естественно и туго переплетаются здесь же, на виду, вслух, с фактами из их собственной жизни, из жизни больницы (и не сладкий это разговор, а всегда взыскательный, и не просто разговор, а поиск истины, порой мучи-



тельный). В общем, каждое заседание «Свечи» превращается в своеобразный катарсис. И это действует не только на чувства, на разум, но и на подсознание тоже.

Все начинается из глубины, все начинается с того, как человек понимает свою роль на земле. И не пора ли наконец убедиться, что человек целостен, что бессмысленно ждать от него творческого отношения к работе, если не пробудилось в нем творческое отношение к жизни?

...Девушка с красивыми фиалковыми глазами, как говорящая кукла, которой известно всего-то несколько человеческих слов, повторяла: «Неприменный день. Не положено». Я пыталась ей объяснить, что уезжаю в командировку, что завтра прийти не смогу и если нельзя передачу, то хоть цветы с запиской — пожалуйста. «Не положено», — п никакой раздраженности, и вообще никакой интонации в голосе.

Мне вдруг стало интересно: «Девушка, милая, ну почему, если вам ничего не стоит сделать хорошее, скажите, почему вы делаете плохое?» Тут она, кажется, впервые что-то услышала — тщательно выщипанные бровки изогнулись в недоумении: «Что-что? Может, вы еще заповедь «возлюби ближнего» вспомните?» Я не сразу нашлась, как ответить. Да ей и не нужен был мой ответ. Она отчеканила: «Я — на работе. И любить здесь никого не обязана. И меня пусть не любят. Обойдемся!»

Разговор происходил в приемной хирургического отделения одной московской больницы. Девушка, не желающая никого любить, была сестрой послеоперационной палаты.

Я долго не могла потом успокоиться — не понимала. Ну ладно бы она нагрубила, высказала бы классическое: «Вас много, а я одна», но тут было какое-то спокойное, «бескорыстное» зло. Страшно представить, что она — такая! — может быть, подходит сейчас к постели умирающего...

«...Счетчик Гейгера крутится, вертится — измеряет он уровень вредности. В медицине есть тоже свой «Гейгер»: измеряет он уровень сердца врача, медсестры, санитарки. Тут обратная пропорциональность настоящему счетчику Гейгера: выше уровень — больше надежды». (Из рукописного поэтического сборника «Свечи».)

Сколько же я слышала за годы моей любви к «Свече» обидных, скептических вопросов! Зачем медсестрам Монтень? Не встают ли они на котурны, пытаюсь рассуждать о самых главных проблемах бытия, перед которыми даже самые мощные умы отступали в бессилии... Да не играли, не примитив ли все эти разговоры при «Свече»? Лучше бы они своим больным побольше внимания уделяли. И вновь настойчиво возникает этот трудный вопрос: возможно ли пробуждать духовность во взрослом, давно сложившемся человеке?

Ну, например, та девушка с фиалковыми глазами. Откуда мы знаем — может быть, ей от рождения достался характер дурной, может, в детстве с воспитателями не повезло, может, жених бросил... А что, если своей жестокостью она просто самоутверждается, поскольку больше ей самоутверждаться нечем? И о каком тогда раскрытии индивидуальности речь?

Но вот вспоминаю ставшие мне дорогими лица ангарских сестер — и появляется надежда. Все они разные — и по возрасту, и по характеру,

и по судьбе, есть несчастливые, есть невезучие, есть, наверное, и не очень добрые,— но ведь знаю же я, что ни с одной из них такого эпизода, какой описан выше, не могло бы случиться.

Рассуждая о людях, работающих нетворчески, то есть без души, мы говорим обычно о том, как страдает дело, и редко задумываемся о том, что и сами эти люди, того не ведая, тоже страдают, лишённые полноты бытия, возможности себя нормально, по-человечески выразить, вынужденные самоутверждаться разными кривыми путями. Я вновь вспоминаю ту девушку с фиалковыми глазами, и мне жаль ее.

А сестрам «Свечи», конечно, повезло. Каждой из них встретилась в жизни Инна Львовна. Прекрасная Инна Львовна. Мне вот почему было трудно писать о «Свече»: все время хотелось говорить не столько о клубе, сколько о ней, которая уже восемь лет «Свечу» зажигает. Но Инна Львовна категорически просила меня не выпячивать роль личности, ибо это было бы, на ее взгляд, несправедливо, да и неинтересно. «Самое интересное, конечно, как от занятия к занятию растут медсестры». Я ей подчинилась, пыталась показывать... Ну а теперь, хоть под занавес, спешу расшифровать тот пунктир ее судьбы, который был дан в начале.

Три года назад, когда только начиналось наше знакомство, Инна Львовна сказала мне при встрече: «Пятый год существует «Свеча», а сделано из задуманного так мало... Но, может быть, именно благодаря незавершенности «Свеча» себя и не исчерпала?» Инна Львовна относится к той категории людей, которые чем больше делают, тем сильнее мучаются чувством неудовлетворенности. Это чувство заставило ее, москвичку, сразу после окон-

чания института бросить столицу, по которой она до сих пор тоскует, и приехать в Сибирь, где врачи были нужнее, в только что рождавшийся Ангарск. Это чувство не оставляло ее и тогда, когда стала она главным терапевтом города, председателем научного общества и заведующей терапевтическим отделением больницы. Ее отделение первым в Иркутской области получило звание отделения коммунистического труда, сама она первой в Ангарске получила высшую врачебную категорию, дважды избиралась депутатом горсовета, но она все считала, что сделано мало, мало, все силы, духовные и физические, отдавала больным.

А потом вдруг сама оказалась пациенткой. Болезнь позвоночника, которая началась еще на фронте, но на которую ни тогда, ни после некогда было обращать внимание, приковала Инну Львовну к постели, обрекла на тяжелейшие операции, отняла любимую работу. Но и в таком отчаянном положении, преодолевая постоянные боли, она продолжала, как могла, действовать — искала пути к людям, писала стихи, рассказы, а когда стало чуть-чуть легче, организовала у себя дома медицинский кружок и одновременно кружок любителей поэзии для одноклассников двоих своих дочерей. Это были своеобразные репетиции «Свечи». Сейчас, несмотря на далеко не полное выздоровление, Инна Львовна продолжает лечить больных, считая это главным делом своей жизни.

Ну а «Свеча»? «Свеча» — это тоже ее главное дело...

И понятно, конечно, почему она так много хочет от «Свечи». Однажды я в полушутку сказала: «Вы так мучаете сестер сложными заданиями, трудными вопросами. Как вы думаете, любят вас сестры?» — «По-моему, ненавидят!» — засмеялась она.

Конечно, нелегко было Инне Львовне ломать инерцию людей, не привыкших задумываться о жизни и о себе. Но она знала о них больше, чем они сами о себе догадывались. Она сразу установила с ними отношения на равных, не принижала уровень разговора, а настойчиво тянула их вверх. Может быть, в какие-то моменты сестры и в самом деле свою «мучительницу» ненавидели, но она-то рассчитывала на долговременность отношений.

Привыкшая все в жизни делать по максимуму, сама Инна Львовна к каждому занятию «Свечи» готовится, как к защите диссертации. Перечитывает десятки книг, составляет конспекты, обсуждает с друзьями вопросы, которые могли бы расшевелить сестер. Бессонные ночи, бесконечные волнения. Порой на занятие клуба ее, обессиленную очередным обострением болезни, на каталке ввозят... Близкие приходят в отчаянье: «Она сжигает себя этой «Свечой»!» Сколько знаю Инну Львовну, столько слышу от нее, что пора уходить, что сестры и без нее прекрасно справятся.

Как-то написала мне в письме: «Заканчивая свое выступление (на очередном юбилее клуба. — Л. Г.), я фактически попрощалась со всеми, сказав, что теперь каждая должна сама нести в жизни свою свечу, что нельзя больше культивировать дальнзоркость, романтизм доброты...» А через неделю после письма в телефонном разговоре — упавшим голосом: «И все-таки не могу... Считаю, что уйти — значит предать». А потом будет новое письмо и снова: «Да, может быть, уже и хватит «Свече» гореть? Она ведь все равно свое сделала. Это самоочевидно настолько, что не требует доказательств: люди чуть изменились и, значит, будут меняться дальше».

Но я не могу представить, чтобы погасла в Ангарске «Свеча», хотя советую Инне Львовне уходить, обязательно уходить. Дело в том, что кроме больных, кроме «Свечи» есть у нее третье любимое дело, в котором — я убеждена — она могла бы проявить свою талантливость самой щедрой мерой, это — писать. Сколько начато, да и закончено уже повестей, рассказов. Но чтобы кому-то показать, нужно «немного почистить», ну а это при ее требовательности к себе значит — заново переписать, на что конечно же у нее не хватает времени.

Но дебют ее в печати все-таки состоялся. Откройте 5-й номер «Юности» за 1980 год, и на 16-й странице вы увидите девочку в военной гимнастерке с такой заразительно веселой улыбкой, что кажется, вся радость жизни сконцентрировалась в ней и сейчас перельется через край, брызнет. Это она, Инна Львовна. Это ее рассказ «Запах гари».

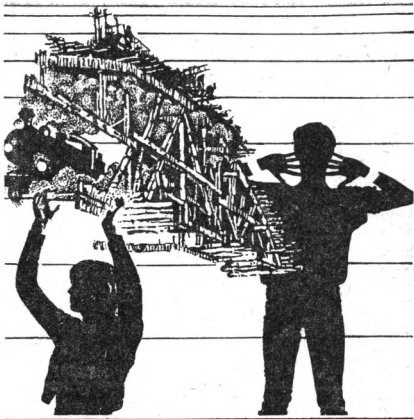
В рассказе нет всей ее биографии, зато есть «рентгенограмма щедрой души», как выразился Борис Васильев, который и принес рассказ в «Юность». И все-таки не удержусь — процитирую хоть один абзац из ее рассказа, вернее, не просто абзац — это эпиграф к ее жизни:

«У тети Даши было оставлено для мамы короткое письмо: «Мамочка, родная, любимая! Я, наконец, еду. Все вышло неожиданно, за два часа. Я тебе с дороги напишу все подробно. Если ты настоящий советский человек, то не плачь (или поплачь немного). Мама, пойми, я не могла иначе никак. Я счастлива».

Нет, из этого отрывка не почувствуешь ее стиль (письмо — документ), зато можно уловить здесь главный секрет «Свечи». Дело в том, что свою уверенность в абсолютном достоинстве человеческой

личности Инна Львовна вынесла копейно же из времен фронтовой юности, из тех трудных, забываемых времен, когда так зримо проявились и людская общность, и неисчерпаемые запасы человечности. Порой мне мерещится образ: «Свечу» эту она зажигает от тех фронтовых огарков, что светили в землянках.

Сможет ли она бросить, наконец, «Свечу»? Сможет ли когда-нибудь засесть за рукописи? Не знаю. Человека бóльшей душевной щедрости и бóльшей жизненной жадности — не знаю. Ей все в жизни нужно и дорого. Даже... «Я болезнь свою боюсь потерять, потерять новизну ощущения зимы, новизну незначительных будто бы встреч, радость влажного ветра в лицо... Я боюсь безразлично с людьми говорить и обычно красивые платья носить...» Да ведь она, Инна Львовна, как и познакомившая нас когда-то Марина Костенецкая, тоже выбирает «неблагополучие как образ жизни». И что касается девиза «Свечи»: «Светя другим, сгораю сам», — то в жизни Инны Львовны он имеет отнюдь не символическое значение.



---

## *Глава пятая*

---

*Зачем люди ссорятся?*



*Эх, если бы оно только существовало, искусство быть счастливым. Ну пусть не искусство, ремесло хотя бы... Чего только люди не отдали бы, чтобы овладеть им... Несколько лет жизни не жалко, только бы в остальные годы быть гарантированно счастливым. Но жизнь всегда неожиданна.*

*Казалось бы, столько мудрых книжек прочитано, столько синяков и шишек уже набито, и умом-то все понимаешь, но наступает новый день, и перед простейшей задачкой вдруг встает в тупик. Один сатирик мрачно пошутил: опыт человечества говорит прежде всего о том, что оно, человечество, не умеет извлекать ошибок из своего собственного опыта. Но кто захочет с этим смириться?*

## МЕСТЬ

Горькая эта история долго не давала мне покоя. Я понимала, что никто со стороны помочь здесь не может. Да и самонадеянно было бы брать на себя роль судьи в столь тонкой, почти неуловимой сфере человеческого бытия, как чувства. Так, может быть, история эта слишком личная и не представляет общественного интереса? А потом я снова думала: но ведь речь о целой жизни, которая не состоялась, и разве не важно понять — почему?

...Всю жизнь она боялась этих слов: «мать-одиночка» — и всю жизнь мысленно их к себе применяла. Когда на педсовете говорили о неблагополучной семье кого-то из ее учеников, она каждый раз внутренне сжималась, прятала глаза, опасаясь встретить укоризненный взгляд, направленный в ее сторону.

Только в маленьком сибирском городке, где начиналась их с Петровым любовь, ей ни перед кем не было стыдно за рождение незаконного сына. Там все знали, кто отец ребенка. Их с Петровым везде привыкли видеть вместе. Стоило ей появиться где-то одной, люди спрашивали: «А где ж твой Петров?» Городок обрек их на супружество. Но

когда Петров так подло с ней поступил, весь город встал на ее защиту. Петров, наверное, до сих пор не верит, что то разбирательство, после которого его исключили из института, возникло без какого-либо ее участия. Студенты сами все знали — ведь жизнь каждого в этом городке была как на ладони.

Чувство стыда и горечи она испытала потом, когда переехала в областной центр, а позже — в Москву и в разных инстанциях приходилось показывать метрику сына с прочерком. Ей казалось, что все смотрят с осуждением и думают о ней невесть что. А тут еще сын со своим «где папа?». Однажды взяла его в универмаг, он увидел в витрине манекены в мужских костюмах и долго потом приставал: «Купи папу!» А он, Петров, наверно, никогда и не вспомнил о ее загубленной жизни и о судьбе ребенка. Он улыбался где-то своей белозубой улыбкой, играл на своем баяне, проживал свою неведомую, радостную (так ей всегда казалось) жизнь. Конечно, ему весело: красивая жена, семейное благополучие. И от одной мысли об этом что-то обрывалось у нее внутри, сердце тоскливо холодело. Все вокруг становилось черным-черно. И во всем был виноват Петров.

Сколько же она видела горя! В Москву приехала с Алешкой на руках и с одним драным чемоданом. Ложки, вилки своей не было. Ютились по чушим углам. Бывало, сугробы до половины окна доходили, а изнутри на стенах лежал иней. Работала в школе на полторы ставки, да еще училась в заочном институте. На сон времени не хватало. Где уж тут о женском счастье думать?! Да и не могла она после Петрова верить мужчинам. Ближе к себе никого не подпускала, хотя есть, к примеру, человек, который вот уже 25 лет — с тех

пор, как она появилась в Москве, — готов сделать для нее что угодно, стоит пальцем поманить. Но она себе этого никогда не позволит. Она так жила, что люди называли ее монашкой. Ей доставляет особую радость сознавать, что все трудности перемогла одна. И все, что есть у нее теперь — и квартира двухкомнатная почти в центре Москвы, и полный материальный достаток, и сын с институтским дипломом, — все подняла одна, на своих хрупких женских плечах.

Я получила сразу два письма: одно — от нее, второе — от ее сына Алексея, 29-летнего инженера. Речь в обоих письмах шла о новой обиде, которую нанес им Петров.

Случилось вот что: сын давно хотел увидеть отца и наконец в этом году (передаю содержание писем близко к их тексту) он вспомнил свое несчастное детство и решил не откладывать встречу с тем, кто как бы невзначай дал ему жизнь. Долго разыскивал через милицию адрес, нашел, заказал переговоры, но вдруг услышал визгливый голос по телефону: «Зачем, зачем нужна наша встреча? Я не вижу смысла! К чему ворошить прошлое?» Сын передал трубку матери, и та стала взывать к молчащей совести Петрова: «Сын не имел права получать от тебя материальную помощь, но видеть-то родного отца он, по крайней мере, имеет право! Я всю жизнь отдала воспитанию твоего сына!» И так далее...

Вот такая душераздирающая получилась сцена. О ней и говорить-то неловко. Вроде бы все началось с хорошего: сын хотел увидеть отца, может быть, обрести отца, а кончилось тем, что мать и сын написали на Петрова жалобы и послали в

разные инстанции, в том числе по месту жительства Петрова. Для принятия мер. Тут, конечно, напрашивается вопрос: полно, с добрых ли чувств все начиналось? Если так легок оказался переход от «мысленных объятий» к писанию жалоб, нужна ли была в самом деле та встреча? Что-то здесь есть нарочитое, неискреннее.

Но хватит. Не хочу, чтоб у читателя возникло раздражение против Нины Михайловны или ее сына. Вспомним: это страдающие люди. Все тут не просто.

...Как только вошла она — худощавая, с узким бледным лицом, с вопрошающим взглядом темных глаз, сразу стало ее жалко — такая печать несчастливости лежала на всем облике этой женщины. И хоть всячески доказывала, что сильный, гордый она человек (и это, судя по ее жизни, правда), все равно было ее жалко. Впрочем, жалеть можно и сильных людей, и жалость не обязательно унижает.

Где-то в середине ее рассказа я вдруг поняла: она ведь любит этого Петрова, которого корит и обвиняет! Сама не отдавая себе отчета, до сих пор живет незамысловатыми событиями, происходившими в далеком сибирском городке тридцать лет — целую жизнь! — назад. Время для нее будто остановилось. Как это ни удивительно, но и сейчас сохранила в себе психологию обманутой девушки. Седая девушка. Фотографии, бережно сложенные в конверт. «Это он с матерью, это — с другом». Групповой снимок: «Наша компания. Вышли на улицу после застолья». Он и она сидят в нижнем ряду, склонив друг к другу головы. Его рука на ее плече. У нее платье с буфами по послевоенной моде, на лице — застенчиво-радостное ожидание счастья.

Познакомились они в клубе. Нет, не на танцах. Она уже работала учительницей, так что ходить на танцы ей было не к лицу. А просто возвращалась однажды из магазина, и вдруг хлынул сильный дождь — прямо водяная стена перед глазами. Люди побежали кто куда, она тоже спряталась на крылечке клуба, и тут ее окликнул брат подруги. Я, говорит, давно собирался тебя познакомиться, и постучал в окошко билетной кассы. Оттуда высунулась голова парня с пышным русым чубом и с белозубой улыбкой. Это и был Петров. Он приехал недавно из села в их город и, оказывается, просил местных парней познакомиться его с самой лучшей девушкой.

Она называет дату, когда он сделал ей предложение, и дату, когда они носили заявление в загс (там, как назло, был ремонт — видно, не судьба), и дату, когда она взяла у матери свои вещички и перешла к нему в клуб. Петров работал художником, и ему дали при клубе хорошую казенную комнату, в которой они и жили совместной жизнью. Да, почти год без месяца и двух дней жили.

— Когда будете с Петровым говорить, спросите: чем я перед ним провинилась?! — восклицает Нина Михайловна.

Невозможно это слышать — больно за нее. В самом деле, чем же она провинилась?! Подумать только: этот вопрос ее до сих пор волнует.

Однажды, возвратившись домой, Петров заявил: «Нина! В нашем городе появилась интересная дама!» — и голос у него был умоляющий. Потом они встретили эту даму на улице. Петров, не стесняясь, воскликнул: «Посмотри, какие у нее чудные голубые глаза!» Брак Петрова стал в городе сенсацией. У нее трое детей (говорили — от разных мужчин), она на 9 лет старше его...

Нина Михайловна осталась одна на 6-м месяце беременности, она буквально стояла на краю могилы — да-да, руки хотела на себя наложить. И только одна мысль удержала: вот вырастет сын и посмотрит Петрову в глаза, и тому, может быть, станет так же тяжело, как ей сейчас.

«Напомните Петрову, как после долгой болезни я приехала просить у него помощи для сына, а он избегал меня. Я ждала его в райкоме, стояла до вечера в коридоре на первом этаже возле печки. Он вышел, наконец, и будто не узнает меня, мимо проходит, и тогда я сказала ему вслед: «Вот вырастет сын, сам тебя найдет!»

Ее темные глаза, когда она все это рассказывает, горят гневом. Кажется, до сих пор она с прежней силой ненавидит Петрова, и от этой пылающей ненависти рядом с нею становится неуютно. Осторожно заговариваю о письмах, посланных ею по месту работы Петрова. Не сожалеет ли Нина Михайловна об этих письмах в инстанции? У нее тут же вырывается: «Жалеть?! Да к этому я, может быть, всю жизнь шла!» Так обычно говорят о своем звездном часе.

Неужели всю жизнь она думала о мщении? Неужели растила сына и ждала: вот кто за меня отомстит?

Нина Михайловна уверяет, что никогда не говорила сыну плохо об отце. Но тут же вспоминает: «Однажды по радио передавали «Темную ночь». Я сказала, что это любимая песня Петрова. Алеша — ему было 10 лет — подошел и с силой вырвал розетку из стены». Но откуда в ребенке родилась эта ярость, если он не слышал ничего плохого об отце?

Нет, я ничего не знаю точно, но если говорить о диагнозе, то можно предположить, что боль, кото-

рую она в себе так заворуженно лелеяла все эти годы, рикошетом ранила (не могла не ранить) того единственного человека, который был ей ближе всех, который всегда находился рядом, — сына. Сейчас мать жалуется, что Алексей вспыльчив, одинок, что до сих пор не хочет заводить семью. Она считает: это результат комплекса безотцовщины. Но откуда берется комплекс? Только ли от физического отсутствия отца в доме?

По просьбе матери Алексей зашел в редакцию газеты, где я работаю. Стеснительно помялся у двери, а потом заявил: «Мы настроены агрессивно! Любыми путями будем добиваться, чтобы он был отстранен от педагогической работы. Пусть физическим трудом займется». — «Но он же стар». — «Ничего, еще три года до пенсии. Пусть пострадает».

В его внешности нет черт, которые соответствовали бы жесткости его слов, скорее, даже мягкая, инфантильная у него внешность. Он нервничает, на скулах проступают красные пятна. Я представляю, какую трагедию должен переживать сейчас этот взрослый сын. Отец от него отказался, и теперь сам факт его рождения будто подвергнут сомнению. Будто и нет его на свете, высокого, сильного, красивого. «Простите, мне трудно говорить», — заторопился он.

Я не решилась его удерживать, не стала ему сообщать, что люди из официальной организации, занимавшиеся разбором жалоб на Петрова, звонили недавно в редакцию в полном недоумении: чего же хотят сейчас от них, чужих людей, эта женщина и ее сын? Какие бы компрометирующие факты из прошлого ни сообщила Нина Михайловна, а для этих людей Петров был и останется известным в городе учителем, почтенным отцом се-



мейства. Он любит свою жену, как в молодости, воспитал троих ее детей, тоже бывало не сладко, но в городе и не знают, что дети ему чужие. Уже пятеро внуков.

Впрочем, понимаю: хорошая аттестация нынешнего Петрова ничуть не оправдывает его давнего поступка в отношении бедной Нины Михайловны. Наоборот, эта положительность еще больнее ранит оставленную мать и забытого сына. Пытаясь представить себе реального Петрова и его теперешние чувства, не знаю, как он мог, как должен был бы поступить, чтобы столько лет спустя оправдаться. Но одно знаю определенно: пока человек жив, многое в его отношениях с другими людьми можно еще изменить, исправить. Нет такой вины, которая не смягчалась бы раскаянием. Но Петров не сделал и шага... Не захотел нарушать свой душевный покой? Испугался запятнать признанием греха молодости безупречную биографию?

Может быть, отказываясь от встречи с сыном, он думает, что бросил его, вычеркнул из своей судьбы? Нет, не бросил, а *потерял* и тем самым поставил под сомнение всю положительность своей судьбы. Право же, в голове не укладывается: люди, потерявшие друг друга в войну, до сих пор ищут друг друга, страдают, не спят по ночам от дум, а тут живой, сам отыскавшийся, *готовый* сын, и вдруг — не нужен?

Нет, я отказываюсь это понять, а взывать к совести отца, если его совесть молчала 30 лет, считаю бессмысленным.

Если уж говорить, думала я, то с тем, кто хочет тебя услышать. С тем, у кого болит, кто ищет выхода и мечется. Больше всего в этой истории меня волновало сегодняшнее страдание Нины Михайловны, которое обновляется и усугубляется тем,

что она публично решила сводить счеты с человеком, которого любила. Еще более тревожило, что и сын ее включился в орбиту

Рассказав об этой истории в газете, я получила несколько сотен откликов и тут вдруг узнала, что «у автора нет сердца». И еще узнала, что «автор слишком благополучный человек, которому неведомы ни слезы, ни горе, ни потери, и оттого не дано понять униженных и оскорбленных...». Почта эта доставила мне много горьких минут и дней. Были, конечно, и хорошие, добрые письма в поддержку статьи, но пока откладываю их в сторону, а читаю и перечитываю те, где возмущение, гнев, суд. То стыд и вину испытываю: вот, обидела людей, которым хотела как-то помочь. То — удивление: до чего же субъективны люди, каждый видит свое и только свое. Вот уж поистине не дано предугадать, как слово наше отзовется.

Главный вопрос, который горячо дискутируется в почте: имеет ли она право на месть? Или даже так: мстить нужно или не обязательно?

Часто мелькают слова «жертва», «обидчик», «тяжкий удар»... Но отдадим себе отчет: о чем, собственно, речь? Если отшелушить восклицания о потере веры во всех людей, о крушении идеала (так говорят в 17 лет, а позже говорят и чувствуют иначе), то получится, что все эти гневные эпитеты относятся к факту рождения ребенка.

Да, как ни кощунственно звучит, но «тяжкий удар» — именно о ребенке, не будь которого разве чувствовала бы она всю жизнь себя «жертвой», а его, разлюбившего, своим «обидчиком»? Она бы и думать о нем забыла. Значит, только потому «жертва», что мать?

Авторы писем вроде бы хотят посочувствовать героине «Мести», а к концу письма неизбежно оказывается, что рассказывают-то они, в сущности, о себе — «моя судьба очень похожа...» Так что это вовсе не теоретический спор, а жизненное переживание. И беда не в том, что неловкие слова произносятся, а в том, что очень уж унижительные чувства при этом испытываются.

Но вот другое, гордое письмо:

«...Если исходить из простой, непридуманной жизни, то страдает ваша Нина Михайловна на пустом месте. От ущемленного самолюбия, от собственной косности. Есть женщины, которые по трое детей растят, а то и по четверо, а отцы у них пьяницы. Таким матерям гораздо тяжелее, но они не жалуются.

Почему матерей-одиночек считают несчастными? Какой вредный стереотип общественного мнения! Те, у кого не может быть детей, завидуют нам. Я стала матерью в 30 лет, сознательно — очень уж хотелось иметь сына. И теперь думаю исключительно о том, чтобы рос он добрым мальчиком, без какой бы то ни было ущербности.

Во все времена были и, я уверена, будут полусемьи, как, например, у нас с сыном. Кому как повезет, дело случая. Так из-за этого страдать? Нет уж, извините, жизнь одна. Она коротка, но прекрасна. Я дала жизнь этому крохотному, самому дорогому на свете существу, так пусть он живет и радуется».

Это письмо выражает определенную тенденцию, наметившуюся в последнее десятилетие: все больше женщин, не сумевших по каким-то причинам выйти замуж, решаются родить ребенка и не сообщают даже мужчине, что именно он — отец. Такие женщины называют себя (мелькнуло в двух-трех

письмах) «мать-одиночка по доброй воле». А, собственно, почему мать-одиночка? Если вдуматься, это абсурд. Когда женщина — мать, она уже не может быть одна, а если может (если чувствует себя одиночкой), то какая же она мать?! Пытка одиночеством издавна считалась страшнее пытки голодом. Но матери у нас в стране не угрожает одиночество.

«Какое счастье быть матерью!» — эта фраза много раз повторена в откликах на «Месть». Хотелось бы сейчас пустить на эти страницы все разноцветье, всю полноту жизни — один за другим дать бы монологи женщин, счастливых своим материнством. Вон их сколько, этих вдохновляющих откликов. Но они лежат в стороне, потому что у меня сейчас другая цель — объясниться с несчастливými.

Итак, авторы многих писем считают: моя героиня имеет право на месть, потому что ее жизнь загублена по вине одного плохого человека. Право на месть... Рассмотрим это право на более простых примерах. Скажем, кто-то толкнул нас в автобусе, возникнет ли вопрос о мести? Станем ли мы размышлять о том, как наказать обидчика? Вроде бы смешно об этом спрашивать... Однако как провести тут границу? А вдруг кому-то покажется, что и автобусная обида заслуживает возмездия? Между тем на простой транспортной модели легче увидеть опасные стороны чувства мести...

Ясно, что стоит только дать волю раздражению, и в любом, даже пустячном случае начинает казаться, что ничего нет важнее, чем воздать обидчику сторицей. А что толку? Ответив грубостью на грубость, восстановим ли справедливость? Облегчим ли душу? Вряд ли. Скорее всего, испортим себе настроение на час, на день. Еще страшнее, если

чувство мести захватывает человека целиком, становится страстью, делом его жизни.

Конечно, трудно простить обиду. Трудно простить даже в самом простейшем случае. Но ведь не простить, а взрастить в себе злые чувства и дать им волю — тоже, как мы убеждаемся по многим судьбам, просто нерасчетливо. Месть не утоляет боли, она рождает новые отрицательные эмоции, новую боль. Зато если победить в себе первую импульсивную злость, и вторую победить, и обуздать чувства разумом — только тогда можно хоть в какой-то мере освободиться от гнетущей обиды.

«...Как вы смеее осуждать женщину, которая совершила подвиг — вырастила сына одна... Жестокость!» (Под письмом 9 подписей: почтальоны, начальник отделения связи и оператор из Свердловской области.)

Но та реальная женщина, которой была посвящена «Месть», жестокости в статье не увидела. После опубликования статьи она вновь приходила в редакцию. С букетом красных гвоздик — благодарить... За то благодарить, что ей и только ей поверили (статья ведь написана с ее слов, а оправданий Петрова корреспондент и слушать не захотел). За то, что самое главное отражено: Петров — действительно отец ребенка, и теперь будто клеймо с нее снято...

При этих ее словах в том месте, где «у автора нет сердца», что-то сильно заняло. Под каким игом предрассудков живет человек! В отличие от нынешних, внутренние свободных и внешне независимых матерей «по доброй воле» эта женщина всю жизнь несла свое материнство как наказание за грех молодости. Таковы были нравы в том маленьком сибирском городке в ту суровую послевоенную пору, когда родила она сына и кормила его

на свою учительскую зарплату, а в метрике ребенка стоял прочерк. Можем ли мы до конца понять ее?

И тут она вновь показалась мне по-детски беспомощной — худощавая, с узким бледным лицом, с вопрошающим взглядом темных глаз. Я сказала что-то о тщетности мести, о необходимости беречь себя и сына, как вдруг она распрямилась и произнесла эту коронную фразу: «Всю жизнь свою я отдала его сыну!» Сказала — будто знамя над головой подняла. И сразу, как и в первую нашу встречу, стала воинственной.

Найти лекарство от боли... Нет, видимо, не дано.

И теперь понимаю, что комплекс матери-одиночки (а он, судя по письмам, еще весьма распространен) проявляется в двух противоположных ипостасях: с одной стороны — ощущение своего материнства как некоего «греха», с другой — превознесение его же, материнства, до ранга подвига. «Всю жизнь свою я отдала...» Ну и что же? А кто из матерей не отдает? И не в том ли радость материнства, что можно, что есть кому самое лучшее свое отдать и этим как бы удвоиться?! И как, в сущности, страшно о своем ребенке говорить: его сын. Получается, что уже не мужчине это счет и упрек, а сыну, своему сыну.

Очевидно, пропасть между «грехом» и «подвигом» и заполняется местью.

«...У меня тоже дочка растет без отца. Я тоже мщу: всеми силами стараюсь сделать нашу жизнь полноценной и счастливой, хотя порой это похоже на попытку прыгнуть выше собственной головы. Но станет ли наш Петров лучше от того, что мы его раз и навсегда оставили в покое?»

Петровы неуязвимы. И тем сильнее хочется им отомстить: заставить болеть их души, чтобы убедиться, что отцы наших детей — люди, а не роботы. Вот такие мы злые, одиночки» (Т. Е., Челябинск).

Если Нина Михайловна даже себе не признается в желании отомстить, то здесь, как видим, открытая апология мести. Т. Е. верит, что с помощью мести удастся превратить «роботов» в людей. Но интересно узнать, как, в каких формах это оздоровительное мероприятие могло бы осуществиться?

На этот счет в других письмах есть совершенно конкретные предложения:

«...Мне кажется, их портреты нужно вывешивать на заборах, показывать по телевизору...»

«...Ну и что ж, что 30 лет прошло? Пусть хоть теперь понервничает, получит свой заслуженный инфаркт...»

«...В минуты отчаяния мне хотелось проткнуть пину государственной машины, на которой он ездит без оглядки, красивый и самодовольный...»

Какая боль, бессилие, отчаяние! Невольно думаешь: а может быть, не случайно какой-то мужчина ушел от нее, такой злой? Можно ли любить злую?

«...И если бы однажды приполз он на мой порог, израненный, истекающий кровью, а на улице была бы метель и стужа, я все равно захлопнула бы перед ним дверь. И было бы у меня на всю жизнь утешение, что наказан он хотя бы тем, что умер жестокой смертью».

Не верю! Не могу поверить в реальность чувств, продиктовавших эти строки. И зачем она, женщина, такое на себя наговаривает?

Самое-то обидное, что петровы, и правда, неуязвимы... Никто из них не собирается ползти на по-

рог или получать заслуженный инфаркт, а если шина у кого лопнет, то и в голову не придет, что это его бывшая любимая проколола. Вот, трагедия оборачивается фарсом. Он, горе-отец, может просто не заметить ее мести, переступить, и в своем спокойствии, равнодушии может даже показаться благородным, на фоне ее-то страданий, метаний...

Мсть — как бумеранг. Возвращается. Даже несостоявшаяся по отношению к обидчику, всегда состоит в отношении к самой мстящей: она-то уж пережила мсть в своем сердце. И всю горечь унижения испытала. Насколько же лучше остаться неотмщенной, но уважающей себя.

Если труд прощения обязательно ведет к прибавлению добра в мире, к наращиванию «мускулов» человеческой души, то труд мести унижает человеческое достоинство мстящего.

Заставить другого быть добрым, понимающим, благодарным, любящим — увы — невозможно. Эти чувства рождаются в ответ на совсем другие, куда более тонкие действия. Их не вызовешь приказом, угрозой, слезами, письмами в официальные инстанции и тем более не вызовешь ненавистью или мстью. Так что же делать, что делать, если у меня болит, а он во всем виноват, но сам этого не понимает? Неужели все так и спустить ему, пусть живет свою безоблачную жизнь, а я должна корчиться от боли?!

Как трудно ответить на этот вопрос. Любой здравый, рассудительный ответ прозвучит как холодный. Конечно, легко быть мудрым со стороны... Но ведь только взглянув на горячую ситуацию со стороны, хоть самую чуточку над ней приподнявшись, хотя бы завтрашним своим же зрением, можно ответить себе на этот сакраментальный вопрос: мстить или не мстить?



Из чего бы месть ни рождалась — из естественной ли обиды, из комплекса неполноценности, из продуманного желания ответить злом на зло или просто из яростного ослепления — это чувство не ведет к созиданию, очищению жизни и личности. Зато как же велика, благородна она, сила прощения! Очень жаль, что мы редко задумываемся над этим.

Какой же непривлекательный обобщенный образ мужчины встает из писем женщин, откликнувшихся на «Месть»!

Но не будем бросаться в крайности и спешить обвинять мужчин (всех!) в бесчувственности. Тем более что с их точки зрения та же самая картина выглядит совсем иначе. Вот как объясняет «нынешнее падение нравов» В. Кубичев из Саратова:

«...Сегодня миллионы женщин оставляют детей без отцов и отцов без детей, влюбившись в другого. И современная мораль оправдывает их: любви! Во все же предыдущие века общественное мнение строго судило женщину, и жизнь показала целесообразность такой непримиримости: дети оставались без отцов гораздо реже, чем сегодня».

Вроде бы с благой целью — с заботой о детях — пишет автор, но много ли найдется женщин, согласных вернуться назад, к домострою?

Недавно на одном семинаре по проблемам семьи и брака лектору прислали записку: «Дайте волю женщинам осуществлять выбор мужчин!» (и тогда, мол, дела семьи будут в порядке). Зал встретил записку хохотом. Действительно, какая наивность. Да разве в жизни дело обстоит как-то иначе? Еще пушкинская Татьяна, как мы помним, осмелилась выбрать первой, а уж сегодня, в «эпоху белых

танцев»... Мы выбираем чаще, чем нам самим хотелось бы. Своим выбором мы, женщины, задаем тон отношений до брака, создаем облик семьи после брака (судя по результатам опросов, нас все охотней признают главой семьи), пополняем статистику разводов, бросая плохих мужей... И вдруг кто-то из нас — жалостливо о себе: «жертва», «разрушительный удар»...

Что это — неисправимая женская зависимость, приниженность? И как же совместить с этим тот факт, что во многих областях жизни женщина обгоняет мужчину, становится нравственно сильнее, чем он? Увы! Есть эмансипация условий жизни, а есть эмансипация внутренней жизни. И вот ее-то, последнюю, ни подарить, ни приказом навязать нельзя. Ее можно только выстрадать трудом собственной души.

Ну хотя бы в силу того, что мы, женщины, наделены от природы способностью глубже и обостреннее все чувствовать, что любить мы умеем сильнее и самоотверженнее, чем мужчины (кстати, современная литература это признала, и если раньше сюжетом романов была, как правило, любовь мужчины к женщине, то теперь, посмотрите, наоборот — она любит, решает, поступает первой). Вот из-за всего этого живется нам конечно же тяжелее. Впрочем, как и женщинам, бывшим до нас, будущим когда-нибудь после нас. И что ж на это роптать, обижаться? Это все равно, что упрекать саму жизнь.

Конечно, и современная (внутренне эмансипированная) женщина может оказаться на краю отчаяния. Но ей и в голову не придет, что всю жизнь теперь следует посвятить мести. Совсем иначе ощущает она мир и себя в нем, и оттого открывается перед ней гораздо больше вариантов челове-

ческого выхода из тупиков любви. Усилием души и воли она что-то заморозит в себе, что-то сожжет и только одного не сделает — последнего шага, разрушающего в человеке достоинство. «Смири гордыню, то есть гордым будь».

А когда включается разум, отступает отчаяние.

\* \* \*

Злоба, ненависть, месть, во-первых, неконструктивны. Зло может рождать в ответ только зло. И пусть странно, непривычно звучит призыв простить, но только в этом возможность выхода из замкнутого круга обиды. Сейчас я расскажу историю, которая сутью своей как бы спорит с «Местью». Она — о любви и прощении.

## ВЕРНУТЬ МУЖА?

Это было случайное дорожное знакомство — мы ехали в одном купе из Крыма. И он, и она мне сразу понравились: какие-то нетипичные курортники. Один небольшой чемодан на двоих, одеты в синие тренировочные костюмы, хотя ей, начинающей полнеть женщине, больше пошел бы сарафан. Но она, кажется, не задумывалась о своей внешности. С короткими пышными волосами, без тени косметики на лице, была она проста и естественна, а еще хороша была тем, что любима (это всегда чувствуется). Ее муж, высокий, русоголовый, видный, как говорится, мужчина, обращался к жене в ласково-насмешливом тоне. Она отвечала полной серьезностью. И была в этом несовпадении какая-то скрытая от чужих глаз игра, делящаяся, очевидно, много лет. В нашем купе с их приходом стало по-домашнему уютно. И я еще подумала: дом —

не столько вещественно-материальное, сколько духовное понятие: люди носят его с собою.

Расставаясь, мы условились когда-нибудь встретиться. Но вскоре, как это часто в суете бывает, я забыла о существовании моих симпатичных спутников. И вдруг год спустя она напомнила о себе отчаянным письмом. Я процитирую письмо со всеми его сентиментальностями и выпренности (разумеется, делаю это с разрешения автора):

«...В нашей семье такая драма, что и жить не хочется. Совестно писать о пресловутом «треугольнике», но что же поделать, если и на моем пути встал этот затрепанный, всем надоевший, но не ставший менее страшным призрак».

Она вспоминала, что их любовь была как солнце, согревала. Сколько трудностей пережито, сколько переездов! Она решительно не понимала, как, почему и зачем могло случиться, что он предал ее.

«...Пишу Вам просто как человеку, а не как корреспонденту. Выслушали меня, и на том спасибо. Об одном прошу у судьбы: пусть бы ушла из моего сердца эта горькая любовь».

Последние слова: «пусть бы ушла... эта горькая любовь» — поразили меня. В письмах о «треугольнике», которые приходится читать, бывает злость, мука, но почти никогда не говорится о любви.

Я представила себе ее, маленькую, растерянную. Как ходит она по улицам своего небольшого городка, где всем все друг про друга известно, ходит и прячет глаза. Мне вспомнились вот эти строчки Ахматовой:

...У меня сегодня много дела:  
Надо память до конца убить,  
Надо, чтоб душа окаменела,  
Надо снова научиться жить...

Я послала ей эти стихи и написала еще много хороших слов. Но что слова?

Ответа долго не было. Мне предстояла командировка в Ленинград, и я решила по пути заехать в их город. Но тут пришел ответ. Она извинялась за первое скоропалительное послание, благодарила за поддержку и сообщала:

«...У нас все хорошо. Муж вернулся, сказал, что не смог без меня жить. Да ведь и я не могу без него. Нельзя зачеркнуть 23 года счастливой жизни. А вот тот черный кусок я из своей жизни вычеркнула и не вспоминаю о нем».

Если раньше происходящее в их семье вызывало просто сочувствие, то теперь эта история заинтересовала меня как корреспондента. Не так уж часто встречаемся мы со счастливым исходом из ситуации треугольника. Я попросила у нее разрешения приехать, обещала, что даже ее муж не узнает о цели приезда. Она ответила, что от него ничего скрывать не умеет, но они посоветовались и решили, что если и в самом деле их история может кому-то пригодиться, то они — ничего, потерпят, «но лучше приезжайте просто в гости, посмотрите наш город, а то ведь скоро мы переезжаем жить на Дальний Восток».

Рискованное, конечно, дело — командировка в семью. Я заранее сказала себе, что статью писать не буду, если почувствую, что это может им чем-то навредить. Но теперь я уже не опасаясь и расскажу все так, как рассказывала мне она.

Когда живешь с человеком много лет, когда тебе интересен каждый его шаг, то по едва уловимому выражению его лица можно читать настроение и даже предсказывать поступки. Она давно заме-

тила, что с мужем творится что-то неладное: стал раздражителен по пустякам, задумчив не ко времени, а то вдруг — беспричинная радость в глазах. «У тебя кто-то есть», — хотелось ей не раз выпалить впрямую, по-бабьи. Но что-то внутри удерживало. Старалась объяснить его странное поведение возрастными причинами: 50 лет — не молод уже.

Однажды, прибираясь в квартире, нашла за книгами пакет с письмами. Первое, что бросилось в глаза: «Дорогой мой, любимый...» — чужим почерком. Она поступила неблагородно — прочла чужие письма. И долго сидела, оглушенная, прямо на полу, среди разбросанных вещей, и квартира, не так давно полученная, их первая благоустроенная квартира показалась ей руинами.

Люди ко всему привыкают. Привыкают к плохому, но привыкают и к хорошему — перестают ценить то, что имеют. Сколько она себя помнит, его любовь была с нею всегда. Они полюбили друг друга, что называется, с первого взгляда, никаких сомнений, что он тот самый, кто нужен, у нее не было. Она бросила хороший город и работу, на которую ее направили после института, оставила отца и мать и уехала за ним на Дальний Восток. Он, моряк, по многу месяцев в году плавал, а она ждала его на берегу. Квартиры не было, и мечтать о квартире было невозможно. Снимали частный домик-временку площадью в 6 квадратных метров, даже кровать сына нигде было поставить — спал в корзине. А зимой за ночь стены промерзали насквозь. Но утром она вставала, быстро затапливала печку, бежала за водой за три квартала. Все это было не трудно, не страшно, потому что был он, хоть и далеко, но рядом. Она ничего не могла делать без думы о нем. Как веришь, что

каждое утро обязательно взойдет солнце, так и она знала, что в назначенный час он появится на пороге, обветренный, усталый и любящий.

Она так натосковалась в годы его плаваний, что потом, когда он перешел на береговую службу, старалась каждый час, да что там час — каждую минуту проводить с ним рядом. Так, пристрастилась к рыбалке, полюбила смотреть футбол и хоккей, научилась получать от хорошего матча наслаждение не меньше, чем от театрального спектакля. Бывало, у себя на Дальнем Востоке они вставали в четыре утра, чтобы посмотреть по телевизору решающий матч, а в восемь уже бежали на работу.

Его интересы всегда были в семье главными. Значит, она под него подстраивалась? Нет. Просто его интересы обязательно становились и ее интересами, а значит, жила она так, как самой ей хотелось.

Его присутствие было необходимо как воздух. Но мы ведь не замечаем, как дышим. Так и она привыкла любить, привыкла быть любимой. Но, может быть, плохо, что привыкла? Говорят, привычка убивает любовь.

Однажды она читала статью одного академика, который утверждал, что семья, как и любая другая система, сама по себе (если ничего не предпринимать) с течением времени может только портиться, ухудшаться, распадаться. В этом смысле, говорил академик, семья, как и все в природе, подчиняется второму закону термодинамики — закону распада. А люди, мол, субъективными усилиями могут только задержать процесс, сделать его менее болезненным. Тогда ее возмутил этот физико-математический «некролог любви», она отмахнулась: не про нас. Теперь с ужасом поду-

мала, что пропустила, не заметила чего-то необратимого.

Мужу о тех письмах она ничего не сказала, и все в доме шло вроде бы по-прежнему, только ей на каждом шагу виделась ложь, ложь. Уменьшительно-ласковые прозвища, в которые раньше он вкладывал столько нежности, звучали теперь как издевка. Он стал слишком тщательно причесываться перед зеркалом, смачивать виски одеколоном, чего раньше никогда не делал. Каждый день она должна была подать чистую рубашку и погладить брюки. И улыбаться, как всегда прежде, улыбаться. Она задыхалась, она не знала, как поступить, что сделать, чтобы спасти семью.

Когда в очередной раз он до двенадцати ночи «задержался на совещании», а она ждала его (так у них было принято — всегда ждать), слезы прорвались сами собой, и она попросила его: «Уйди! Так будет всем легче. Ведь я давно знаю...» — «Что знаешь?» — он изменился в лице, он заявил, что это у нее бред ревности, даже закричал: — Не лезь мне под кожу!»

А на следующий день не вернулся домой. Она осталась одна (сын заканчивал институт в Ленинграде), она могла теперь, не скрываясь, дать волю своим чувствам, могла не участвовать во лжи. Но легче ей от этого не стало. Никак не могла поверить, что все это происходит с нею, в ее жизни. Всего лишь год назад, в Ялте, один старый человек, обедавший вместе с ними за столиком, заметил, что никогда, мол, не видел такой дружной пары и что он им завидует. Да разве только он один завидовал их счастью?!

Их семья всегда считалась благополучной, чуть ли не образцовой. Если ссорились (в основном из-за воспитания сына), то обиды хватало на какой-



нибудь час, не больше. Она не понимала, как это в иных семьях люди могут дуться, не разговаривать день, месяц.

И все-таки чего-то ему дома, очевидно, не доставало. Просто так от жен не уходят. В чем-то, значит, она виновата перед ним. Найти, осмыслить свою вину стало для нее настоящей потребностью. Странное дело: о его вине как-то не думалось. Искала в себе. Может быть, беда в том, что она ревновала его по пустякам? В любой компании он обращал на себя внимание женщин. Ну и что? Надо бы только гордиться, а она огорчалась, и все было написано у нее на лице. Он вспыхивал, говорил, что она относится к нему как к своей собственности, а ему хочется чувствовать себя свободным человеком. И может быть, этот его уход — всего лишь бунт? И значит, она сама спровоцировала его?

Свобода... Сослуживицы на работе, наоборот, считали, что слишком много воли она давала мужу. Их, мол, мужиков, сегодня на привязи держать надо. Вон сколько соблазнов. И она соглашалась: соблазнов много. Но ведь если с той, другой, ему лучше, чем с нею, как можно препятствовать? Все-таки их двое и им хорошо, а она — одна. Простая арифметика показывает, что именно она лишняя, должна отступить, смириться.

Ей советовали: устрой скандал, сходи в партком — надо же спасти семью. В отчаянии, потеряв голову, она уж готова была пойти в партком, но в последнюю минуту опомнилась: что это я? Да о чем буду там просить? Жаловаться на него? Даже старикам-родителям она ничего не написала, не сообщила ни сыну, ни самым близким друзьям — все бы его осудили, не простили бы ему. Сама же она его не судила, жалела: ему ведь тяже-

лее, чем ей. Ее-то совесть перед ним чиста, а у него на душе камень.

Примерно через месяц ее посетила делегация с его работы (соперница тоже работала вместе с ним). Спросили: что же вы к нам не приходите, ни о чем не просите? Не хотите, что ли, вернуть мужа? Мы можем принять меры.

Она испугалась: не нужно мер! «Вы хорошая, благородная женщина», — сказали ей на прощанье и этим сильно ее тогда ободрили.

Если тебя бросает любимый, если любовь твоя не нужна ему, ты начинаешь казаться себе ущербной и жалкой, будто тебя вытолкнули на ходу из мчащегося поезда. В свое время ей не раз приходилось выслушивать исповеди одиноких женщин, и ее возмущало: как можно говорить, думать о себе — «брошенная»? Да разве ты вещь какая, чтобы тебя бросить? Но пережить это самой.. Наверное, ей было бы легче, если б не слышать его, не видеть. Но он время от времени приходил, приносил картошку с рынка, помогал ей — по традиции — красить хной волосы (в последние месяцы она совсем поседела). Был заботлив, как раньше, и это каждый раз с новой силой ранило ее: вот какого замечательного мужа она теряет. Ревности, как ни удивительно, уже не испытывала. Он был для нее *отдельным* человеком, которому не скажешь: ты должен. Да если вдуматься, что он, собственно, ей должен?! И даже сыну не должен — сын уже взрослый, самостоятельный человек.

Порой, в порыве горя, ей хотелось бросить квартиру, работу и бежать вон из этого города, где все мостовые, все скамейки в парках пропитаны ее тоской. В порыве горя она решилась однажды пойти к *той* женщине. Не знала заранее, что скажет, зачем вообще нужна эта унижительная для нее

встреча. Только теперь, издали, она понимает, что шла за надеждой. Ей хотелось убедиться в одном своем подозрении. Женским чутьем она давно улавливала: не так уж счастлив он там.

Соперница оказалась красивой, молодой (лет на 12 моложе ее). Мысленно она даже одобрила выбор мужа. Кажется, Толстой заметил, что существует два стиля отношения к сопернику: одни люди ищут в сопернике только недостатки, другие стремятся увидеть все его достоинства. Она относилась ко вторым и приготовилась к мирному разговору. Но соперница не собиралась откровенничать, сразу пошла в наступление: «Я сделаю все возможное, чтобы он к вам не вернулся. И нечего вам прикидываться хорошей. Вы никогда его не понимали!» Она беспомощно спросила, понимают ли его теперь? Ведь он... Та, другая, перебила: «Но он же вас оскорбил, бросил. Как можете вы говорить о какой-то большой любви?»

Он вернулся домой через три месяца. Она ему, конечно, разрешила вернуться, хотя чувствовала, что еще рано. Он не успел еще переболеть, двойная жизнь продолжалась. И это было невыносимей, чем раньше. Он был рядом, но был совсем чужой, он все еще продолжал делать выбор, и она боялась помешать, вспугнуть. Окончательное решение он должен был принять сам, только сам.

Многие знакомые возмущались: «Где же твоя гордость!» А она решительно не понимала, при чем тут гордость. Ну, вот случилось такое... Может быть, это самое тяжелое испытание, которое выпало на их долю. Это — как болезнь, и нужно переболеть вместе. И неужели она должна становить-

ся в какую-то позу и еще больше отравлять мужу жизнь?

А он ушел снова. И снова она его не удерживала, ни в чем не упрекнула.

Да что ж это за долготерпение, смирение такое?— может удивиться читатель. Я тоже удивлялась. Мне вспоминались конечно же те письма одиноких женщин, где кипят страсти сродни шекспировским.

Ну а ей-то неужели никогда не хотелось отомстить?

Как же, было. Она лежала в то время в больнице, и врач убеждал ее, что такими страданиями она окончательно подорвет свое здоровье: «А вы постарайтесь уверить себя, что он вас недостоин»,— советовал врач. Она попыталась... Вечером, лежа в неудобной больничной палате, она восстановила мысленно всю цепочку его лжи и предательства и впервые испытала к нему презрение. Кстати, это была единственная за долгие месяцы ночь, когда она уснула спокойно.

«Значит, ненавидеть легче, чем любить?»—спросила я. Она улыбнулась: еще бы! Ненависть, как и любое темное чувство, наползает сама, а любовь нужно в муках удерживать. Впрочем, ее-то презрения и ненависти хватило на один день, а завтра она снова выглядывала в окно: не идет ли? Сама запретила ему приходить, звонить, писать письма. Хотела, чтобы он резко почувствовал ее отсутствие в своей жизни? Нет, пожалуй, все проще: она всего лишь хотела выжить, спасала себя от напрасных изнуряющих ожиданий. Если знать, что он может прийти и позвонить, то каждую минуту будешь ждать. Впрочем, и зная, что он прийти не должен, все равно ждала. Вот как трудно любить.

Был, правда, еще один момент, когда она поже-

лала ему страшного зла. У соседки по палате умер муж, она видела, как сокрушается эта женщина, всем сердцем сочувствовала ей, а про себя вдруг подумала: лучше бы и мой умер, тогда бы не было предательства. Вот до какого края доходила! Хорошо еще, что не высказала те свои мысли вслух. Одна старая мудрая женщина в свое время учила ее: «Никогда не говори человеку такого, о чем потом можешь пожалеть».

Во второй раз он вернулся очень скоро. Позвонил по телефону: «Я написал реферат, можно тебе прочесть?» Впоследствии с этим рефератом его пригласят в Москву на семинар, и она тоже поедет с ним и услышит, как руководитель семинара будет советовать ему: «Излагайте свои мысли просто, чтобы даже ваша жена могла понять». Он рассмеется: «Жена-то меня первая поймет». (Есть такая любопытная деталь в биографии этой семьи: на старости лет закончили они вместе вечерний институт, получили вторую, одинаковую специальность.)

«Конечно, приходи, прочти», — ответила она, и пока он ехал домой, стояла держась за стену, как вкопанная. И снова ни в чем его не попрекнула, приняла так, будто он просто вернулся с работы: «Ты устал, отдохни». Ни одного разговора о прошлом у них так и не было. Говорили только о будущем: решили осуществить давнюю мечту — возвратиться на свой Дальний Восток. Сын получил туда распределение. Оставалось поменять квартиру.

Я застала их буквально на чемоданах. Все вещи, упакованные в контейнер, уже ехали где-то к Тихому океану. Контейнер, вмещающий весь

нажитый ими скарб, оценили в восемь тысяч рублей (всего-то накопили за жизнь!), и в основном это стоимость книжек (у них библиотека более тысячи томов). В пустой квартире по углам стояли раскладушки, посреди комнаты какие-то ящики, исполнявшие роль и стола, и стульев. Такая «безбытная, напоминающая чем-то студенческую жизнь для них — было видно по всему — дело привычное. «Материальная сторона жизни нас никогда не волновала».

Мы ходили в лес под дождем («Люблю любую погоду!» — заявила она), бродили вдоль залива, побывали, кажется, во всех примечательных местах города, и она говорила, говорила. Выговориться ей, конечно, хотелось. Он шел обычно поодаль и лишь изредка оглядывался. Она тут же старалась улыбнуться ему сквозь слезы. Он ничего не должен заметить. «Я до сих пор отношусь к нему как к больному». А он, береженный, и не подозревал (или делал вид, что не подозревает?), о чем ведутся за его спиной разговоры. Был шутлив, заботлив, покладист. Рядом с ними было легко и весело, было свободно на душе.

Вот какой счастливый конец у этой грустной истории. А мог ли быть иной? Впрочем, она мне рассказывала, что ей до сих пор снится один и тот же страшный сон: будто они отправились вдвоем на рыбалку, пробуравили толстую льдину, и рыбы пошли косяком. Они так увлеклись, что не заметили: лед тронулся, раскололся и вот уже трещина пролегает между ними и его уносит, уносит... Подобный случай был когда-то на Дальнем Востоке, и ей в самом деле пришлось спасти мужа. Ну а во сне льдины несутся слишком быстро, она кричит, но сама своего голоса не слышит, и каждый раз неизвестно, каким будет конец.

В самой постановке вопроса «как вернуть мужа» есть вроде бы некая меркантильность, словно бы отсутствует интонация духовности. Ну а если поставить вопрос иначе: «как вернуть любимого?» или даже точнее — «как остаться любимой?» Я далека от попытки изобретать рецепт. Несмотря на похожесть драматических семейных коллизий, они и по сути своей, и по исходу всегда несхожи.

Чтобы поставить эту по-своему уникальную историю в ряд других, куда более частых, чтобы извлечь из сравнения какие-то общие уроки, я рассказала о ней в консультативном центре психологической помощи семье. Заведующий центром доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук В. В. Столин расспросил меня о многих деталях, а потом сказал:

— Если вспомнить статистику разводов, этот случай, что и говорить, не типичный. Рекомендовать его как эталон для подражания было бы, конечно, наивно. Исход в подобных случаях зависит от множества самых разных, порой непредсказуемых причин. А здесь мы ведь даже не знаем мотивации второго супруга — муж остается для нас какой-то загадочной тенью. Впрочем, понимаю: самое интересное здесь — поведение женщины, ее личность.

В ситуации «муж ушел к другой» существует, как правило, две стратегии поведения. Первый, к сожалению, наиболее распространенный вариант — воинственно ненавидящий: вернуть мужа любой ценой, причем не столько он сам нужен, сколько важна победа над ним и над соперницей.

Второй вариант поведения можно назвать «обострение любви». Да, угроза разлуки весьма часто

обостряет чувство. Но и любящие ведут себя по-разному. Некоторые женщины стараются стать краше, симпатичнее, пытаются заново поправиться и угодить — подают мужу шлепанцы и усиленно пользуются косметикой. Но—увы! — такие попытки далеко не всегда бывают оценены мужчиной, чаще он воспринимает все это как жалкое и ненужное. Ну а другая женщина, как описано в этой истории, находит в себе силы принять ситуацию во всей суровой реальности, смириться с тем, что сейчас она не любима, но сама не перестает любить, предоставив мужу свободу выбора.

Конечно, она рискует. Несмотря на все ее благородство, финал мог бы оказаться другим, несчастливым, и пережить это ей было бы гораздо больнее, чем другой, ненавидящей женщине. Та хоть в чем-то сама виновата, а эта вела себя идеально и все равно оказалась ему ненужной. С житейской точки зрения эта смирившаяся, все прощающая женщина выглядит слабой. Но психологически выигрывает именно она, независимо от результата — вернулся муж или остался с другой.

Что же она выигрывает?

Во-первых, не зачеркивает свое совместное с мужем прошлое, сохраняет и для себя, и для него возможность обращения к этому счастливому прошлому. (К сожалению, многие люди в ситуации конфликта ведут себя так, будто ничего хорошего в их совместной жизни нет и не было, а есть только один этот конфликт, только ненависть и предательство.)

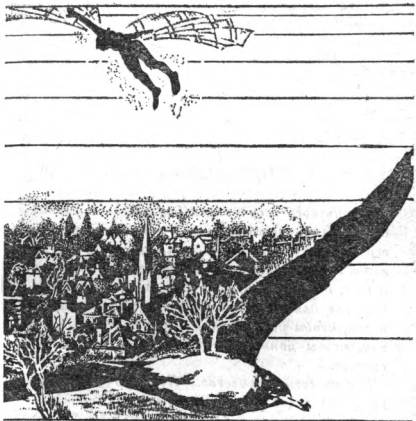
Второй ее выигрыш — сохранила человечность и положительную эмоциональную связь, не спровоцировала мужа на ответную агрессию. Ведь если человеку навязывают какой-то выбор, в нем возрастают силы отталкивания. Вернуть мужа воп-



реки его желаниям и чувствам, может быть, иногда и удастся, но любить насильно никого не заставишь, и в таком случае установится только формальная видимость семьи.

В-третьих (и это самое главное), она не уронила своего достоинства, не изменила себе, не совершила шага, за который ей потом было бы перед собой стыдно.

Действительно, ненавидеть легче, чем любить. Ненавидя, снимаешь с себя ответственность, все недостатки и вину приписываешь другому, обеливаешь себя, самоутверждаешься и... разрушаешь. Разрушаешь не только мосты, связывавшие тебя когда-то с этим человеком, но разрушаешь что-то дорогое в себе. Ну а любовь, какой бы ни была она горькой, всегда содействует росту личности, всегда строит...



---

## *Глава шестая*

---

*Всем ли быть творцами?*

*Жизнь есть творчество... Эту мысль в разных вариациях я слышала почти от каждого из своих героев. С радостью обнаруживала: самые разные люди испытывают похожие чувства, и приходят к ним, оказывается, одни и те же мысли. И открывала для себя, что наука жизни состоит не в том, чтобы узнавать все больше и больше, а в том, чтобы понять что-то небольшое, но крайне важное.*

*Жизнь есть творчество... Нет, это не просто красивые слова. Они имеют реальное, практическое значение в судьбе каждого из нас. И можно ли стать воистину человеком, не докопавшись до самой глубины этой обязывающей истины?*

## ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ ДИСКУССИИ

Приглашаю сейчас читателя принять участие в одной дискуссии, которая целый год шла на страницах «Литературной газеты». Дискуссия так и называлась: «Всем ли быть творцами?» Началась она с такого письма:

«Уважаемая редакция!

Замечаете ли вы, каким расхожим, каким модным стало сегодня слово «творчество»? Недавно, например, в одной статье я прочел, что по-настоящему обучить школьника может, оказывается, только педагог, охваченный постоянным творческим рвением, соединяющий в себе лучшие качества Макаренко, Сухомлинского и прочих великих. Выходит, плохо дело нашего всеобуча — ведь таких педагогов в природе почему-то не пруд пруди... Да и не каждый писатель, согласитесь, объединяет в себе лучшие черты Толстого и Пушкина. Периодически раздаются сетования на отсутствие творческого горения у врачей, учителей, инженеров, а также представителей других «интеллигентных» профессий. Инженеров же прямо-таки побуждают к творчеству, настоятельно рекомендуя принимать так называемые «творческие планы»...

«Твори, выдумывай, пробуй» — разве это не естественно, разве это не хорошо? Хорошо, конеч-

но. Только творчество творчеству рознь. Я знаю, как надо бы творить, примеры мне давно указаны: Шухов, Эдисон, Тесла... Да ведь таких настоящих творцов — раз, два и обчелся. А в их кильватере были сотни заурядных технических исполнителей. Толковых, добросовестных, но освобожденных от тяжелой необходимости влезать на непосильную для них высоту творческой мысли.

Зачем же меня насильно тянуть в творчество? Чтобы возбудить бескрылые желания? Нет уж — коль запоет душа, так запоет, а что же ее зря подстегивать? Не каждому дано прыгнуть выше себя.

Рожденный ползать летать, как известно, не может. Обидно конечно, что рожден ползать, да так ли уж сильно мы обижаемся? Ведь летают-то единицы из тысяч. Так что компания у нас, у «ползунов», обширная и почтенная.

Кто они, большинство сегодняшних учителей, врачей, юристов, инженеров? Кем они должны быть? По званию, по должности, по сути? Кто я?

Про себя я знаю: я — чиновник. Недавно подумал: а чем я отличаюсь от Акакия Акакиевича из «Шинели»? Конечно, я образованнее, свободнее, но работаю я ради жалованья, чтоб прокормить семью, детей. И главное в моей работе — исполнение отнюдь не творческих обязанностей. Иной раз и не хочется прикидываться творцом, а куда денешься? Положение обязывает: инженер...

Вот пишу вам и знаю, что у вас по канцелярской форме письмо обработано будет, а живым диалогом разве всякого удостоишь? Я понимаю. Я сам чиновник. И готов встретить таковых в любом учреждении. Нельзя без них. Не получится. Семья, дети...

В. А., инженер».

Публикуя письмо в том виде, как оно пришло в редакцию — ершистое, противоречивое, вызывающее по тону, — мы не сомневались, что читатели захотят удостоить инженера А. живым диалогом. Тема, которую поднимает автор, конечно, не нова, но она непрестанно волнует людей: каждый ли из нас может и должен быть творцом?

С одной стороны, понятно, что создание чего-то принципиально нового доступно не всем. Ну а с другой стороны, знаем же мы, что в самом простом, черновом деле человек может проявить красоту таланта и души, испытать чувство большого удовлетворения.

От чего же зависит момент творчества — от интеллигентной или неинтеллигентной профессии (бывают ли такие?), от благоприятных условий, от характера дела или от характера и качеств самого человека? Каждый ли способен прыгнуть выше самого себя?

Задуматься над этими вопросами редакция и предлагала своим читателям.

Пошли отклики, и сразу резко обозначились полюса мнений. Часть авторов на вопрос дискуссии «Всем ли быть...» отвечали отрицательно: талант, мол, как деньги — или он есть или его нет, и выше своего потолка не прыгнешь, так что нужно смотреть на вещи реалистически, нечего, мол, себя обманывать и т. д.

Большинство же читателей, приславших отклики, были абсолютно убеждены, что творчество доступно каждому — буквально каждому! — человеку, кем бы он ни был, каким бы делом ни занимался. В доказательство этого авторы приводили примеры из своей жизни, ссылались на опыт других людей. Было особенно дорого, что читатели, отвечая на вроде бы теоретический вопрос, при-

меряли его к себе лично и не в абстракциях, а в конкретной окружающей действительности иска-ли ответ.

### Строки из писем

«...Человек живет в обществе людей, где все предельно взаимосвязано, и если кто-то не хочет тратить силы на творческую инициативу, этим он так или иначе обкрадывает тех, кто рядом». (Н. Бирин, Минск).

«...Человек не может не творить. Если нет условий для творчества на работе, он ищет какое-то хобби дома, если и дома ему не удастся себя проявить, ищет какой-то другой выход из животной скуки. Кстати, алкоголизм очень часто вызывается тоской по творчеству». (Л. Качурин, Свердловск)

«...В действительности творческий дар специфичен: гениальный композитор мог бы оказаться бездарным инженером, и наоборот. А вот наша система приема в вузы не выявляет индивидуальных способностей». (К. Михневич, Горький)

«...Я без конца твержу своим детям: «Лучше быть хорошим дворником, чем плохим инженером». Я убеждена, что в каждом человеке есть творческое начало, но проявится оно или нет, зависит от того, свое место занимает человек в жизни или чужое». (С. Винаковская, Орел)

«...Так что же такое творчество? Неужели просто самостоятельность на рабочем месте, просто необязательная «отсебятина»?». (С. Царьков, Москва)

В дискуссии приняли участие многие писатели, ученые, деятели культуры и искусства, заслуженные рабочие. На первых порах главной целью дискуссии было — понять, услышать, как звучит проблема творчества в нашей повседневной жизни. Оттого-то публиковалось много писем. Впоследствии наступила пора проанализировать разноголосицу мнений, предоставив слово специалистам, исследующим проблему творчества.

В нескольких письмах в число желаемых собеседников был предложен философ Феликс Михайлов, автор книги «Загадка человеческого Я». Например, студент В. Курбатов из Новосибирска писал: «В книге Ф. Михайлова идет речь о *природе* творчества, причем автор доказывает, что истинно человеческое бытие есть непрерывный творческий процесс».

## ВСТРЕЧА С СОБОЙ

Философ Ф. Т. МИХАЙЛОВ:

«Творчество... это и есть душа человека, непрерывно меняющаяся, растущая, создаваемая — оттого и живая!»

— Очевидно, Феликс Трофимович, вопрос «все ли быть творцами?» звучит для философа несколько прямолинейно (кое-кто из читателей считает, что поставлен он претенциозно). Тем не менее хотелось бы сразу же задать вам этот вопрос, чтобы выяснить систему координат нашей беседы.

— Я потому и согласился участвовать в дис-



куссии, что предмет разговора (дело не в его словесной формулировке) представляется мне чрезвычайно важным. Ведь, по сути, речь идет о самой волнующей проблеме философии: что такое человек? В чем его истинно человеческая сущность?

Она конечно же в творчестве. Человек тем и отличается от животных, что способен сам строить свою жизнь, предвидеть будущее, что обладает он свободой воли и совестью. И конечно, каждый человек (исключая случаи крайней патологии) рождается с потенциальной готовностью абсолютно ко всем видам человеческой деятельности, то есть буквально каждый из нас мог бы стать и художником, и музыкантом, и политическим деятелем.

— Значит, человек уже потому творец, что он *Homo sapiens*? В человеке, что ли, от рождения заложен инстинкт творчества?

— Ничего подобного. Никакими особыми в отличие от животных инстинктами природа человека не наградила. Без помощи взрослых ребенок не научится не то что говорить, но даже прямо ходить, а будет ползать на четвереньках. И творцом, и человеком в полном смысле этого слова каждый из нас становится (или — увы! — не становится) в течение всей своей жизни, решая (или не решая) задачи, которые ставят перед каждым объективные обстоятельства. А в момент рождения ребенок, как говорится, сплошная потенция: может быть сколь угодно талантливым в какой угодно сфере, но никаких готовых талантов в нем нет.

— Потенция... Кажется, в переводе с латыни слово «*potentia*» означает: сила, мощь? Распространено мнение, что стать творцом может толь-

ко личность сильная, пробивная. А люди, не умеющие идти напролом, рефлексирющие, обречены, значит, «ползать»?

— Позвольте, позвольте. Рефлексия — как раз то, с чего начинается и личность, и творчество (к рефлексии мы еще вернемся). А сейчас хотел бы подчеркнуть: когда мы говорим о потенциальных способностях человека, это не просто красивая теория, и напрасно некоторые понимают потенцию как некую абстрактную возможность, нет, это реальная сила человеческой природы, которой каждому родившемуся предстоит овладеть. Насколько властно он сумеет это сделать, зависит, конечно, от множества причин, но исходить мы все-таки должны из того, что человек сам ответствен за себя.

— Пусть в идеале каждый из нас мог бы стать творцом, но видим же мы, что становятся далеко не все и многие — отнюдь не по своей вине. Читатели (некоторые — с обидой) пишут, что есть профессии творческие, а есть нетворческие и что не нужно путать творчество как таковое с творческим отношением к труду. Есть, мол, Моцарты, а есть и Сальери... Один инженер из Москвы упрекает редакцию: «...ваша дискуссия о творчестве превратится в пустое словоговоренье, если вы будете повторять банальную и, прямо скажем, обманчивую мысль о том, что каждый, абсолютно каждый на своем скромном, пусть незаметном месте, занимаясь черновым, но таким необходимым обществу трудом, может, мол, и должен творить, летать и т. д...»

— По-моему, спор о том, у кого какие гены и чья профессия престижнее, не только бесплоден, но просто сразу же заходит в тупик. О чем тут, собственно, спорить? Дискуссия эта имеет смысл

в том случае, если рассматривать творчество как понятие нравственное.

Вы вот говорите: Моцарт и Сальери. А я предлагаю вам вспомнить человека более скромного — чеховского Астрова из «Дяди Вани». Астров — врач, живущий в одно время с великим Боткинским, но никто почему-то не сравнивает его с Боткиным. Астров *по-своему* талантлив, неповторим, ярко талантлив в деятельном отношении к людям и к их будущему.

И пусть мы не можем сегодня устранить репродуктивные нетворческие профессии, но с полной ответственностью мы можем говорить, что человек любой профессии всегда находится в сфере общения. Тот же рабочий у конвейера, выполняющая однообразные движения, имеет дело не только с автоматом, но трудом своим и всей своей жизнью он выходит к людям. Круг общения каждого из нас становится сегодня все более широк. Как входит в него человек, в чем цель его активной связи с людьми: в них ли самих или всего лишь в вещах и благах, которые эти люди производят и распределяют, — вот в чем вопрос.

— Еще Экзюпери писал: «Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека». Вы, кажется, говорите о том же. И если исходить из этого, то получается, что жизнь каждого из нас есть творчество?

— Пожалуй... Правда, иной так уродует свою жизнь, что кажется, совсем отказался он от своей человеческой сущности, забыл ее, растоптал. Но вот приходит минута, и вдруг он, пропащий, совершает подвиг. Человеческая природа противоречива. Даже опустившийся человек интуитивно чувствует, что мог бы быть иным, и вот пытается вырваться из рутины. Или другой пример: чело-

век настолько применился к обстоятельствам, что творческий момент в его жизни вроде бы отсутствует,— о таком говорят: «ползает». Но ведь и он, не ведая того, творит: конформизм требует порой такой изобретательности, таких хитрых трюков, какие настоящему творцу и не снились.

— Но это уже будет творчество со знаком минус?

— Совершенно верно.

— Простите, но не кажется ли вам, что мы увлеклись метафорами, гиперболами, а читатели ждут от философа четкого определения понятия «творчество».

— Не люблю жестких формулировок, но если уж нужно, попытаюсь... По-моему, творчество — это способность человека видеть в мире то, чего еще в нем нет, но что может быть, если человек приложит усилия. Знаете, когда я читал материалы дискуссии, меня поражал сам подход к вопросу. Большинство авторов считают природу человека чем-то застывшим, раз навсегда данным. Будто человек — механическое устройство, вещная структура, которой присущи (или не присущи) такие функции, как одаренность, талантливость... Творчество тоже рассматривается как некая функция...

— Мне кажется, острие спора в другом. Участники дискуссии разделились на оптимистов и скептиков. Первые считают, что творчество доступно каждому человеку и все зависит от правильного воспитания, от создания условий для творчества. Ну а скептики утверждают, что творческий дар немногим дан, что все — от генов.

— Увы! Спор о природе человеческих способностей идет не первое столетие. Мне хотелось бы отослать читателей к знаменитой полемике Дидро

и Гельвеция. Там, представьте, есть места, почти дословно совпадающие с дискуссией на страницах «ЛГ». Правда, спор там ведется более изощренно, но и более яростно—великие французы сражаются, как мушкетеры на шпагах, наносят друг другу порой разительные удары, стремясь дойти до самого доньшка этой волнующей проблемы.

Да и впоследствии не раз возникал этот спор, и спорившие, как и в нынешней дискуссии, делились обычно на две группы. Одни говорили, что все достоинства человека и все недостатки даются ему от природы (сейчас это называется генофондом), другие, наоборот, считали, что человек приходит в мир «чистой доской» («*tabula rasa*»), на которой общество рисует свои узоры. В современной науке сохранились две эти крайности, называются они соответственно: биологизация и социологизация природы человека. Вроде бы полярные точки зрения? Но та и другая словно утверждают: от самого человека ничего не зависит, все в его жизни предопределено.

— Но это — у философов, а остальных людей все-таки волнует не столько природа творчества, сколько мера собственной к нему причастности.

— Не согласен! Человеку вовсе не безразлично, какова же природа его способностей, его души. Ведь если мы остановимся на том, что у человека, мол, гены, у человека социум, у человека какие-то другие структуры, которые все расставили по полочкам, то самому человеку, получается, можно успокоиться и занять место на лежанке. А вот не может он, ему философская совесть (она есть у каждого) не дает успокоиться, это и заставляет вступать в такого рода дискуссии. Не может человек смириться с положением «винтика».

Посмотрите, даже те читатели, которые пишут о себе, что они не творцы и что это их якобы не волнует, не замечают одной тонкости: ведь в диалоге со своими противниками они потому и негодуют, потому и сердятся, что страстно хотят изменить свое существующее представление о действительности, в частности — о творчестве, и тогда им станет жить спокойнее. Но ведь это и есть обратная сторона той самой общечеловеческой тенденции к изменению мира, которая и заставляет, внутренне побуждает человека летать, прыгать, а не ползать.

— Вы обещали вернуться к вопросу о рефлексии...

— Ну, как известно, рефлексия — это критическое отношение человека к себе, к своей жизни. Почему я говорю, что с нее, с рефлексии, начинается и человек как личность, и творчество? Дело в том, что это свойство только человеческой психики — умение посмотреть на себя со стороны, то есть глазами другого человека. Проблема «другого» возникает в жизни каждого из нас с того самого момента, как мать впервые подносит соску или ложку к губам младенца — тем самым она учит нас жить по-человечьи, то есть она становится первым посредником нашего общения с миром, живым образом культуры, который, собственно, и одухотворяет наше физическое существование. Мы начинаем видеть по-человечески и слышать человеческим ухом только потому, что между этими нашими органами и предметом стоит другой человек, который видит в этом предмете не только его материальность, но и его значимость в жизни людей. Все предметы культуры, начиная от ложечки и кончая Джокондой, существуют для каждого из нас только благодаря человеческому

общению и оттого-то являют собой феномен духовности. Это ясно с Джокондой, но не всем ясно с обычной ложкой. А ведь и она, ложка, организует жизнедеятельность ребенка как содействие и сочувствие людей друг к другу.

Я говорю о том, что человек — существо историческое, культурно-историческое, и поэтому способ, которым он воспринимает предмет, — не какая-то готовая данность, во все времена присутствующая *Noto sapiens*, а живая, развивающаяся способность. То есть человек есть существо, которое ставит между своей жизнедеятельностью и предметами этой жизнедеятельности не структуру своего тела как таковую, не то, как он устроен, а историю культуры, воплощенную в предметах, в способах обращения с ними, в общем, то, что можно назвать формами и способами общения. Тут вот что интересно: человек между собой и природой всегда ставит другого человека и не потому ставит, что ему так хочется, а просто он сам бы не стал человеком, если бы между ним и воздухом, и водой, и едой, и вообще всем миром его элементарной, физической жизнедеятельности не стоял бы другой человек.

В «другом» я вижу себя, своими движениями повторяя целесообразный образ его действий. И потом, в его отсутствие, я способен критически оценить и изменить свои действия в соответствии с образом совместного общезначимого действия. В меня как бы переселился этот «другой». Вот ведь в чем эффект: я отделяю себя от собственной жизнедеятельности, умею посмотреть на себя со стороны. Чем это вызвано: какой-то комбинацией нейронов? Нет. Хотя без нейронов меня бы, конечно, просто не существовало.

— Вспоминаю сейчас разговор с одним пожи-

лым человеком. Он рассуждал о риске, о подвиге и сказал, что подвиг есть особая потребность души. Я спросила: «А что такое душа?» Он ответил: «Это — пространство внутри человека, которое заселено другими людьми».

— Прекрасно сказано. Я бы еще добавил, что в этом пространстве оживает время, прошлое и будущее. Кто они, собственно, есть, эти другие, переселившиеся в мое «я»? Это и моя мать, это и Пушкин, это и незнакомый мне человек ХХI века, то есть все-все, с кем я был связан духовным общением и кто в дальнейшем какими-то ниточками будет связан со мной. И нет здесь никакой мистики. Просто человек — орган культуры, символ культуры, которая так или иначе в нем персонифицирована. Человек только потому и душой обладает, что находится в постоянном, ни на минуту не прекращающемся общении с другими людьми (общении не в смысле разговора, а в том смысле, что просто без другого я и подумать-то ничего не мог бы).

— Простите, но разве общение с людьми не есть влияние среды, то есть та пресловутая внешняя наследственность, против которой вы восстаете?

— Нет, общение — двусторонний процесс, диалог. Диалог человека с другими людьми. Но — и с самим собой. Здесь вот какой важный нюанс: поскольку на свои действия человек всегда смотрит и глазами другого, он сам может контролировать, корректировать, направлять свои действия, может не подчиниться объективной логике обстоятельств («...обстоятельства изменяются именно людьми...» — это по Марксу) и может искать выхода за их границы. Такого выхода, которого нет и не было в мире, но который может появиться



ся, если человек проявит свою свободу воли — найдет и создаст новые способы деятельности, новые формы общения, а это, кроме всего прочего, означает — найти, сотворить в себе нового человека.

— Можно обывательский вопрос? Если никакой наследственности не существует, почему же у великого композитора рождается сын — талантливый музыкант, а, к примеру, у моего сына, как и у меня, нет музыкального слуха?

— Ответчу на вопрос вопросом: почему я, например, занимаюсь наукой, в то время как мой отец так и остался бы крестьянином в глухой уральской деревушке, если б не революция, сделавшая его, почти мальчишку, красным командиром? После революции он был юрисконсультom в Чимкенте, потом — начальником цеха на заводе. Но у меня-то откуда склонность к науке? Можно задавать еще десятки вопросов, приводить сотни взаимоисключающих примеров, однако они еще ничего не доказывают.

Впрочем, я ведь и не говорю, что наследственность ничего не значит. Каждый человек несет в себе продолжение физической, телесной жизни своих родителей, в частности, наверное, наибольшую предрасположенность к тем видам труда, которым испокон веков занимались его предки, — результат наследственного закрепления одностороннего развития целых поколений. Общественно-историческое разделение труда складывалось тысячи, десятки тысяч лет и не может, разумеется, исчезнуть за какие-нибудь полвека. Живого, реального индивида нужно воспринимать не как «точку отсчета», а как результат всей протекшей до сих пор мировой истории. Нужно трезво отдавать себе отчет: мы не пришли еще к бесклассово-

му обществу. Существует класс рабочих, крестьян, прослойка интеллигенции. Грани стираются, наше общество прилагает к этому массу усилий, однако социализм — лишь процесс преодоления общественного разделения труда, но еще не достигнутый результат.

— Скептики говорят, что призывать всех к творчеству — значит возбуждать бескрылые желания, делать несчастными тех, кто мог бы прожить спокойно и благополучно без дум о творчестве.

— Меня возмущает такая позиция. Она — элитарна и безнравственна. Нравственность — это когда один человек равен другому. Конечно, надеяться на то, что сейчас по призыву все одинаково проявят себя в творчестве, — утопия. Но задача наша, общее наше дело как раз и заключается в том, чтобы целенаправленно и активно, говоря словами Маркса, менять обстоятельства, до сих пор еще мешающие свободному развитию каждого. И, к счастью, всемогущий закон человеческой генетики таков: любой из нас, даже несущий тяжелый наследственный груз поколений, развивавшихся односторонне, однобоко, частично, может все это сбросить, если найдет в себе нравственные силы бороться за изменение обстоятельств своей жизни и тем самым за самоизменение.

Конечно, это нелегко. Порой это выглядит как трагическое столкновение, причем столкновение как с реальными другими (индивидом, группой), чьи интересы может задеть предстоящая ломка устоявшегося, так и с «другим» в самом себе, то есть со своим старым «я». Дискомфортная ситуация, что и говорить. Но если я остановлюсь от страха за свое благополучие, если заглушу мою

совесть, которая там где-то попискивает, то я перестану быть свободным — заглушу в себе человека. Вот и получается, что у совести нет выбора, что свобода воли есть осознанная необходимость изменения обстоятельств своей жизни. Быть самим собой — это значит все-таки выходить из себя: то есть проявить свое творчество в предметном мире для других я могу, только меняясь сам. Но что самое важное — тем самым я меняю и других людей.

— Ну а если человек и не пытается выйти, прыгнуть выше себя?

— Между прочим, умереть можно и при жизни. Духовная смерть, пожалуй, страшнее физической. Она наступает, если человек застыл на какой-то точке (кочке) своих неудач, если он на весь мир озлобился и не ведет уже диалога с миром. Бездуховность начинается с того, что человек подменяет свой внутренний диалог с другими людьми диалогом с предметами. Я становлюсь, значит, настолько беден, что и говорить мне с собой не хочется, все мои беседы с собой — это беседы о вещах, о каких-то совершенно внешних в человеческой культуре предметах. Даже тогда, когда я думаю о нейтронной бомбе или о каких-то сверхъестественных физических явлениях (летающих тарелках, например) со знанием дела или без оногo, я беседую с ними, предметами, а не с людьми, если при этом не ставлю вопрос: а зачем это нам, людям, нужно? Не разрушит ли этот предмет, явление нашу культуру? Если нет такой мысли, значит, все люди для меня только лишь *средство* отношения к этой вещи, явлению. Тогда и получается, что действую я, как велела природа или судьба, а сам уже ни за что не отвечаю.

— Отсюда и возникает то страшное «все дозволено»?

— Да, в свое время эта проблема мучительно осознавалась Достоевским. Помните, герой Достоевского Дмитрий Федорович Карамазов узнает, что где-то там в Европе есть ученый Клод Бернар, который доказывает, что человеческая душа есть всего лишь собрание молекул, каких-то запятых с хвостиками, и что все-все происходящее с человеком объясняется теперь естественным путем и отсюда вытекает эта страшная формула: «все дозволено», ибо человек не отвечает ни за что, за него отвечает природа — так уж он устроен... И вот Достоевский с присущей ему страстью выплескивает на читателя эту ужаснувшую его идею рационализации мира. Я часто вспоминаю неистовый крик Мити на суде. Помните, как он кричит: «Бернар! Бернар!» Этим собирательным именем он как бы посылает проклятие всем, для кого человек — просто материальная структура, свойства и способности которой предопределены природой или обществом — это сейчас не важно. Важно, что у человека отнята свобода воли, свобода выбора. Он уже не несет в себе мучительную сложность мира, культуру, будущее свое и других людей, и значит, можно поднять руку на другого человека или просто посмотреть на него пустым взором, видя в нем только вещь или средство.

А если мы все-таки будем исходить из того, что человек сам ответствен за себя, что ссыла на нетворческие профессии еще не оправдание ползания, что главное для человека — отношения с людьми, благодаря которым он обретает свою душу, — мы можем тем самым спасти человека от пассивной позиции в жизни и тогда, только тогда

имеем право спросить с него, творец он или «ползун».

### Строки из писем

«...Суть творца — в самовыражении. И вместе с тем без чувства гражданственности настоящее творчество невозможно». (В. Ромов, Челябинск)

«...Самое страшное в жизни — успокоенность. Сытый человек не станет творцом. Сытые люди — это те, которым «ничего не надо». Хоть у них и нет ничего за душой, а они собой довольны». (Ю. Поташман, Нальчик)

«...Творческих людей не надо особо открывать, искать. Просто не следует их, этих людей, затираť — они нестандартны, и беда в том, что это часто и является почвой для их гонений». (А. Шевкун, Кировская обл.)

Более 600 откликов — такой оказалась почта дискуссии. Заклѹчить разговор было решено беседой с известным ученым, социологом и психологом, доктором философских наук, профессором И. С. Коном. Пачку самых последних, свежих откликов я привезла в Ленинград, где живет И. С. Кон.

## ВЫБОР ПОСТУПКА, ВЫБОР СУДЬБЫ

Социолог И. С. КОН:

«Каждый человек... является творцом самого себя».

— Сначала, Игорь Семенович, вспомним, что стало толчком столь долгого и заинтересованного спора: в газете было опубликовано письмо инже-

пера А., который писал: «Ведь летают-то единицы из тысяч. Так что компания у нас, у «ползунов», обширная и почтенная...» Причисляя себя к «ползунам», автор уверял, что его это ничуть не обижает и не печалит. Но скрытый пафос письма говорил об обратном: мучает человека невозможность «прыгнуть выше себя», и ищет он оправдания, утешения. Публикуя письмо, мы ожидали, конечно, что оно вызовет противоречивые мнения, но что реакция будет такой бурной, трудно было предположить.

— Что ж, в ходе дискуссии затрагивались очень важные для каждого человека вопросы. Вопросы о его самочувствии, об удовлетворенности своим трудом, своим местом в жизни. У каждого человека, даже самого благополучного, если он предъявляет высокие требования к себе и к окружающей действительности, всегда есть неудовлетворенность собой и своей жизнью. Это вполне естественное, здоровое чувство. Если бы у какого-то поколения неудовлетворенность исчезла, прогресс общества остановился бы.

Правда, в дискуссии контуры самой проблемы творчества часто терялись, люди в одно и то же понятие вкладывали разный смысл, возникало множество противоречий, реальных и кажущихся.

— Это, наверное, неизбежно. Говорят, даже Альберт Эйнштейн, когда его попросили назвать самый малоисследованный и загадочный для науки феномен, ответил: «Творчество».

— Думаю, смысл и ценность дискуссии в том, что она показывает: сегодня вопросы, связанные с творчеством, реально и всерьез волнуют людей. То есть по мере развития нашего социалистического общества на первый план выходят столь

сложные духовные потребности, как творчество. На уровне личности это осознается как потребность в такой жизнедеятельности, которая давала бы человеку не просто ощущение благополучия, но и чувство полноты, напряженности бытия.

И суть, конечно, не в том, какую роль в формировании творческой личности мы отведем генам, а какую — социуму. Кстати, между генетикой и психологией отношения сегодня гораздо более сложные и более мирные, чем это представляется некоторым участникам дискуссии. Нет такой альтернативы: или наследственность или воспитание. Важно и то, и другое. Самое главное здесь — фактор *развития*, взаимодействия. С младенчества и до старости человек — неповторимый субъект и в то же время — объект воспитания.

— В дискуссии давались десятки определений понятию «творчество»...

— Но большинство читателей справедливо считают, что творческая деятельность это не просто создание чего-то нового, но одновременно и раскрытие человеком своей индивидуальности. Однако такое определение тоже становится явно недостаточным, как только мы начинаем конкретно рассматривать какую-то личность или ее деятельность. Здесь налицо три совершенно разных подхода.

Существенно не только то, *что* и *как* делает индивид, но и то, насколько значима для него самого эта деятельность. Недаром творчество всегда переживается эмоционально, доставляя радость даже безотносительно к достигнутому результату или ожидаемому вознаграждению. Муки творчества, как и муки любви, — радостные муки. Чтобы показать относительность даже такого, казалось бы, совершенно объективного критерия, как

результат творчества, хочу в свою очередь вспомнить пример с Эйнштейном. Когда ученого спросили, ведет ли он дневник для записи оригинальных мыслей, он ответил, что в этом не было нужды, так как за всю жизнь к нему пришла единственная оригинальная мысль и он записал ее в виде теории относительности. Вот таковы критерии творчества были у Эйнштейна.

Но значит ли это, что люди, творческая оригинальность которых уступает эйнштейновской, должны считать себя неполноценными? Нет, разумеется. Каждому — свое. То же — с самим *процессом* творчества. Для человека, который только осваивает какую-то деятельность, то есть работает на дилетантском уровне, все технические приемы новы, и он воспринимает их как творческие, а вот профессионализм ужесточает критерии творчества. Личностная суть творчества непосредственно перерастает в проблему смысла жизни: в чем именно данный человек усматривает этот смысл и от чего получает максимальное удовлетворение.

— И все-таки хотелось бы обсуждать эту сложную проблему ближе к ее житейскому звучанию. Ведь изначально вопрос дискуссии был поставлен читателями так: если творчество есть способ самореализации личности, если оно, творчество, приносит и удовлетворение человеку, и пользу обществу (этого не отрицает, кстати, ни один читатель), то почему же так мало его в моей жизни? Тут и начинаются метания: может, я от природы обречен быть лишь исполнителем? Или же во мне не развили с детства тот творческий дар, который, как утверждают оптимисты, заложен в каждом? Или во всем виноваты обстоятельства, нетворческие условия моей жизни?



— Потому и необходим многосторонний подход к проблеме, что один и тот же человек в разных видах деятельности может быть то творцом, то исполнителем, а, оказавшись в какой-то непривычной ситуации, может открыть в себе совершенно неожиданные свойства и возможности. Вариаций здесь гораздо больше, чем представляется с позиций здравого смысла.

Читаем первое из привезенных мною писем (кстати, автор тоже, как и Кон, живет в Ленинграде).

**Письмо рабочего:  
искать призвание?**

*Я уже прожил значительную часть своей жизни, сталкивался с разным, и то, о чем хочу здесь сказать,— плод моих долгих и серьезных дум. Я люблю свою работу, умею трудиться с отдачей. И все-таки не могу смириться с мыслью, что всю жизнь я обречен делать только это...*

*Мог бы, наверное, выучиться на инженера — хорошо знаком с этой работой, но точно знаю, что и ее мне будет мало. Пусть я — обыкновенный, средний человек, но чувствую в себе силы и способности работать в разных областях. Мне могут сказать: сделай творческим свой досуг. Но у меня и так никогда не было тяги к пустым и бездумным развлечениям. Нет, меня интересует другое: возможен ли сегодня досуг как перемена деятельности? Знаю многих людей, которые чувствуют себя несчастными потому, что не могут реализовать свои способности именно в работе. Как помочь им?*

*Е. Подходов*

*Ленинград*

Что думает по этому поводу социолог?

— Письмо серьезное и важное: человек любит свою работу, сознает ее пользу и вместе с тем ощущает невозможность реализовать в ней свои возможности. Ему тесно. И если даже найдет другое призвание, снова ему будет мало. И он совершенно прав: не может человек полностью самореализоваться в чем-то одном!

Вопросы соотношения труда и досуга очень непросты. Можно ли компенсировать нетворческий труд богатым, разнообразным досугом? Ленинградские социологи во главе с В. А. Ядовым сравнивали трудовую творческую активность (она измерялась объективными показателями труда, инициативностью и самостоятельностью в решении производственных задач) большой группы инженеров — 1100 человек — с разнообразием и избирательностью их интересов в сфере досуга.

Оказалось, что на одном полюсе стоят люди (примерно 30 процентов опрошенных), главную сферу самореализации которых составляет труд, а досуг для них сравнительно второстепенен. Противоположный полюс составляют те, кто главное удовлетворение находит в досуге, для кого «жизнь только и начинается после работы» (таковых оказалось 16 процентов). Оптимальный вариант, когда люди находят глубокое удовлетворение и в труде, и в досуге, составил около 30 процентов. И, наконец, часть опрошенных не нашли себя ни в труде, ни в досуге. И вот что мы видим: вопреки распространенным представлениям, что неудовлетворенность трудом может быть компенсирована досугом, это случается не так уж часто.

Следовательно, заключают социологи, дело не просто в том, чтобы определить компенсаторную роль досуга или же найти прямые связи между

характером работы и типом досуга, а в том, чтобы создать условия, при которых обеспечиваются *равные возможности* для развития разных потребностей и способностей всех людей.

Цель нашего общества — формирование нового человека, всесторонне, гармонически развитого. Но, к сожалению, проблема всестороннего развития личности часто сводится к вопросу о сохранении или устранении специализации, личность рассматривается тогда исключительно как агент производства, и выход видится в том, чтобы именно в этих рамках сделать ее универсальной. Но марксизм никогда не ставил вопрос так узко. Человек реализует себя и в профессиональном труде, и в семье, и в общественно-политической деятельности, и в различных культурных интересах и увлечениях. Причем для разных людей и на разных этапах жизненного пути эти виды деятельности могут иметь неодинаковое значение. Кстати сказать, здесь есть существенное различие между мужчинами и женщинами. Почему, спрашивается, мать, вкладывающая душу в воспитание детей, создающая в доме атмосферу теплоты и праздника, менее творческий человек, чем ее муж-изобретатель? Эта модель «все — в работе» — типично мужская.

— Но на нее у нас ориентируется и большинство женщин, многие страдают потом, что не удастся раздвоиться между домом и работой, или наоборот: женщина и не пытается раздваиваться, главные силы и время отдает работе, и тогда страдает семья. Кстати, интересный нюанс дискуссии: 90 процентов ее участников — мужчины...

— На вопрос об удовлетворенности трудом женщины и мужчины отвечают по-разному. Для

мужчин на первом плане — заинтересованность самим результатом, достигнутый успех. Для женщин — атмосфера, отношения в коллективе. И если он предложит новую модель станка, то она внесет новый человеческий элемент в жизнь коллектива (и это тоже творчество). Одно из главных условий удовлетворенности трудом — чтобы профессиональная роль отвечала особенностям личности, не деформировала ее. Но вовсе не обязательно, чтобы у человека личностным смыслом его деятельности была та, за которую он получает зарплату.

— Простите, Игорь Семенович, но вы-то, работая в Академии наук, именно за творчество и получаете зарплату. И это, конечно, счастье, когда жизнь, работа и творчество становятся чем-то единым. Кстати, во многих письмах встречается мысль о том, что истинно творческим можно считать только тот труд, которым человек стал бы заниматься, если бы даже ему не платили за это деньги. Почему же мы предлагаем людям, не нашедшим себя в труде, какие-то обходные пути для творчества?

— Во-первых, я ничего не предлагал, а просто пытался осмыслить реальные факты. Во-вторых, уже в книге «Социология личности» я отстаивал дорогую мне мысль: человек может самореализоваться не только в профессии, но и через общественно-политическую деятельность, и через приобщение к культуре. Где же здесь обходные пути? Мы ведем сейчас речь о многовершинности человеческой деятельности и, если угодно, о множественности смыслов жизни.

Что же касается рабочего Подходова, то не знаю, к чему имеет наибольшую душевную склонность этот человек, но можно наверняка

сказать: если бы он был убежден, что нет второстепенных видов творчества, то в теперешнем своем положении чувствовал бы себя намного счастливее. В зависимости от психологических установок одна и та же деятельность может давать, а может и не давать удовлетворения.

— И все-таки нам не уйти от разговора о творческих и нетворческих профессиях. В социологии есть такая градация?

— Да, социологи пытались сравнивать профессии по количеству внутренних переходов: чем больше элементов деятельности, тем менее монотонной будет работа.

— Получается, работа домохозяйки — самая творческая?

— По этому критерию — да. Но я же говорил, что есть и другие важные критерии. Делать заключение о творческом или нетворческом характере труда, не учитывая отношения к труду самой личности, вообще нельзя. Я лично окончательно понял это на простом житейском примере. Как-то студент-историк с восторгом рассказывал мне, что был летом в деревне, строили они коровник, работали по многу часов и получали большое удовлетворение от того, что на их глазах вырастал дом. А рядом бригада рабочих трудилась от и до, без всякого энтузиазма. Студенты возмущались: как же так? А вот так: для одних это была будничная работа, а другим — по новизне ощущений — она представлялась творчеством.

Кстати, участники дискуссии совершенно правильно отвергли отождествление творчества с высококвалифицированным умственным трудом, например, с работой ученых или писателей. Никакая профессия, взятая в целом, не бывает стопроцентно творческой или стопроцентно нетворче-

ской. И каждая деятельность имеет собственные критерии творчества.

— Вспоминаю сейчас отрывок из одного сердитого письма: «Талантов и бездарей во всех профессиях примерно одинаково, будь то писатели, токари, физики или матросы...»

— А вы заметили, что в быту слово «творец» не очень-то звучит? Если, к примеру, какой-то писатель, рассказывая о своей работе, скажет о себе: «Я — творец» — мы воспримем это с насмешливой улыбкой, не так ли?

— Вот читатели и предлагали не раз: тему творчества нужно сузить и говорить о главном — о творческом отношении человека к своему труду.

— Но многое ли изменится, если мы будем без конца *говорить* об этом? Если всех инженеров поголовно заставим писать «творческие планы»? Самостоятельность, инициатива, личная увлеченность не являются по приказу. Творческой может быть только та деятельность, которая выражает внутренние побуждения личности. Психология творчества чем-то близка к психологии игры — своей спонтанностью, самопроизвольностью, самоценностью. Удовлетворение дает не только результат, но и процесс — как он протекает, какие силы в человеке мобилизует.

...Читаем еще одно письмо из почты откликов.

### **Письмо философа: «спрос» на личность**

*...Вопрос вовсе не в том, всем или не всем быть творцами (явно или неявно большинство отвеча-*

ет на него положительно), а в том, как создать объективные условия, чтобы каждый не только мог, но и был лично заинтересован постоянно думать и работать над улучшением процесса труда. Должен быть спрос на творческую активность людей, на все их способности (а не только на производственные), и тогда незамедлительно возрастет число творцов.

В любом трудовом коллективе деятельность людей включает в себя две линии: действие по логике необходимости и действие по логике свободного развития человеческого фактора. Если эти две линии разорваны и распределены между разными группами людей, то подлинно творческой не может быть деятельность ни исполнителей, ни руководителей... Подобные отклонения осознаются людьми то как тоска по творчеству, то как дефицит кадров, то как дефицит материалов и т. д. На мой взгляд, все эти дефициты упираются в одно — в дефицит творческой инициативы, которую мы часто не умеем беречь и с толком использовать. На XXVI съезде КПСС говорилось, что «успех воспитания обеспечивается лишь тогда, когда оно опирается на прочный фундамент социально-экономической политики». Совесть, конечно, — великая вещь, но одними воззваниями к совести делу не поможешь!

*Н. Шулевский,  
кандидат философских наук,  
преподаватель философии МГУ*

— Итак, Игорь Семенович, мы выходим на самое острое спора...

— Я совершенно согласен с Шулевским: человек только тогда становится творцом, когда он

всерьез участвует в принятии решений, когда объективная логика вещей требует от него ответственности. Творческая активность — это прежде всего общественная, социальная активность. Только чувство гражданственности соединяет воедино радость самоосуществления («я делаю то, что мне нравится») и удовлетворение от сознания выполненного долга («радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики»).

Здесь весьма кстати вспомнить, что В. И. Ленин одобрительно излагал вот эту мысль Н. Г. Чернышевского: «Без приобретения привычки к самостоятельному участию в общественных делах, без приобретения чувств гражданина, ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или, по крайней мере, не становится мужчиной благородного характера. Мелочность взглядов и интересов отражается на характере и на воле: «какова широта взглядов, такова и широта решений».

Человек, который не чувствует себя гражданином, чем бы он ни занимался, все равно так или иначе будет ощущать свою неполноценность. И только общественная деятельность (конечно, имею в виду не просто посещение собраний или участие в мероприятиях для галочки) позволяет преодолеть противоречия, связанные с различием профессий и образовательного уровня.

...И наконец, последнее письмо из тех, что мы обсуждали с И. С. Коном.



## Письмо инженера: человек и обстоятельства

*Творчеству надо учить! Чем раньше, тем лучше.*

*Попробуем осмыслить один привычный факт: в нашей стране введено всеобщее среднее образование, хочешь ты или не хочешь, дано тебе что-то от природы или не дано, тебя возьмут за руку и отведут в школу. И абракадаброй прозвучал бы сегодня вопрос: «Все ли быть грамотными?» А вот о творчестве приходится дискутировать.*

*Обществу, то есть нам всем, вместе взятым, нужен положительный ответ на основной вопрос дискуссии. И он будет! Не только на бумаге. Будет в жизни. Но пока здесь масса неясностей... Что зависит от личности? Что от общества? Может ли в самом деле человек прыгнуть выше условий, выше себя?*

*Ю. Горин*

*Баку*

— По-моему, дискуссия убедительно доказала, что прыгнуть выше себя — можно. Достаточно вспомнить мелькнувший в ходе дискуссии небольшой рассказ о потрясающем эксперименте педагогов Соколянского и Мещерякова по «очеловечиванию» слепоглухонемых детей. И теперь эти люди, так жестоко обиженные природой, успешно работают в науке, пишут стихи, занимаются скульптурой — живут полной жизнью. Нам ли, здоровым, зрячим, жаловаться на невозможность творчества?

Кстати, на невозможность особенно страстно жалуются обычно те люди, которые сами и не

пытались что-то сделать. И хоть порой эти жалобы звучат весьма убедительно, но несут они в себе самооправдание лени. Тот, кто действительно чего-то хочет, действует в любых условиях, с большими жертвами, со страданиями, но — действует. Я убежден, что ссылка на обстоятельства при всей ее житейской резонности всегда порочна, ибо если нет людей, стремящихся к творчеству и к преодолению противоречий, то кто же положение исправит?

И в то же время было бы несправедливо сваливать весь груз ответственности на личность, недооценив значение условий. Известно, что есть вещи, которые зависят от всех нас, вместе взятых, и все-таки не зависят от каждого в отдельности.

— Читатели не раз замечали, что разочаровываться в себе гораздо труднее, чем во внешних условиях.

— Это правда. В сущности, у нас и нет выбора. «Нетворческая личность» — в известном смысле противоречие в терминах. Ведь отказ от понимаемого в широком смысле творчества равносильен потере своей личности. Даже в том случае, когда человек бессилён что-то радикально изменить, а всего лишь говорит свое твердое «нет!» — это «нет!» тоже включается в обстоятельства, меняя порой непредсказуемым образом какую-то ситуацию. Разве это не творчество? И часто бывает, что какой-то один поступок может преобразить всю дальнейшую жизнь человека. Он видит вдруг, что способен на многое и людям, оказывается, это нужно. И сам начинает воспринимать себя иначе.

— Значит, выход в том, чтобы не ныть, а взять и попробовать?

— Да, если вести речь об этической стороне творчества, то беда наша в том, что мы очень редко совершаем поступки. С возрастом у человека закастеневаает не только скелет, но также — это общая закономерность — становится жестким и стиль мышления, и мапера поведения. Накопленный опыт позволяет решать вопросы просто — по готовому, порой не осознаваемому стандарту, а все, что не укладывается в рамки, отбрасывается как ненужное, несущественное.

Хотя психологи признают, что люди обладают неодинаковым творческим потенциалом, само это понятие «потенциал» многозначно. Разные виды деятельности требуют и разных психологических качеств, вместе с которыми варьируются такие общие, допускающие количественное измерение свойства, как уровень активности индивида, мера его самостоятельности и так далее. Каждый человек имеет свой стиль деятельности. И очень часто мы далеко не полностью используем собственные резервы лишь потому, что заранее подставляем себе подножку — говорим: «Это мне не по силам». Но если человек испытывает неудовлетворенность от того, что стал рабом своих привычек и правил, единственная возможность — включаться в ситуации, где эти правила заведомо не срабатывают, где нужно искать новые решения.

К сожалению, потолок притязаний взрослого человека, в отличие от юноши, устанавливается на заниженном уровне (имею в виду, конечно, не притязания в смысле «что мне должны дать», а в смысле «на что я способен»). Трезвость, стабильность — это хорошо, но бывает: человек доживает до старости, так и не приложив усилий, чтобы свой «потолок» поднять. Здесь напрашива-

ется аналогия со спортом. Известно, что уровень возможного поднимается вместе с рекордами. А если спортсмен, подбегая к планке, скажет себе: «Эта высота недостижима» — он, конечно, не прыгнет.

— О чем мы только ни говорили, Игорь Семенович... Теперь вот даже о спорте.

— Ну а в итоге пришли к выводу, что забота о развитии творчества есть, в сущности, забота о развитии личности. Воспитание творческих навыков начинается, конечно, с детства, и этому способствует, начиная со школьной скамьи, даже раньше, атмосфера поддержки и поощрения, но ни в коем случае не приказа, не наказания. Ведь личность нельзя сделать, вылепить, как вещь. Развитие творческих навыков можно только *обусловить* включением человека в принятие самостоятельных решений, пробуждением его собственной активности, которая конечно же является одной из ипостасей активности социальной.

Но условия условиями, а каждый человек должен осознавать, что он является творцом самого себя, что истинная самореализация возможна только через поступок, через деятельность, соответствующую твоей индивидуальности. Смысл дискуссии, думаю, еще и в том, что читатель смог увидеть: мучающие его вопросы возникают и перед многими другими людьми и имеют множество разных решений (или пусть даже на сегодня не имеют, но, во всяком случае, ставятся). Осознание этого может в какой-то степени помочь человеку более реалистически отнестись к своим жизненным ситуациям.

\* \* \*

Итак, наша дискуссия закончилась, а загадка инженера А., с письма которого начался спор,

так и оставалась неразгаданной. Имя этого инженера стало в ходе дискуссии почти нарицательным. Сколько упреков, обвинений прозвучало в его адрес! Некоторые читатели выражали сомнение: да существует ли на самом деле человек, так смело назвавший себя «ползуном»? Может быть, это письмо всего лишь розыгрыш?

В общем, когда отзвучали споры, решили мы вывести живого А. на страницы газеты. Сам он с легкостью на это согласился. Ехала я к нему перед Новым годом — собиралась написать что-то вроде веселого репортажа: «Маска, кто ты?» Не могла предположить, что еду к одному из самых трудно постижимых своих героев.

Мне нужно забыть его настоящее имя, фамилию, название города, где он живет, чтобы правдиво рассказать о нем. Нужно избавиться от гипноза его слов, чтобы поймать его главную суть. Но сделать это смогу, пожалуй, только к концу рассказа.

## ЖИЗНЬ НЕ ПЕРЕЖДЕШЬ

...Солнце первого дня  
спросило у юного мира:

«Кто ты?»

И не получило ответа.

*(Из юношеских дневников  
инженера А.)*

Синее морозное утро. Ветер на перроне дует с такой обжигающей, порывистой силой, что нужно держать шапку, чтоб не слетела, и одновременно растирать щеки, чтоб не одеревенели. «Ну, как вам наша погодка?» — смеется, перекрикивая

ветер, пришедший встречать меня на вокзал Владимир Васильевич А. (буду именовать его так). Непонятно, чему он радуется, когда у самого вон брови инеем обросли. Так громко кричит, что на нас оглядываются. Нескладный он какой-то и есть что-то мальчишеское. Совсем не таким представляла я его по письмам — более важным, скептическим, эдаким провинциальным философом, который и улыбается-то редко.

В гостинице, когда сходит с лица уличный румянец, его внешность кажется почему-то знакомой. Он снимает на минуту очки — запотели, и тут я неожиданно обнаруживаю: да ведь инженер А. был бы сильно похож на поэта Маяковского — и лицо, и рост, и резкость движений, — если бы не очки и не эта сутулость. Потом, когда мы придем к нему домой, его жена Марина расскажет: «Когда появилась семья, дети, Владимир стал чувствовать себя в жизни уверенней, даже осанка изменилась, а раньше ходил совсем согнувшись». Это весьма важный штрих к его характеру, но тема «семья, дети» возникнет у нас не сразу, а пока я теряюсь в догадках: что за человек передо мной? Год целый состою с ним в переписке, и столько ребусов, парадоксов успел он за это время подбросить... Личностью А. я прямо-таки заинтригована. А он сидит вот, напыжившись, в удобном кресле гостиницы и, кажется, чувствует себя неуютно, не знает, куда девать свои длинные ноги, то и дело отводит взгляд в сторону — на окно, за которым открывается красивейший вид на речные просторы. Отталкиваясь от местных достопримечательностей, разговор постепенно налаживается. Беседовать с А. интересно (эрудиция чувствуется даже в пустяковом разговоре), но нелегко. Как только речь заходит

о нем самом, становится немногословен и замкнут. Кажется, озабочен исключительно тем, чтобы не сказать чего-нибудь такого, что возвышало бы его в глазах корреспондента. В письмах он был куда откровенней.

Однажды в ответ на мою просьбу рассказать о себе прислал странную исповедь под названием «Хроника». Поскольку А. не возражает («скрывать мне нечего»), приведу эту исповедь полностью, чтобы читатель тоже сразу озадачился, заинтересовался этой личностью, а может быть, и возмутился бы («какая самореклама!»), но в любом случае прошу: не будем спешить с выводами. Итак:

### *Хроника*

*Имею 1-й разряд по шахматам, уровень, обеспечивающий — по М. Талю — профессиональное понимание игры. Однако играть в эту силу начал лишь с 32-х лет.*

*Профессиональная квалификация — инженер 1-й категории (по должности чуть выше). Но получил эту категорию только в 36 лет.*

*Хорошо знаком с пятью иностранными языками и похуже — еще с четырьмя. Изучать же языки начал с 30 лет, а до тех пор едва был знаком, как и все после института, с английским.*

*С 18 лет страдал головными болями и был тощ. К 30 годам благодаря режиму и физкультуре почти избавился от головных болей и вошел в норму по весу.*

*В 32 года счастливо женился, а до этого долго выбирал жену и был одинок.*

*В 33 года пережил первое серьезное потрясение: смерть бабушки. Окончательно и абсолютно завязал с табаком. Изучил французский.*

*В 35 лет родился сын Василий (назвали в честь деда), в 37 лет — сын Федор (имя — в честь прадеда).*

*В 37 лет начал сотрудничать в городской газете и в многотиражке предприятия.*

*В 22 года — дипломант профессионального конкурса чтецов Москвы и Ленинграда. После окончания МАИ раз пять еще высывался в ненавистной мне художественной самодеятельности.*

*К 22-м годам знал на память до тысячи литературных произведений примерно ста авторов. После 22-х прибавил от силы несколько десятков, забыл же — более.*

*Лет с 30 читаю в основном не художественную, а техническую литературу и не столько на русском, сколько на иностранных языках. Если кто попросит — делаю переводы, но это — изредка, в основном же накапливаю свой технический потенциал. Давно уже перестал ходить в кино, театры. Телевизор не смотрел практически никогда.*

*Лет до 30 временами играл в карты. На деньги. Выигрывал. Затем перестал брать кости-и карты в руки.*

Такой вот букет достоинств и недостатков, завидная разнообразность интересов и тут же — регламентированность «от» и «до», похвальная критичность к себе и одновременно бахвальство. Чего стоит, например, одно это заявление: «долго выбирал жену»... Но рядом — наивные и трогательные строки о потрясении, вызванном смертью бабушки. Почему о первой категории по шахматам он сообщает раньше, чем о первой инженерной категории? И зачем все так подсчитывает, расставляет по годам — будто на весах свою жизнь взвешивает?



Не стану обнадеживать читателя, что после живого общения с автором этих парадоксальных строк я нашла ответы на все уже возникшие (а сколько их еще впереди!) вопросы. Человека более противоречивого, более не укладывающегося в привычные рамки я, пожалуй, не встречала. «Да ведь он же — многосортной кактус и неизвестно, существует ли такая почва, на которой мог бы всей мощью расцвести», — скажет мне потом об А. его друг, живущий в Москве.

Сюжет жизни А. так прост, что не мог бы привлечь нашего внимания. На другом собираюсь строить я рассказ об этом человеке — на сюжете его мыслей. Редко встретишь сегодня, чтобы кто-то с такой неустанной пристальностью обдумывал свою жизнь. На вопрос: «Ваше любимое занятие?» — он отвечает: «Думать». И знаете, в чем главный предмет его дум? В одном из писем в редакцию А. формулирует свое кредо так:

«Можем ли мы приветствовать самоотречение человека от гармонического развития всех своих способностей ради достижения одной, хотя бы и важной цели?»

В другом письме снова — о гармонии:

«Конечно, наша планета все еще не вполне оборудована нами для всеобщего счастья, тем не менее едва ли можно найти мешающие нашему гармоническому развитию причины, что были бы вне нас. И оценить интегрально наши собственные успехи способны только мы сами. Чем дальше, тем вернее звучит для нас пушкинское: «Ты сам свой высший суд...»

И пусть в его рассуждениях есть какая-то отталкивающая риторика, но задуматься здесь есть над чем. Человек, назвавший себя «ползуном» и «чиновником» («зачем меня насильно тянуть в

творчество?»), заявляет, что хочет достичь в своей жизни гармонии. Разве не интересно, не полезно, наконец, узнать, что из его стараний выходит?

### Об отношении к недостаткам

В жизни самым фактом своего существования инженер А. вызывает вопросов и споров не меньше, чем тем своим письмом — в газете. По его поводу недоумевают, ему сочувствуют, его жалеют, но есть и такие, что... завидуют. Не раз я слышала: «Эх, мне бы его голову...» Имеется в виду, что при своих-то способностях никаких особых успехов А. не достиг. Не стал ни изобретателем, ни руководителем КБ, даже ни одного авторского свидетельства у него нет. А могли бы, конечно, быть. Например, на заводе, где он раньше работал, вспоминают, что А. «выдавал не раз сильные, смелые идеи, но осуществить их было невозможно — материальная база еще не созрела». Над разработкой одной из таких идей до сих пор трудится один его бывший ученик.

На новом предприятии, куда А. перешел пять лет назад (работает не просто инженером, а руководителем группы в отделе главного конструктора), ни про какие его особые идеи мне уже не говорили. Правда, трудно выдвигать конструкторскую идею на предприятии, которого пока фактически нет. Гигантский промышленный комплекс только строится, одновременно с ним растет и многоквартирный, многоэтажный жилой массив. Неразберихи и трудностей, как и на каждой стройке, хватает. Так что квалифицированным инженерам приходится зачастую не схемы чертить, а

кирпичи класть. Впрочем, Владимир любит физический труд, считает даже, что именно здесь его главные способности. С удовольствием исполняет, когда пошлют, разные подсобные работы на стройке. Другие инженеры ропщут, а он — радуется. Это говорит, может быть, о том, что не очень-то он уважает свою инженерную профессию или же разочаровался в ней. Но сам он об этом ни разу не заикнулся.

«Такой талантливый, а вот не повезло в жизни», — это, пожалуй, самое типичное мнение об А.

Если человеку многое дано от природы, естественно, что и ожидают от него многого. А он — получается — ожиданий не оправдал. У других, куда менее способных, — и должности, и звания, и блага. У А. даже квартиры своей нет. Пока был холост (до 32-х лет), скитался по общежитиям, библиотекой не мог обзавестись («любимые книжки носил в голове»), а сейчас его семья живет в проходной комнате у родителей Марины. В семье уже трое детей.

Да, к хронике его жизни нужно прибавить два свежих факта. Пока шла дискуссия о творчестве, а инженеру А. шел 38-й год, в семье родилась дочка. И второй факт: Владимир освоил за это время новое хобби — начал читать лекции о поэзии. (В обществе «Знание» я переписала названия нескольких его лекций, уже по одним названиям можно судить, сколь они необычны: «Загадка творчества, духовного подъема в «Моцарте и Сальери» А. Пушкина», «Драма чести по М. Лермонтову, современная важность понятия чести», «Поэзия мысли. Ф. Тютчев», «Тема движения в творчестве А. Блока. Роль поэзии в развитии воображения в наш скоростной век».) В лекциях он не столько рассказывает о поэзии, сколько

стремится показать красоту и силу живого стиха, читает наизусть и делает это, говорят, с блеском — приспособил свое давнее, забытое умение.

Так, понятно: значит, он — человек, живущий не ради хлеба насущного? Но можно ли этому радоваться, умиляться, когда проза жизни такова, что ни его знание поэзии, ни 9 языков, ни разряд по шахматам не могут — увы! — заменить или компенсировать элементарных бытовых удобств, без которых, извините, рожать троих детей, пожалуй, и не стоило бы?

Вопрос, конечно, резонный, но в приложении к конкретной жизни звучит кощунственно. «Мы — народ прочно счастливый» — это Марина говорит, хотя рекламность фразы заставляет думать, что повторяет она слова мужа. Впрочем, Марина — человек вполне самостоятельный. Когда работала на заводе (как и Владимир, она — инженер по профессии), фотография ее не сходила с Доски почета, но по работе ничуть не тоскует, материнство захватило ее целиком. Она не только говорит о счастье, она и выглядит счастливой.

...Пока Марина готовила ужин, Владимир купал дочку. Мне запомнилось, как выносил он ее из ванной, высоко подняв над головой, — живой комочек надежно лежал на огромной отцовской ладони, почти умещаясь в ней. Потом мы пили чай, и Владимир рассуждал:

— Многие домашние дела просто необходимы человеку для душевного здоровья. За мытьем посуды, стиркой, глажением очень хорошо думается.

Как-то я задала Марине банальный вопрос: «Муж много вам помогает?» — «Что значит: помогает? — удивилась она. — Мы просто все делаем вместе». Ну, это, конечно, преувеличение,

Днем он на работе, вечерами то на соревнование по шахматам отлучится, то на лекцию. Правда, домой всегда спешит, правда, своими статьями и языками занимается только по ночам, когда дети уснут. Но ведь это хорошо, что Марине кажется, будто они «все делают вместе». Может быть, поэтому так кажется, что Владимир, где б он ни был, всеми помыслами принадлежит семье?

«...Я перед обществом весь налицо, я ему предлагаюсь: вот я, вот мои, сколько есть, таланты, берите... Берут кое-что. По кусочкам. Весь же целиком я нужен только жене, детям» (из письма).

Нет, не стала я утешать Владимира и критиковать не стала. Кстати сказать, упреки, порой весьма резкие, прозвучавшие в нашей дискуссии, его ничуть не задели. Это другие его жалеют, а сам он абсолютно ни на что не жалуется и, кажется, просто не умеет обижаться. У него есть своя замечательная теория об отношении к недостаткам. Посмеиваясь, излагал ее так:

— Недавно стоял в очереди за картошкой и читал Жоржа Сименона на французском. Пришел домой, жена спрашивает: «Большая ли очередь?» — «Страниц 50», — отвечаю. Возмущаться недостатками стоит только по делу. Пора практически оптимизировать формулу: «нет худа без добра». И ценить наше сегодняшнее бытие нужно не только за то, что оно — почва для будущего. И действовать нужно сейчас же, в этих необразцовых условиях. Жизнь не переждешь.

Итак, он, человек аналитического мышления, считает просто нерациональным сосредоточивать свое внимание на тех недостатках, исправление которых лично от него не зависит. «Даже в нашем быту он старается видеть только хорошую сторо-

ну, а ведь на мелочах быта еще как можно нервами изойти...» — рассказывает Марина. Позицию своего мужа в отношении творчества объясняет так:

— Для него творчество — слишком высокое понятие. Суть ведь не в том, чтобы обязательно творить, а в том, чтобы делать это лучше других. О себе он не думает, что может лучше других, зато чужое настоящее творчество глубоко уважает.

«...Что хуже — недооценка или переоценка своих творческих способностей? Почему трезвая оценка своего интеллектуального потенциала не стала еще актуальной нравственной проблемой?»

Такие скептические вопросы, ну прямо в духе Сократа, подкидывал А. в письмах к редакции по ходу дискуссии. Как он теперь сам на них ответит, услышать не удастся — он отшучивается.

Вот и пойми его. То ли он в самом деле, как считают некоторые, разумный эгоист, превыше всего оберегающий собственное спокойствие, то ли чудак, довольствующийся в жизни внешним минимумом, а от себя самого требующий максимума, то ли и впрямь неудачник, не сумевший приспособить свои таланты и способности к реальной действительности?

### Для дела и для души

Но можно ведь взглянуть на него и так: вот перед нами человек, поставивший целью жизни не профессиональный успех, не положение в обществе, а развитие всех своих способностей, своей, так сказать, человеческой природы. Часто ли такое случается? Его московский друг говорит о нем: «Владимир за что ни возьмется, достигает

блестящего результата: и в технике у него — 1-я категория, и в шахматах — 1-й разряд, и языки... Прежде чем что-то решить или просто сказать, обязательно подумает, высчитает. Голова у него работает, как кибернетическая машина. Если чувствует, что дело не его, то и браться не станет».

Значит, берется А. только за те дела, которые ему нравятся? Будто нет для него понятия «должен», а есть только одно «хочу»... Может быть, в этом и кроется некий изъян его личности, помешавший более полному самоосуществлению?

Взять хотя бы его увлечение языками. Нравилось ему, легко это давалось, вот и изучил 9 языков, на которых читает техническую и художественную литературу. Разговаривает ли? — я было спросила и осеклась. С кем ему, положим, разговаривать по-португальски? И тут вертится это пресловутое «зачем». Зачем ему столько языков, если применить их в жизни он все равно не может?

Был как-то случай: дали А. на работе английскую книжку по новой технике — «срочно переведи». Он неделю вечерами посидел и 200 страниц осилил. Ему потом премию за освоение новой техники — 50 рублей выписали, начальник соседнего отдела благодарственное письмо прислал. И еще один раз — с итальянского — тоже для дела книжку переводил.

Остальное — так, эпизоды. Если кто попросит статью из журнала перевести, он, конечно, не отказывает. Но в основном языки остаются его частным делом, утехой для ума и души.

— Мой путь в языки начинался со вполне определенной торговой точки — Дома книги в Новосибирске. В сравнении с другими прилавками богатства иностранного отдела особенно впечат-

ляли. И зло взяло: что ж, видит око, а зуб неймет? Решил огоревать.

(Это странное слово «огоревать», то есть «преодолеть», «осилить», доставшееся ему, наверное, от любимой бабки, натуры яркой и сильной, он произносит с особым смаком и с подчеркнuto окающим акцентом.)

Вот, например, рассказанный с юмором эпизод изучения французского:

— В конце лета послали в колхоз на картошку. Жил я в сарае на дворе одной усадьбы. Работал в вечернюю и ночную смену, а днем читал во дворе на солнышке. Была у меня с собой «Notre coeur» («Наше сердце») Мопассана. По двору живность всякая гуляет, от кур до коней, шумит и пахнет. Мухи лезут. А я читаю про графов и герцогинь в роскошных туалетах и прочие изыщества. Читал упорно. Прочел.

«...Преодолев все ранние и долгие невзгоды, нашел в языках неиссякаемый источник собственного удовольствия. Причем общественное признание и использование моего специфического умения меня уже не волнует» (из письма).

Поверим? А, собственно, какое у нас право не верить?

Человек хотел бы, конечно, чтобы его таланты в дело пошли, он «предлагался», но из богатого спектра его способностей и возможностей берут кое-что. Навязываться он не хочет, но и огорчаться по этому поводу считает ниже своего достоинства.

И почему это плохо, почему несущественно, если кто-то делает что-то не ради практической пользы, а просто ради удовольствия и своего счастливого мироощущения? Разве гармония — понятие утилитарное?



## О пользе рационализма

В институте его в шутку называли неучтенным гением. При его почти фотографической памяти учеба давалась слишком легко. Но лишь после института понял, что нужно учиться думать. Уже в 25 лет составил свой сжатый конспект по философии. «Учился не только мыслить, но и чувствовать самостоятельно. Процесс долгий. Первое заметное извне движение моей личности началось где-то после 30 лет, — сказал это и на минуту задумался. — Но что ж, получается, я до 30 и не жил? Неправда. Просто движение накапливалось». — «Накапливалось для чего?» — с некоторой иронией спросила я. Он не стал растолковывать. (Есть у А. такая особенность: если собеседник в чем-то ему перечит, он тут же обрывает разговор — понимайте, мол, как хотите. Меня эта его особенность сначала несколько шокировала, потом я привыкла.) Вскоре он вернулся к теме совсем с другого бока: «Знаете, за что я люблю армейский устав? А, вы же не знаете, что я после института два года отслужил офицером на Дальнем Востоке. Так вот, мудрейшая это вещь — устав. Пойди сам регламентируй каждую мелочь! А устав все учитывает. Устав предписывает размеренность, чтобы человек экономил силы и в любой момент был готов к испытанию. Размеренность во имя броска, движения, понимаете?»

Оказывается, он вновь (теперь уже через армейский устав) выходил на свою дорогую тему о пользе рационализма. Эта тема незримо противостояла в наших разговорах теме творчества. Владимиру Васильевичу почему-то очень важно было убедить корреспондента в том, что он, инженер А. — рационалист, разумно выстраивающий свою

жизнь, уважающий дисциплину и стандарты («стандарт реальный мир организует!»), и, следовательно, нет и не может быть в его жизни места творчеству.

Он продолжал демонстрировать свой рационализм, привлекая на помощь профессиональную инженерную логику: у меня, мол, и в жизни ко всем явлениям вероятностный подход, подсчет возможностей, выбор оптимального варианта. Уверял даже, что перешел на новую работу исключительно из-за жилья. То, что на старом месте ему не только квартира не светила, но и возможности профессионального роста не было, он оставлял как бы за скобками.

Пытался проиллюстрировать свой рационализм и через стратегию шахматной игры. Это, мол, только такие мастера, как Таль, могут играть по необъяснимой, почти нелогичной интуиции — да, это истинное творчество. Но обыкновенный шахматист должен придерживаться школы Ботвинника, нормальной, спортивной, где взрывы и комбинации — результат логики. «Моя цель в жизни, как и в шахматах, — накапливать преимущество, делать правильные, хорошие ходы, а если бросаться в авантюры, то красиво не выиграешь».

Это он-то делает выигрышные ходы? Выбирает выгодные варианты?

Начальник отдела, где работает А., рекомендовал мне его как способного, надежного специалиста, а потом с улыбкой добавил: «Но порой ведет себя, право же, по-детски. Нет у него обыкновенного здорового карьеризма». И привел пример: в отделе происходило недавно увеличение штатов, руководители групп, что называется, врукопашную боролись за каждую лишнюю единицу —

оно и престижней и во всех отношениях выгодней, даже зарплата руководителя в зависимости от количества подчиненных меняется. И только А. увеличивать свой штат наотрез отказался: «У меня в группе и по нынешнему расписанию два места пустуют. Я же не Чичиков, чтобы за количеством душ гнаться. Вот найду двух толковых работников, и справимся».

И вот я думаю: а может быть, восставая против творческих амбиций, он просто профессиональную порядочность защищает? Или, может быть, защищается от тех, кто считает его неудачником? Впрочем, отмести напрочь его рационализм было бы упрощением весьма сложного, противоречивого характера.

### **Положительная программа**

Несколько лет назад в письме к московскому другу Владимир с несвойственной ему грустью писал:

«Хорошо тебе при одном любимом деле состоять. А мне несколько дел разом вести хочется. Для меня-то все в одно неразрывное целое соединено, но соответствующей профессии и должности не подыщешь».

И все-таки есть же в его жизни дело, которому он отдается безоглядно и полностью: настолько предан «домашнему очагу», что иные могут снисходительно пожать плечами. Что это, мол, за мужчина, для которого главный интерес в семье? Но он здесь упрям и наступателен: «Чем выше творческие амбиции, тем меньше детей. Здоровая ли это тенденция?»

...Владимир никогда не видел своего отца. Отец погиб на фронте, когда сын еще не успел родиться.

Вслед за отцом ушли воевать и плотники, ремонтировавшие их бревенчатый дом, ушли и ремонт не закончили. Сестры (у Владимира три старшие сестры) рассказывают, что пакля, которой они пытались заткнуть щели между бревнами, при порывах ветра вылетала, и тогда сквозь стены их дома было видно голубое небо и качающиеся верхушки сосен. Свое холодное, голодное детство и свою многочисленную родню вплоть до третьего колена Владимир вспоминает с таким пиететом, с каким редко кто сейчас вспоминает.

...Мать за месяц до смерти, уже парализованная, вся изболевшаяся, посмотрела в окно и вдруг прочла: «Есть в осени первоначальной печальная и дивная пора...» Вот у кого был стоицизм духа!

...От отца остался на память самодельный блокнот с рисунками, и такая там записка, как заповедь: «Жить ради детей, вывести детей в люди...»

Из письма к другу:

«...И если рассуждать по-человечески, по-коммунистически, то первым делом каждый отвечает за свое собственное здоровье и полноценное потомство. И чтоб было не менее трех детей на порядочную семью. Это же счастье, что сегодня мы можем позволить себе такую роскошь! Хотя сегодня, к сожалению, практически не ценится хорошая семейная (домашняя) работа по воспитанию детей. За плохих детей еще пожурят малость. А за хороших? Матерей у нас, правда, награждают. И то за количество, а не за качество. Отцы же вообще якобы ни при чем».

Я отнюдь не считаю, что материальное благополучие может повредить духовному развитию, но в доме А. впервые задумалась над тем, что в воспитании детей «естественная недостаточность,

может быть, лучше искусственной избыточности» (это, конечно, формулировка Владимира). В воспитании детей, как и во всем, он исходит из принципа: ничего лишнего. Зачем баловать детей, приучать их к тому, от чего им придется потом отвыкать?

В семье А. строгость дисциплины сочетается с умением предоставить детям естественную свободу. Здесь не берегут детей, а по-разумному им доверяют: хочешь побежать босиком по траве — беги. Дети их почти никогда не болеют. После единственного посещения с сыном зубной клиники, насмотревшись на его страх и начитавшись плакатов на стенах (оказывается, сладости очень вредны детям!), решили всей семьей отказаться от конфет и пирожных.

Черный бархатный шмель, золотое оплечье,  
Заунывно гудящий певучей струной...

Как знойно гудит, как зримо летает шмель в старательных модуляциях тоненького мальчишеского голоса. И младший, двухлетний, тоже брату подпевает. Оба знают, что написал эти стихи Бунин.

Помните рассуждения Владимира о положительной программе, которую нужно осуществлять немедленно, пусть в самых необразцовых условиях («жизнь не переждешь»)? Так вот, он и осуществляет свою положительную программу, воспитывая своих детей. И ничуть не стыдится малости масштаба.

Из письма к другу:

«Не помню точно, но вроде бы Гоголь сказал о Пушкине, что по человеческой его сути Пушкин представляет собой русского человека, каким он явится лет через 200. До этого срока осталось

всего ничего, а насколько мы приблизились к Пушкину? Да, многое мешало: классовое неравенство, войны, эпидемии, голод... А сегодня на первый план вдруг выходит такая серьезная помеха, как несовершенство человеческих отношений, и разъедает она прежде всего семейный микромир, от которого в первую очередь зависит, будет ли новое поколение нормальным и здоровым.

Но что мешает мне, обыкновенному человеку, даже при неблагоприятных обстоятельствах создать динамическое равновесие, обеспечивающее устойчивое существование и развитие этого микромира по законам справедливости? Ведь большой мир коммунизма сложится потом из этих микромиров».

### **Много ли человеку для счастья надо?**

В конце концов Владимир убедил меня, что муки творчества ему неведомы. Ну хотя бы потому, что он принципиально не хочет надрываться. Он, представьте, жалеет горящих на работе людей — своего главного конструктора, свою старшую сестру, своего тестя: «Кто много везет, на того все больше и нагружают». А он предпочитает «действовать в своем ритме, своей манере, сберегая силы, — жизнь длинная».

Правда, тут же добавляет: «При гармоническом чередовании работ можно и нужно работать часов по 16 в сутки и уставать только ко сну». Так у него, собственно, и получается, но делает (после работы) только те дела, которые ему по душе. А чтобы, например, денег подзаработать — на одну зарплату многодетной семье жить, конечно, трудно — нет, это не по нему. И Марина здесь за

мужа горой: «Никакими деньгами не окупится то время, которое он отдает детям».

В одной из своих статей в местной газете Владимир писал:

«...168 часов в неделе. 41 из них — рабочий. 127 часов свободного времени. Какие там 127, скажете вы, 56 на сон, а остальные... Верно, верно! Мы почитаем свободным временем лишь те часы, которые отпущены нам «на праздность вольную, подругу размышленья».

Разные занятия у людей на досуге. Одни мы именуем делами, другие — развлечениями, но стремимся всегда к одной цели: к тому, что доставило бы удовольствие. Развлечение приводит к этой цели, не требуя значительных усилий. Оно похоже на сон наяву (или на ходу). Вот посмотрел человек кино, а о чем оно, уже завтра вспомнить не может. Так разве не проспал он фильма? Можно и книгу проспять... А сколько снов наяву предлагает нам сегодняшняя электроника: телевизор, радиолы, магнитофоны... Конечно, что худого в том, если человек ищет у телевизора ответы на интересующие его вопросы. Любой источник хорош, где ответ найти можно. Но программа — одна на всех, а каждому положено иметь свои вопросы к миру, строить здание своего мировоззрения, имея всегда в голове его план и добавляя по кирпичику от каждой книги, каждого сознательно отобранного и осмысленного факта. Мало ведь поглядывать да дивиться, что там по течению жизни мимо твоего островка проплывает.

...Мы в свое свободное время должны обнаружить ту радость жизни, какая в нас самих сокрыта. Запомнилась мне одна из записей в дневниках Л. Н. Толстого, относящаяся ко времени его тревожной старости. Классик писал, что в моло-

дости в душе его все что-то цело... И добавлял с грустью: теперь не поет.

Когда душа поёт, это ведь в любое время приятно, а коли не поет, на что ей вообще время...»

Видите, как правильно человек рассуждает. Можно ли тут что-то возразить? Но если вспомнить его первое письмо, с которого начиналась дискуссия, письмо, где он называл себя «ползунном» и «чиновником» и тоже говорил о душе («...коль запоет душа, так запоет, а что же ее зря подстегивать?»), получится, что он сам себе противоречит? Других призывает петь, а у самого, значит, душа не поет?

Но это как сказать. С творчеством на работе у него в самом деле не вышло, зато нашел себя в семье. «Мне необходимо ощущение правильности моей жизни...» И оно у Владимира, судя по всему, есть. Его удивляет, что многие люди живут будто в некоем сослагательном наклонении: «хотелось бы сделать...» Или — в условном: «сделал, если бы...» Он — за изъявительное наклонение: «раз хочу, значит, делаю!» Ну, а если знает, что чего-то сделать не сможет, то и хотеть этого, мечтать об этом себе запретит — вот одна из причин, почему он отрекается от творчества. И вот, оказывается, каким долгом нагружено его «хочу».

Чему уж можно у А. поучиться, так это умению ни с кем себя не сравнивать — мысль о счастье в чужом окне его отнюдь не занимает. «Нерационально это — оглядываться на других... Если захочешь быть счастливым, то будешь им. Да, да, вполне серьезно!» И может быть, здесь и есть главный вызов, который бросает нам этот рационалист-бессребреник?



Но вот вспоминаю... Морозный декабрьский вечер, дует все тот же неустанный ветер, мы с А. идем вверх по улице, ведущей к реке. И он вдруг безо всякой маскировки, без обычных своих шуточек с болью говорит: «Знаете, когда человек чувствует себя «ползуном»? Когда он не видит интереса к своим способностям. — И читает не известные мне строки поэта: — Ты взвешен на весах и признан очень легким».

Я слушала его и с горечью думала: вот, мы так любим рассуждать о гармонии, о необходимости всестороннего развития способностей, и это повышает личность в ее мечтах о будущем, но насколько осуществима такая разносторонность в нашей, сегодняшней жизни? Не слишком ли дорога она, цена гармонии?



Мой очерк об инженере А. так и назывался: «Цена гармонии». Рассказывая о человеке с настоящей фамилией, адресом, я, конечно, не могла не думать, как отзовется в его судьбе слово, сказанное о нем. Это всегда мука — вторгаться в чужую жизнь, пытаться осмыслить ее, так или иначе оценить, что-то важное сказать людям и не повредить при этом конкретному человеку. Находилась я тогда под магией его слов, старалась увидеть только лучшее в нем, не замечать колючек его характера (мало ли какие колючки бывают у многосортного кактуса, но они ведь не столько окружающих, сколько его самого колют). Старалась, как призывал московский друг инженера А., «искать в отношении к нему новые мерки, искать в себе». Мне виделся в А. какой-то новый тип характера, человек сознательного поведения, целеустремленно строящий (да, строя-

щий) свою личность, живущий не ради преуспе-  
вания, а стремящийся к полноте бытия.

Очерк кончался словами:

«Впрочем, понимаю: герой мой слишком противоречив, и жизнь его — не тот типичный пример, чтобы делать общие выводы. Его можно упрекнуть и в саморекламе, и в склонности к эпатажу, да мало ли еще в чем. Но он такой, как есть, заражает непонятым беспокойством и сам до сих пор живет в моем сознании, как человек-вопрос, если можно, конечно, так выразиться».

Ответить на все так и оставшееся для меня загадочным в характере этого человека должно было время. И вот прошел уже не один год после нашего знакомства с А., были еще встречи (он приезжал в Москву в командировки), были длинные его письма, как всегда, полные оригинальных умозаключений и выводов. Что изменилось в его жизни? Семья А. получила благоустроенную квартиру в новом микрорайоне. Родился четвертый ребенок. Старшие двое ходят в детский сад. А в остальном все по-прежнему. Работает он там же, увлекается тем же: шахматы, статьи в местной прессе, языки («языки мои надо доводить до удовлетворяющей меня кондиции»). Никаких у него конфликтов ни дома, ни на работе.

«Неординарный человек, но без неординарных поступков», — сказал мне в свое время бывший коллега А., перешедший из инженеров в социологи. Я, помню, спорила тогда. Мне как раз нравилось постоянство А.: никаких внешних изменений в своей судьбе он не ищет, не мечется, суэта жизни как бы не задевает его. Меня радовала яркость его натуры, его хорошая семья, уважительное отношение к нему на работе и особенно — декларируемая им внутренняя независи-

мость и счастливость. Было больно, что такой человек не может в полную силу реализоваться. Вину я видела в нетворческих обстоятельствах его жизни, в нашем порой неумении находить индивидуальный подход к разносторонне талантливым людям.

От своего диагноза не отказываюсь и сейчас, но по прошествии времени вижу, что этот диагноз не полон, да и, пожалуй, не верен без учета психологических особенностей личности инженера А. Есть ведь что-то и в нем самом, помешавшее во весь рост распрямиться. Что же именно?

Здесь приходится прикасаться к тому ускользающему от постороннего взгляда внутреннему миру личности, который трудно высказывается словами, и порой сам человек не может его осознать. Но если ему самому нелегко бывает себя понять, стоит ли нам со стороны пытаться это сделать? И зачем? Какое, мол, нам дело, что там, в его «рудной глубине» творится? В вопросах этих неизвестно чего больше — уважения к суверенитету личности или небрежения к ее внутреннему миру.

Да, очень трудно постичь человека... Все эти годы я думаю: где, где же она, тонкая грань, за которой чувство достоинства превращается в гордыню, яркая самобытность — в позерство, а независимость от людского суда — в безразличие к тем, кого считаешь чужими?

«...Мы уважаем системность, последовательность, действуем без надрыва и нажима, но тем не менее упорно и бескомпромиссно... По-моему, у меня цельное мировоззрение. Родной жене я ясен и понятен, сестрам — тоже...»

С некоторых пор тон его писем стал раздражать меня: все-то время человек собой любит, себя

преподносит свою жизнь как вызов, как какой-то эксперимент в назидание другим. Твердит о гармонии, но какая же механистическая, без музыки получается у него гармония.

Будто сконструировал человек себе крылья, а взлететь не смог.

Почему взлетает птица? Нет, не только потому, что у нее есть крылья. Она взлетает, когда набирает в грудь воздух.

А для человека воздух — его связь с другими людьми, с огромным миром людей.

Меня удивила, помню, замкнутость жизни семьи А.: никого у себя не принимают, сами ни к кому не ходят. Негде им, конечно, было в ту пору гостей принимать, да и некогда. Но ведь и потребности такой не было. И нет. Единственный друг, оставшийся со студенческих лет, живет в Москве, ему пишутся письма, и ценится он в основном за то, что из-за интереса к личности А. любые его заковыристые коды готов расшифровывать.

У этого друга я как-то спросила: помнит ли он случай, чтобы А. кому-то помог? Вразумительного ответа получить не удалось. И это, конечно, очень смутило, пришли в голову слова Валерии Дмитриевны Пришвиной: «Когда мне говорят о ком-то: интересный, яркий, способный — я спрашиваю: а добрый ли это человек?» Если бы она спросила меня так об инженере А., я не смогла бы ответить. И значит, не знаю самого главного о нем. Это уже какой-то другой уровень постижения человека, куда сам он меня не пустил. Находилась в плену его слов, и все слова-то вроде бы были правильными, — но — воздух, где воздух? Какая-то компьютерная гармония? Душа, вытесненная эрудицией?

Очень боюсь оказаться к нему несправедливой, но не сказать, что мое отношение к А. не выдержало испытания временем, было бы нечестно. Кстати, ему лично все свои претензии я уже высказывала, он слушал, посмеиваясь, — сомнения в отношении своей персоны ему неведомы. Ну а для меня мучительный путь к пониманию А. был важным жизненным уроком. И пишу об этом не ради суда над человеком, который, между прочим, и не пытался показаться лучше, чем он есть, впрямую говорил о своем рационализме, а я никак не могла понять, что рационализм — это не обязательно выгода... Пишу, скорее, в укор себе: как могла забыть, что гармония прежде всего состояние души, которое без самоотречения, без самозабвения недостижимо?

«Не ходи по косогору — сапоги стопчешь», — прочла я на обороте одной фотографии А. странную надпись, сделанную его другом. Не сразу поняла, что в этой шутке весьма едкий намек на жизненный принцип А., на то самое не надрываться, сохранять силы, высчитывать варианты...

Сложности, противоречия, парадоксы... Но сколько б мы ни мудрствовали, а изобретать теории о жизни, примеривать к жизни бинарные отношения, двоичную логику и стратегию шахматной игры все-таки легче, чем «честно, как говорил Томас Манн, вжиться в людской обиход». Если человек сделал свой выбор, если главное для него — семья, дети и декларирует он при этом свою счастливость, почему же таковым себя не чувствует? Да, не чувствует, ведь во всех его письмах тема «семья, дети» звучит как альтернатива творчеству, отказом от которого (жертвенностью своей жизни) он гордится. Может быть, дело в том, что жизнь, проживаемая как

вызов, не приносит человеку ощущения полного счастья и самодостаточности?

Странный счет предъявляю я инженеру А.? Упрекаю его, казавшегося мне независимым, гармоничным, в том, что он таковым не является, в том, что в его жизненной позиции много позерства, в том, что своими яркими дарованиями он играет, как ребенок побрякушками. Может создаться впечатление, что, защитив в свое время самоценность развития человеческих способностей, я иду сейчас на попятную и во что бы то ни стало хочу приспособить его таланты на пользу дела. Нет, сейчас, как и раньше, исхожу из пользы самого А. Меня волнует, что он, сосредоточившись исключительно на обдумывании своего «я», лишает себя полноты жизни. Он не одинок в своей семье, но он глубоко одинок в мире.

Очень жаль, что индивидуальные качества человека, который так долго занимал мое воображение, мешают чистоте его социальной позиции. Но значит ли это, что вопросы, над которыми он заставил задуматься, теперь отменяются?

Ни в коем случае. Инженер А., такой, как увиделся сначала, и такой, как представляется сейчас, несет в себе — в сконцентрированном, конечно, виде — заблуждения, противоречия и ошибки, присущие многим из нас. Решившись на прямой и, может быть, слишком резкий разговор с ним, конкретным, сгустив сейчас темные краски, я вполне могла ошибиться (хотела бы ошибиться), не хотела обвинять, а всего лишь попыталась защитить его... от него же самого. Предъявляя ему слишком строгий счет, исхожу из его же собственных заявок на личность, независимую от власти обстоятельств, от внешних условий. Но ничего окончательного об этом человеке не знаю,

все, что есть хорошее в нем, помню и не оставляю надежды: в душе его еще многое может измениться.

Сошлюсь в заключение на авторитет одного из моих собеседников — Игоря Семеновича Кона, который выразил эту мысль с присущей ему, социологу, четкостью:

«Самоопределение личности не заканчивается с юностью, оно продолжается всю жизнь. В каждый момент человек принимает решения, выбирая тот или иной образ действий, и сознание того, что этот выбор нельзя переиграть и что он затрагивает не только тебя, но и других, придает ему, пожалуй, даже бóльший драматизм, чем тот, который типичен для юноши с его незрелым негативизмом... Личность, как и история, всегда остается незаконченной, незавершенной, она есть проекция, творчество, поиск».

И если выводить интегральный образ А., то вот с чем особенно трудно смириться: сочинив свою арифметическую или алгебраическую, пусть даже по высшей математике теорию, как жить, человек всячески стремится себя ею успокоить, отместить сомнения, остановиться...



---

*Глава седьмая*

---

*Человек жив человеком*



*Мысленно выстраивая композицию книги, я собиралась закончить ее только что прочитанной тобою, читатель, главой о творчестве. Это было бы логично: философ и социолог теоретически обосновывают жизненную позицию героев книги, а рассуждения инженера А. (он жил в моем сознании как человек-вопрос) как бы заостряют эту теорию. Теперь, когда загадка инженера А. отчасти прояснилась, не могу на такой ноте разочарования расстаться с читателем и меняю задуманную композицию.*

*Нарушая логику внешнюю, но сохраняя, как мне кажется, логику сердца, заканчиваю книгу темой, по которой весьма соскучилась, пытаюсь разобратся в мудрствованиях инженера А. Тема эта проста и давно известна: только человеком жив человек.*

## ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ КАТТАКУРГАНА

Хочу познакомить вас с добрым человеком из Каттакургана. Когда-нибудь из ХХІ века история Хамита Саматова будет казаться неправдоподобной, люди будут удивляться и спорить: могло ли такое быть на самом деле? Сейчас, пока Хамит вместе с нами на земле живет, надо спешить с ним познакомиться.

### Рай в пустыне

В письмах из Каттакургана часто поминалось про дачу: «Строим дачу... Отец пропадает на даче... Отец и мать переселились на дачу...» И мне представлялся издали оазис у звонкого арыка, в тени высоких деревьев, где можно укрыться от изнуряющей летней жары, когда люди и животные не знают, куда себя деть. Но вот, миновав указатель: «Каттакурган», машина сворачивает за бензоколонку и начинает взбираться по колдобинам на какой-то белый холм, слева — хлопковые поля, справа — незаконченные глиняные домишки, плетни из хвороста. Пейзаж напоминает кадры из фильма «Белое солнце пусты-

ни». Ничего себе дачная местность. «Ну, конечно, что и требовалось доказать,— горько думаю я,— какая может быть у Хамита дача?»

Наконец остановились у высокого беленого забора, распахнулись резные деревянные ворота и мы очутились в просторном, ухоженном дворе с добротным домом, с огородом, буйная зелень которого обрамлена асфальтовыми дорожками, и даже деревья растут, правда, молодые, тоненькие, но уже плодоносящие — яблоки висят на ветках крупные, румяные, и ручеек по двору протекает — свой арык. Такая вдруг неожиданность: зажиточным человеком стал Хамит. Что стал он за те годы, пока мы не виделись, знаменитым, я знала.

Ну а внешне почти не изменился. Зубы себе так и не вставил. Костюм новый не купил. Правда, постарел немного, а важности не прибавилось ни на грамм. В общем, с виду он самый обычный старик в выгоревшей, долго ношенной тубетейке.

Семь лет назад я уже писала об этом человеке. Тогда Хамит Саматов даже в своем родном Каттакургане был мало известен. Слава Хамита, можно сказать, разрасталась у меня на глазах. Каждую новую статью о себе он исправно присылал в конверте, без комментариев. А еще каждую весну присылал посылку чеснока со своего огорода, тоже без комментариев. Восемь килограммов чеснока — представляете? Я раздавала чеснок в редакции, навязывала друзьям и знакомым, умоляла Хамита никогда больше ничего подобного не делать. Но наступала другая весна, и молодой среднеазиатский чеснок прибывал в редакцию снова. Тут есть свое объяснение, правда, очень личное, но я все-таки решусь расска-

зять — это будет та малая капля, в которой отражается, по-моему, мир души Хамита.

Так вот, незадолго до того, как я к нему впервые приехала, у меня умер отец. В ответ на откровенный рассказ Хамита я не могла не рассказать о том, что во мне остро тогда болело. Он горячо сочувствовал, а на прощанье сказал: хочу я того или не хочу, но он решил для себя, что буду я теперь его приемной дочерью. У него много детей в разных городах живут, пусть будет теперь и в Москве. Я не знала, как реагировать. Да и неважно, что думала я, неважно — скептически или одобряюще улыбнетесь вы, читатель, такой наивности Хамита, но в ней проявилась его духовная сущность: он — отец, понимает свою роль на земле так, будто он — всем людям отец.

Ну а посылка с чесноком... Одной больше, одной меньше. Всем своим детям Хамит старается помогать, как может, как считает нужным. В этом видит радостный отцовский долг. Можно ли отнимать у человека радость?

Заметив, что разглядываю его владения, сообщает: в хозяйстве имеется теперь корова, есть 70 ульев на двоих с братом. «И-и-эх, хорошо живем!» — он такой же, как был, громогласный. И присказка эта его мне знакома, только сейчас в ней появилось больше смысла. «Счастливый ты человек, Хамит, — это он сам себе говорит. — Раньше смерти ты в рай попал». «И правда, рай. Проживем три дня в раю», — радуется мой коллега, фотокорреспондент Владимир Богданов, с которым мы совсем недавно мерзли под непроглядным московским дождиком (полетит самолет — не полетит?), а теперь вот сидим за длинным столом посреди Хамитова двора прямо под синим небом. На столе — вся щедрость средне-

азиатской осени. Кажется, все краски, которые может изобрести природа, все вкусы и ароматы, сгустившись, созрев, обретя плоть и форму, лежат сейчас на столе, предлагаются...

— Ешь дыню, товарищ Володя, — особенно настойчиво Хамит угощает нового гостя. — Эта дыня прямо здесь, под ногами выросла. Почему мало берешь? Витамин надо много есть. Мне врачи запретили: сахар, говорят, у тебя в крови. А я, знаешь, раньше во-от такую дыню мог съесть, еще два кило помидор, три тарелки плова — мой обед, пожалуйста. Был большой, как верблюд. Выносливый, как верблюд. Когда с фронта пришел, в госпитале откормили — сто кило имел...

Володя смеется. Хамит еще что-то ему рассказывает. Я не слышу. Я вижу, как этот ломающийся от яств стол медленно отплывает, растворяется в голубом пространстве, а само пространство начинает постепенно тускнеть, как бы обугливаясь по краям, и ясный день оборачивается вдруг ночью.

...Темной февральской ночью 44-го недовоевавший солдат Саматов возвратился в родной Каттакурбан, спрыгнул с поезда, сделал несколько шагов по перрону и услышал тоненький голос: «Дяинька, дай...» Не поверил своим ушам — наверное, мяучит кошка. Пошел. Но тут кто-то схватил его за полу шинели: «Дяинька, хлеба дай!» У ног солдата на запорошенном снегом перроне стояло босое, раздетое, от худобы почти прозрачное человеческое существо — маленький скелет, да и только. «...Хлеба!» Солдат подхватил ребенка одной рукой (другая после ранения висела плетью), закутал в шинель и быстро, как мог, пошел домой.

Такие воспоминания живут в этом раю. А еще здесь живет легенда. Она проста.

Возвратившись с фронта, инвалид войны Хамит Саматов взял к себе в дом, согрел, спас 13 детей, осиротевших на дорогах войны. Своих детей у него в ту пору еще не было, и жены не было.

Время идет, былое отодвигается все дальше, и сейчас, из щедрого роскошества этой мирной осени, кажется все невероятнее то, что пережито. Радует и ликует певучий голос Хамита — он рассказывает, какими хорошими людьми выросли его дети. Вдруг мимо нашего стола проносится стайка босоногих смуглых ребятишек. Хамит успевает погладить одного из них по стриженому затылку. Конечно, без детских голосов тишина Хамитова двора показалась бы мертвой. Но откуда все-таки взялась эта босоногая стая? Это все внуки Хамита? Почему же при встрече, кроме молчаливой, как всегда, улыбающейся Санобар, жены Хамита, и троих его младших детей, знакомых мне, но теперь неузнаваемо изменившихся, уже взрослых, мы никого больше во дворе не увидели? «Э-э,— загадочно отвечает Хамит.— Комнат у нас теперь много. Гости живут. Они пока не выходят — вас стесняются».

Потом выяснится, что в доме живет сейчас соседка с тремя маленькими детьми, которую обидел муж-пьяница, живет еще семья приезжих, которых Хамит встретил на базаре и пожалел — они никак не могли устроиться в гостинице, живет постоянно Соадат, дочь Нуримахамата, внучка Хамита, которую он у родителей забрал. Почему забрал и как он за нею спешно в Кашкадарью ездил — это особая история. А сейчас хочу выразить первое впечатление от дачи Хамита: по соседству с пустыней действительно возник

оазис — дом, в который всегда можно прийти пожить.

— А когда начал брать детей одного за другим, есть-то у нас совсем нечего было, ой-ей как похудел. Сорок семь кило от меня осталось. И Самат-ака, и Мангит-апа тоже от голода шатались.

### Три сундука памяти

Итак, живем в раю, Володя с утра успел побродить по окрестностям, сделал какие-то экзотические кадры. И Хамита успел снять, и Санобар (для меня открытие, что она, Санобар, уже не пугается фотографов). Завидую Володе, он полдела своего сделал, а тут не знаешь, как и подступиться.

Мне ведь нужно как бы заново открыть Хамита, иначе и приезжать не стоило. А вдруг удастся раскрыть тайну его поразительной доброты? Для этого нужно попытаться посмотреть на ставшего родным человека, как на чужого — отстраненно, бесстрастно. Очень это трудно! И все-таки, стараясь быть объективной, смотрю на Хамита придирчиво. Первое, что замечаю (и это расстраивает меня): очень уж носится Хамит со своей, так бурно нахлынувшей на него славой. Главные рассказы — о наградах, почестях и корреспондентах. Месяц назад москвичи приезжали фильм снимать, весной Берлинское телевидение пожаловало, неделю назад корреспондент из Киева был. Даже «Крокодил» однажды нагрянул, вот какую хорошую статью этот журнал поместил — с рисунками (показывает журнал). Фамилии, имена-отчества и даже адреса всех приезжавших выпаливает наизусть. Ну и память у него! О себе говорит в третьем лице: «Инвалид войны

Хамит Саматов, отец интернациональной семьи, почетный гражданин города Каттакургана, пенсионер республиканского значения...»

Вдруг строго смотрит на меня: почему на празднование его 70-летнего юбилея не приехала? Эх, какой праздник в его честь городские власти устроили! В кинотеатре «Маджиди» (там самый большой зал в городе) человек пятьсот собралось. Представители разных организаций читали Хамиту слова хорошие, дарили ценные подарки, потом песни ему пели, танцевали для него. На праздник все дети Хамита съехались: Нуримахаммат из Кашкадарьи, Арслан из Куйбышева, Кучкар из Оренбурга, Иван из Свердловска, Керим из Пермской области... Славил Хамита. Город ему 16 чапанов подарил, хрустальные вазы, настенные часы. Ну, Хамит, ясное дело, все подарки тут же за кулисами детям передарил.

Я, конечно, поздравляла Хамита с юбилеем. Не могла я забыть даты, которую мы с Хамитом в свое время вместе назначили. Дело в том, что жил он и жил, год своего рождения, разумеется, знал, а дня рождения никогда раньше не праздновал, просто не существовало для него этого дня — в бедной узбекской семье не придавали значения датам. Но есть в его биографии дата — 18 октября 1943 года (в этот день его взвод штурмовал Днепр), которую он запомнил навсегда, и говорил мне так: «В этот день умер Хамит. И родился заново». В общем, порешили мы с ним, что, поскольку у каждого человека все-таки должен быть свой день рождения, пусть будет и у Хамита: 18 октября.

«Но почему, Хамит-ака, — спрашиваю осторожно, — пригласительная телеграмма на юбилей пришла полгода спустя после юбилея?» — «А, —



машет рукой.— Сначала забыли, потом вспомнили. Какая разница? Главное — честь».

...В том старом дворе на Нахимова, 2 (это самый центр Каттакургана), где остались теперь жить два брата Хамита и два его женатых сына, у Хамита был музей. Я не сразу тогда заметила этот музей. Большую часть двора занимал каркас большого и длинного, как караван-сарай, строения. Это отец Хамита, Самат-ака, начал сооружать дом для совместной жизни своим многочисленным внукам, чтобы все-все могли жить вместе, под одной крышей. Был Самат-ака хорошим каменщиком, и строение могло выйти на славу. Но не успел, умер Самат-ака. Так и загасла его мечта собрать всех детей и внуков под одной крышей. Хамит рассказывал мне тогда: «Ишак у меня был, пчелам воду возить. Пришлось продать ишака. Один человек говорит: машину как инвалид войны хлопочи. А мама моя старенькая говорит: «Не теряй чести, Хамит, не проси. Мы как в войну и после войны жили? Нищие были, голод терпели, а сейчас чего не хватает?» Права Мангит-апа, ой, как мы терпели... Да вон он, музей, стоит, видели?» Повел меня в глубь двора, и только тогда я увидела в тени недостроенного караван-сарая кособокую, щели насквозь избушку из потемневшей глины. «Вот и жили мы здесь в войну и после войны. Тринадцать детей и Самат-ака, и Мангит-апа, и я тут. Сломать надо, но все жалко. Музей!» Сколько же человеческих жизней видели и согревали эти шаткие стены! Избушка — так показалось мне — сама превратилась в живое существо.

«Сохранился ли музей?» — «Стоит, стоит. Пое-

дем завтра, посмотрим». Ну а теперь, на даче, есть у Хамита комната с громким названием «Архив». Ведет меня туда. В темноте различаю три огромных кованых сундука. Новенькие, на заказ, видно, сделанные. В одном сундуке кипы фотографий, в другом — ворох писем, в третьем — подшивки газет и журналов. Листаю их, и в глазах рябит. Что это? Двадцать экземпляров одного и того же номера «Крокодила»! (Это тот номер, где статья про Хамита с рисунками.) Полсотни номеров «Правды Востока» — все за одно число! Зачем так много? «О-о-о, меня не будет, нужно будет», — невозмутимо отвечает он.

Когда мы впервые встретились, о Хамите была написана только одна статья в местной прессе — больше ничего. Это удивляло, казалось несправедливостью. О семье ташкентского кузнеца Шамахмудова, усыновившего в военные годы 15 детей разных национальностей, весь мир знает. И это правильно. Но Хамит совершил подвиг не меньший и вот уже 30 лет в тени? «Может быть, слава не любит повторений?» — думала я. Или дело в том, что Каттакурган дальше от журналистских дорог, чем Ташкент? Детей его пытала: почему так долго молчали об отце? «А вы всем о своем отце рассказываете?» — закрыл тогда тему Донат, старший из сыновей Хамита.

В ту пору Хамит побаивался прессы. Когда районная газета захотела о нем написать, Хамит три дня от корреспондента бегал. «Некогда, очень некогда», — отнекивался Хамит (он тогда завскладом в конторе заготсырья работал). На самом-то деле и хотел бы с человеком поговорить, и время бы нашлось, да не мог пойти против воли матери. «Не теряй чести, Хамит, не гордись, — внушала сыну Мангит-апа. — Разве мы для того детей ото-

гревали, чтобы потом славиться?» Корреспондент на третий день в райком пожаловался, Хамита вызвали, объяснили, что не в славе тут дело, а нужно людям правду знать о прошлом и такой это важный вопрос, что можно и не послушаться матери.

...Куда девается прошлое? Неужели оно исчезает бесследно, вытесняясь настоящим? Не вместе ли два утра в одном дне, не вырастет весенняя листва, если не опали прошлогодние пожухлые листья. Значит, и чувства наши, и мысли, и душевные движения, какими бы сильными, высокими они ни были, отлетают вместе с мгновением безвозвратно? Нельзя дважды ступить в одну и ту же воду. Нельзя дважды открыть одно и то же в человеке. Проходит время, и сам человек становится другим.

Когда в первую нашу встречу Хамит рассказывал о своей жизни, это звучало вслух почти впервые и было для него самого глубоким переживанием. Он так рассказывал, что прошлое будто возвращалось въявь, настолько реально существовало, что мне и в голову не приходило задаваться вопросом: куда девается прошлое? Кажалось, что он все страдания детей переживает заново и невозможно было не сопереживать вместе с ним. Теперь эти истории, много десятков раз описанные в статьях и книгах, он уже повторяет как по заученному, будто не с ним это было, а просто он со стороны на давние события смотрит, тихо превратностям жизни удивляясь. Это новая интонация появилась у него — удивление. Но что она объясняет?

Добрый, славный Хамит, как старается он мне помочь: все-все заново рассказывает (и еще не раз повторит), но мне его характер от этого яснее

не становится. Эх, если б душу свою отдать, он всегда — пожалуйста. Но выворачивать душу наизнанку, чтобы что-то в ней анализировать, — совсем чужое это Хамиту. Он вот не догадывается даже, что смотрю сейчас на него с жалостью: испортили его мы, журналисты. Надоели ему журналисты?

Нет, почему же? Гость в дом — всегда радость. Правда, иногда журналисты очень спешат, приписывают то, чего не было, а про то, что было, почему-то забывают. Когда кто-то не жизненную, а просто хвалебную статью напишет, огорчается Хамит. Кому и зачем надо, чтобы Хамита хвалили? За что его хвалить? Людям правду надо знать, про горе былое помнить. А от похвалы одна «нависть». «Права была Мангит-апа, — вздыхает Хамит, — как стали о семье Саматовых много писать, появилась у некоторых людей нависть». (Не сразу понимаю, что свой неологизм он образует от зависти и ненависти одновременно.) Зачем, — спрашивают теперь эти люди, — Саматов одного за другим детей брал, когда сам был нищим? Лучше бы, мол, в детдом сирот отвел, там бы их накормили. Тут уж не выдерживает — гневается Хамит: «Не было в нашей семье сирот!» А те, у кого «нависть» — за свое: разве это называется усыновил, если не стал даже всех детей на фамилию Саматовых переводить? Бывает, насмешичают: какой же ты отец, если твою Лизу после войны родственники забрали и даже адреса не оставили? А Женька-белорус пожил у Саматовых два года и сбежал, и ничего-то Хамит о нем не знает. Пришел после одной статьи запрос про Женьку, ищет кто-то мальчика с этим именем, потерявшегося в войну, так знаешь, что человеку ответили? Хамит протягивает копию, отпечатан-

ную на бланке: «Помочь не можем. Факт, сообщенный в газете, не подтвердился...» «Как это — не подтвердился?» — не понимает Хамит.

Ну что ему ответить? Запрос о Женьке пришел, между прочим, после моей статьи в «Комсомольской правде» — получается, я лично причастна к тому, что произошло это недоразумение, обидевшее Хамита. Извиниться, может быть, перед ним за то, что мы, журналисты, превратили его в живой памятник, создали ему славу, о которой он не мечтал и не думал, а теперь расплачивается? Но, с другой стороны, разве не рад Хамит, что пришли к нему на старости лет почет и уважение? Разве не по справедливости награжден в год 60-летия СССР орденом Трудового Красного Знамени? За войну у него орден Красной Звезды есть, а теперь — мирный орден. Необычная была формулировка Указа: «За... воспитание 13 детей, потерявших родителей, наградить...»

Но зачем так много говорить о своей известности? Да он же всегда что думает, то и говорит, как чувствует, так и делает. И можно ли к Хамиту — с банальными мерками? (Это я уже себе в укор.)

Ни в каких утешениях по поводу того оскорбления на бланке он, оказывается, не нуждается. Торжественно опускает тяжелую крышку сундука, будто священнодействует. Здесь лежит память. Память нужна людям. Хамит — сторож памяти.

### Чайхана. Беседы о судьбе

Сидим в чайхане, пьем зеленый чай. У Хамита здесь назначена встреча с аксакалами. Два белобородых старца в тюрбанах имеют к Хамиту серьезный разговор, о чем-то нужно посовето-

ваться. Хамит — весь внимание. Любит он сам без умолку, громогласно говорить, но умеет и других поглощенно слушать, всем корпусом подается при этом к собеседнику, в лице — решимость взять на себя чужую заботу. Рядом с Хамитом чувствуешь какую-то особую уверенность, гарантированную надежность жизни.

Потолковали они про судьбу, про то, как и что идет на свете, и вот уже Хамит — деловой он, как ни странно, человек, — заботясь о том, чтобы и здесь, в чайхане, для меня время шло с толком, переводит разговор на прошлое, но, чтобы аксакалам тоже было интересно, поворачивает вопрос так: разве это не судьба, что он детей находил, хотя и не искал вроде?

«...Мой первый, Кучкар, тот просто дернул меня за полу шинели. Как было мимо пройти?»

Он спрыгнул с поезда и думал, что ступил, наконец, на обетованную землю, которая ждала его далеко и долго, снилась ему в окопах, вся в солнце, не тронутая войной. Но он не узнал знакомого вокзала. Над пустынным перроном не горели ни фонари, ни звезды. Солдат сделал несколько шагов и вдруг услышал... Впрочем, особого героизма в поступке солдата, вернувшегося с фронта с ребенком на руках, конечно, не было.

В радости встречи отец и мать не разобрались сначала, что сын вернулся с войны не один. Заметив мальчонку, отец, Самат-ака, нахмурился: «Это — твой? Ты что — женился? Другие воюют, а ты...» Узнав, в чем дело, отец и мать решили: «Будет наш. Будет Донату младший брат». С начала войны жил в доме Донат Клепиков, мальчик из-под Иванова, у которого умерли родители.

Вскоре новенький (он помнил свое имя — Кучкар) тяжело заболел, начался у него жар внутрен-

ний, он стонал, метался — вот-вот оборвется тонкая ниточка жизни. Врач сказал, что случай безнадежный. Но Хамит настоял, чтобы мальчика положили в больницу, с ним вместе легла мать Хамита Мангит-апа, никогда раньше больниц не знавшая. Почти полгода провела она в больнице с Кучкаром. А тем временем семья Саматовых все росла.

Хамит рассказывает об этом с протокольной простотой и точностью:

«...Через неделю я повстречал Арслана. На углу улицы Карла Маркса и Ленина. Он был синий от холода, но не плакал. Я взял его за руку, он пошел и ни о чем по дороге не спрашивал».

Слушаю его безыскусный рассказ-отчет и пытаюсь представить, что мог испытывать он, молодой еще, 30-летний, неженатый, собирая сирот на улицах. Наверно, и сам не предполагал прежде, что с такой силой может полюбить малое дитя. Сказать: чужое дитя — будет несправедливо. Всех детей в ту долгую военную зиму 44-го, и в весну, и в лето, и в осень, и в следующие зиму и весну, пока война не кончилась, чувствовал Хамит своими родными детьми. Что-то случилось с Хамитом. Будто открылась в сердце какая-то жгучая рана, которую, если хотим мы сейчас, можем назвать страданием за всех обездоленных детей на земле. Разве мог он забыть то, что видел на фронте? Женщину, баюкающую мертвого младенца, ребенка, который пытается сосать грудь убитой матери...

Война в его рассказах встает неким разъяренным, миллионноруким, алчущим крови чудовищем из какой-то невместаемой сознанием взрослой сказки, а он, рассказчик, сам же одновременно и действующее лицо, выглядит в ней ребенком, до

глубины естества потрясенным самой необходимостью противостоять этому чудовищу и убивать, убивать, убивать людей.

Первым попал на фронт младший брат Хамита Азим, его еще накануне войны призвали на действительную службу. Мать, Мангит-апа, глаза проглядела, высматривая почтальона, но писем от сына все не было. Скоро почтальон принес повестку среднему брату Рабиджону, а Хамиту повестку не принес. Получалось, что он, старший сын, должен был оставаться дома со старыми родителями на руках как их единственный кормилец. А война, значит, будет идти и кончится без него? Допустить этого Хамит не мог. Он еще не понимал, конечно, под небом своего ласкового Узбекистана, что такое война, он знал только, что с его страной стряслась большая беда и стыдно в это время отсиживаться в тылу. Хамит явился в райвоенкомат вместе с братом, попросился на фронт, и его просьбу, конечно, уважили.

«Так началась моя, совместная с братом фронтовая жизнь». Они стояли в обороне Москвы и форсировали Дон, освобождали Ростов и множество деревень, названия которых, хоть среди ночи разбуди, выдаст без запинки неусыпающая солдатская память: Первомайское, Колышкино, Глубокое... У Каменец-Подольска под Ворошиловградом война разъединила братьев, и Хамит уже один, без брата, вынес ад Сталинградской битвы. Когда Сталинград был освобожден, надо было отобрать у врага город Изюм («Узюм», — упрямо ошибается Хамит, но это единственная ошибка во всей его русской географии). В Изюме его назначили командиром взвода, а после боя наградили медалью «За отвагу». Потом дивизия, в которой воевал Хамит, подошла к Павлограду, Днепропе-



тровской области, и так отважно штурмовала этот город, что получила название 60-й гвардейской Краснознаменной Павлоградской дивизии (Хамит просит меня записать точное название — вдруг прочтут однополчане, отзовутся). Дальше Хамит брал Запорожье и был награжден орденом Красной Звезды. И вот, наконец, ему предстояло форсировать Днепр, где он погибал и родился заново...

«...Возвращаюсь один раз с работы и вижу: на Пушкинской улице женщины обступили ребенка, чистый такой, игрушку в руках держит. «Давно он здесь?» — спрашиваю. «Часа три». — «Ладно, — говорю, — идите, я подежурю». Честно, до самой темноты ждал, но никто за мальчонкой не пришел. Мой отец назвал его Суннатом».

Дальше, не переводя дыхания, — рассказ о Лизе:

«...Несколько раз я замечал эту девочку у малярной станции, ходила в грязном платье, что-то искала. А тут пришла к нашему двору, смотрит через забор, как ребята играют. Я ее узнал и спрашиваю: «Что ты на малярной станции делаешь?» Она, Лиза, испугалась, заикается, но отвечает: «Когда все уходят, я там сплю». Ну, не мог я стерпеть и взял ее в дом».

Хамит откашливается, чтобы прогнать жалостливую хрипотцу из голоса. Аксакалы согласно кивают турбанами в такт его рассказу: да, судьба, стало быть, на роду так написано — быть Хамиту отцом всех повстречавшихся на его пути детей.

Судьба? Для себя я имею более убедительное объяснение. На войне Хамит видел множество

смертей, сам должен был убивать, мог погибнуть и погибал уже. Но остался жив. И в том деле, на которое решил он теперь употребить свою жизнь, было как раз не согласие, а спор с судьбой. Когда одна бомба может убить сразу сто, а то и тысячу человек, ему упрямо хотелось доказать, насколько ценна одна-единственная человеческая жизнь. Из ада войны, ожесточающего, как считают некоторые, людские сердца, Хамит, сам того не ведая, вынес чувство, которое другой человек, тоже потрясенный ужасами войны, назвал «благоговением перед жизнью». Хамит не знает, кто такой Альберт Швейцер, но очень понравились бы ему эти швейцеровские слова: «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить...»

Многие дети пришли к Хамиту в жизнь как бы из тайны. Говорить в большинстве своем не умели, кто они и откуда — не помнили. Откуда взялся на вокзале Кучкар? Как оказались на улице Арслан, Суннат? По чьей-то неосмотрительности? Их потеряли, когда везли в детдом? Или кто-то умышленно ребенка на улице бросил? Вечная это проблема: самоотверженность одного человека часто исправляет то, что по слабости или жестокости совершил кто-то другой. Но мысль об этом даже в голову Хамиту не приходила. Когда собирал он своих детей на вокзалах, базарах и улицах, об одном только мечтал и думал: поскорее спасти. Пусть он будет грязный, оборванный, пусть и в его, Хамитовом доме, останется таким же худым и почти всегда голодным, но пусть будет он живой, просто живой.

Когда приводил он в дом (а чаще — приносил как драгоценную безымянную ношу) этих испуганных, дрожащих от холода, «ничейных» детей

(лишь потом выяснилось что Кучкар — туркмен, Женька — белорус, Нуримахаммат — таджик, Лиза — еврейка, Керим — татарин), Мангит-апа говорила: «Кто бы он ни был, это — человек».

Сердце Хамита радовалось словам матери. Слова эти были ему знакомы. Да, он услышал их, когда родился вновь там, на берегу Днепра.

...Полную боевую готовность объявили в 12 ночи. Ни секунды на размышление. 38 человек и три станковых пулемета погрузили в один баркас, и Хамит был старшим на баркасе. «Вперед, вперед, Узбекистон!» — кричали ему по рации с берега. («Узбекистон» — так звали Хамита на войне.) И он, отрываясь от наушников, тоже кричал своим бойцам: «Вперед! Вперед!» Бойцы налегали на весла, направляясь на тот берег Днепра, а враг повесил над рекой ракеты, и стало среди ночи светлей, чем днем, — хоть камешки со дна собирай. И тут враг начал бросать на людей все смертоносное, что только можно было бросить: пули, снаряды, мины. Баркас пробило, дыру заткнули шинелью. Не умолкая, строчили с баркаса пулеметы, но и крик, стоны тоже не умолкали. Был это полный кошмар на воде. «Пятнадцать раненых, десять убитых, двадцать... — считал, стискивая зубы, Хамит и повторял: — Вперед». Своих ран он не считал.

На середине реки баркас стал тонуть. Плавать Хамит не умел. Последнее, что осталось в сознании: левой рукой, которая горит, как в огне, он хватается за невесть откуда взявшееся бревно.

«Это — человек!» — из забвения, из уже подступающего небытия вырвали его эти слова. Чьи-то руки разбрасывали снег, закрывший его могильным сугробом. Потом был подвал, два милых женских лица, совсем молодое и постарше, глоток

воды, кусочек сахара, телега, в которую вместо лошади была впряжена корова,— его везли в госпиталь.

«Может быть, оттого и спасал я чужих детей,— рассказывал мне в первую встречу Хамит,— что хотелось таким путем отблагодарить двух незнакомых украинских женщин, что спасли меня самого от неминуемой гибели на берегу Днепра».

«...Как я нашел Мирали? Было это уже весной 45-го. Ночь, ветер. Шел я по улице Зирабулакской и — что такое? — прячется у забора старик, голова у него одна, а ноги — четыре. Имея уважение к старшим, я подошел. Тут из-под чапана выскользнул мальчишка, а старик отвечает: «И-и-эх, что спрашивать про судьбу? Не можешь помочь, иди своей дорогой». Оказалось, старик — из Бухарской области, жена умерла, дом из-за ветхости развалился. И вот пошли они с сыном счастья на дорогах искать. То их добрые люди в сарай переночевать пускали, а тут выгнали. Старик ночью ничего не видел. Я его за руку взял, он — мальчишку, так и пошли мы в темноте гуськом. Самат-ака дома спросил: «Ты теперь и стариков усыновлять будешь?»

Строгие лица аксакалов при имени Самата-аки светлеют: «О-о! Это человек был! Одну изюминку на сорок частей разделить мог!» Хамит, расстрогавшись, жалуется аксакалам — есть сейчас люди некоторые, они осуждают Самата-аку: зачем разрешал Хамиту детей одного за другим брать, когда их семья была нищей? Вот как неправильно понимают некоторые люди судьбу.

«Правду сказать, к концу войны ничего у нас в доме не было. Только вши и солома. Зимой на

детей пара калаш одна, по нужде выйти — очередь ждали».

Вши и солома — об этом и вспоминать в паше время как-то неуместно, стеснительно. Но смело вспоминает Хамит. Знает же он, что не только хлеб насущный людей спасает. Все до одного его дети выжили — разве это не главное? Все выжили и сами детей нарожали, и правнуки у Хамита уже пошли... Больше девяноста (!) человек семья стала...

Как из крохотного семечка вырастает мощная яблоня и не веришь, что из такой малости может возникнуть большое дерево, так и здесь поражаешься: какими маленькими, еле живыми были дети Хамита и какой крепкий многочисленный возник род.

«Самое бóльшее, что я мог дать всем моим детям, это крышу над головой, сердечное тепло и ласку. А хлеба было совсем мало».

Дети обретали у Саматовых семью, дом — вот что спасало! И горел в той глинобитной избушке очаг. И прикасались к изголодавшемуся по теплу и ласке тельцу ребенка заботливые руки Мангит-апы, и Самат-ака был тут как тут, всего себя посвящал детям.

Самат-ака детей трудолюбию учил. Принесет кирпичи прямо во двор и — кто лучше? кто быстрее? Победителю — приз, урюка две штуки. А еще Самат-ака давал внукам оригинальные уроки честности. Расскажет, например, сказку о том, почему плохо брать чужое, спрашивает каждого: понял? Вроде бы все поняли. Проходит время, и вот однажды на базаре говорит Самат-ака кому-то из них: «Возьми яблоко с чужой арбы». Внук мнется, а потом берет. «И-и-эх, — скорбно качает головой дед, — ничего ты пока не понял». — «Но

ты же мне приказал!» — «Мало ли кто что тебе прикажет! Ты сам брат не должен. Ты свое сердце слушать должен».

И давал уроки доброты. Когда голод был, Самат-ака катышек хлеба возьмет в рот, а остальную свою порцию — детям. Они запоминали. Если бьет один другого, Самат-ака не ругается, скажет только: «Это — брат, твой брат. Ему, как и тебе, больно». Сажает Самат-ака виноград во дворе, дети воду таскают, радуются: «Вырастет, вкусно будет». — «Это — нам польза», — объясняет Самат-ака. А потом сажает виноград на улице, дети не понимают: «Зачем? Чужие оборвут». — «Человек твою виноградинку съест, тебя вспомнит, — объясняет Самат-ака. — Это больше, чем польза».

Радовался Хамит. Из какого горя пришли к нему дети, сколько злых испытаний он сам на войне перенес, а теперь все-все добром оборачивается. Значит, правильно идет жизнь. Кем бы его дети ни стали, лишь бы хорошие люди выросли, чтоб уважение к каждой жизни имели. Ну а как же? Вот ползет муравей. Ты его обойди. Откуда тебе знать, по каким важным делам муравей ползет, не ты его посылал. Разве затем человек родится, чтоб убивать?

«...Иван. Кто он мне? Нет, скорей не сын, а брат будет. Возле нашей части приметил парнишку лет 16-ти, один рукав, как у меня, болтается. Просил он у всех махорки или хоть затянуться. Отца его, оказалось, на фронте убили, мать при бомбежке погибла, сам он партизанил, а теперь от всех отбился, бродягой стал».

Четыре года жил Иван Широков у Саматовых, потом вдруг исчез. Искали его долго, но в один, как говорится, прекрасный день явился сам и — с порога: «Бейте меня, ругайте, я — блудный сын».

«Все правильно ты, Хамит-ака, делал,— говорит самый старый аксакал с красивым точеным лицом. — Это был твой долг, простой человеческий долг — спасти детей. И не понять это могут только плохие люди».

Хамит удрученно замолкает, снимает тюбетейку с головы — скорбный такой жест. Насмешливые, все понимающие глаза завлакивает непрощенная влага. Он пытается скрыть ее, нагибается под стол — якобы погладить кошку (она здесь, в чайхане, на правах хозяйки бродит). Да, ослабел сердцем Хамит. Раньше с ним такого не бывало.

Когда мы выходим из чайханы, молодые мужчины, сидящие на ступеньках, все разом встают и кланяются Хамиту, приложив, по восточному обычаю, руку к груди. Он, высокий, грузный, идет быстрым, широким шагом и тоже приветствует каждого прикладыванием иссохшей раненой руки к груди.

### **Неудавшаяся попытка разговора с памятником**

Жизнь Хамита, превратившаяся теперь в легенду, обрастает, как это водится с легендой, разными слухами и домыслами. Есть в этой большой легенде эпизод о шубе, которую подарил Хамит незнакомому шоферу. Будто ехал Хамит в командировку (работал одно время экспедитором), и машина забуксовала на снежном перевале. Мороз был сильный, пастух в тот день в горах замерз. И вот пассажиры в машине от холода дрожат, шофер под колесами в одном пиджаке возится. Что делать? Тогда Хамит, якобы, вышел из машины, снял свою шубу (первую обнову, купленную после войны), бросил ее на снег. Тут ма-

шина и выкарабкалась из сугроба, а Хамит будто бы потом шубу шоферу отдал: «Тебе ж обратно людей везти».

Был ли такой случай на самом деле? Хамит не помнит. Некоторые его сыновья вроде бы что-то подобное слышали. Но скорее всего, эпизод сочинен молвой, а молва, как известно, отталкивается от правды. Люди, знающие Хамита, ничуть не удивляются: если этого и не было, то вполне могло быть. Подумаешь — шуба. Он последний кусок хлеба отдавал.

Из нашего сегодняшнего благополучия трудно себе представить, как это дети, трехлетние, четырехлетние, спят вповалку на соломе, как это — за целый день съедают по кусочку хлеба. На карточку тогда по 300 граммов хлеба давали, люди умирали от голода, родители бросали своих детей, а он приводил в дом одного, второго, тринадцатого... Усыновлял? Как сказать. Он в самом деле не стал всех детей на фамилию Саматовых переводить. Кто помнил свою прежнюю фамилию, так с ней и остался. Он всех детей в домовую книгу записывал, а как еще усыновлять, знать не знал. «Что документы? Люди живые — вот мои документы». Фамилия, как и национальность, как и другие названия человека, в представлении Хамита никакого значения не имеют.

Сейчас, в мирное время, тоже — бывает — усыновляют детей. Это такая сложная теперь процедура. И не только потому, что дети без родителей остаются сейчас очень редко, но и потому, что те, кто усыновляет, очень серьезно подходят к вопросу. Присматриваются, долго выбирают. Случается, не приживается ребенок в доме, не оправдывает возлагаемых на него ожиданий, и тогда его возвращают, как негодный товар, обрат-



но в Дом малютки. Увы, бывает такое. А Хамит брал детей, думая только о них, он их спасал, а не присваивал.

«Ну, не смог я стерпеть и взял ее в дом...» И это — объяснение? Да один он, что ли, ходил по улицам голодного города? Разве у других людей сердце каменное? Но почему же именно он взял второго, третьего, тринадцатого? Спрашиваю об этом и сразу попадаю в тупик его молчания, в закоулок своей неловкости. Неправильно так ставить вопросы. Нельзя поведением одного человека укорять других людей. Это значит — считает Хамит — раздвигать пропасть между людьми.

Кто сумеет объяснить, почему здесь же, в Узбекистане, в спасительном Узбекистане, где нашли пристанище 100 тысяч осиротевших в войну детей, люди вели себя так по-разному? Все, все было: одни брали детей в семьи, сбивались с ног, организуя детдома, умирали, заразившись от своих воспитанников тифом, другие в это же время воровали продукты, предназначенные для детей... Такие люди, как Хамит, конечно же — прекрасная редкость, но все-таки он не исключение, а олицетворение того добра, которое всегда противостоит беде и горю.

В архивных материалах мне встретилось имя: Бахрихон Аширходжаева. Судьба этой женщины потрясает. Задолго до войны, в 1928 году, подобрала Бахрихон на улице первого подкидыша. А к концу войны она, в ту пору уже овдовевшая, стала матерью двадцати двух (!) чужих детей. Давно нет на свете Бахрихон. Умер и кузнец Шамахмудов, семья которого усыновила 15 детей разных национальностей. Ему, Шамахмудову, в год 60-летия СССР в Ташкенте памятник поставили. На открытии этого памятника говорилось и о Хами-

те: «Тринадцать детей, вихрем войны заброшенных в нашу республику, спас инвалид, вернувшийся с фронта, каттакурганец Хамит Саматов». И вот получается, что этот памятник — стоит мужчина в тюбетейке, положил руку на голову девочки, сидит женщина, обняла ребенка, а вокруг играют другие дети, много детей — и семье Саматовых тоже посвящен. Получается, значит, что, разговаривая с Хамитом, я как бы говорю... с живым памятником.

Вспоминаю рассуждение Пришвина о том, зачем нужны памятники. Они нужны, конечно, не тем, кому поставлены, а всем остальным людям, чтобы знали они, видели, каких высот может достичь человек.

Но можно ли спросить у моря, почему оно глубокое, можно ли спросить у горы, почему она неприступная, можно ли спросить у земли, почему она такая терпеливая и щедрая? Так и у человека нельзя узнать, почему он самоотверженный и добрый.

«Что объяснять? Ребенок умирает на дороге, жизнь ребенка — свечка на ветру. Ты что, мимо пройдешь?» — отвечает Хамит и вдруг, сверкнув огненно-черным глазом, поет что-то озорное по-узбекски, чтобы снизить торжественность момента. Не хочется человеку превращаться при жизни в памятник.

Нет, мне не доводилось видеть на дороге умирающего ребенка. Слава богу, жизнь падит нас сегодня от подобных испытаний. Но разве не было случая, когда слышала зов о помощи (не о спасении жизни, правда, о чем-то куда менее существенном, но откуда нам знать, насколько и что важно в чужой жизни?), да, звучал зов, а я по каким-то причинам (всегда кажется — объектив-

ным) не успевала на него ответить? Некогда, очень некогда... «Спешите делать добро!» Мы, перегруженные информацией, делами, заботами, спешим жить и действовать. Но, может быть, это просто кажется, что спешим жить?

Из письма в редакцию: «Равнодушие и жестокость растут как грибы после дождя. Каждый думает только о себе. Мы не замечаем друг друга, ничего не стоит человеку переступить через человека». Автор, обобщая, сгущает краски. Но настроение, увы, знакомо.

Когда говорю людям о Хамите (мне хочется вновь и вновь рассказывать о нем), часто слышу: импульсивная доброта. То есть он, мол, не делал выбора, а действовал по рефлексу, выработанному воспитанием. Что ж, Хамит подтверждает:

— Отец мой всегда говорил: «Я тебя только доброе учил делать. Будешь плохое делать, встретимся на том свете, в глаза тебе не посмотрю».

«Святая простота», — может снисходительно улыбнуться иной читатель. Чему у него учиться? Внутренний мир современного человека так сложен... И незачем, значит, тайну хамитовской доброты разгадывать — все равно в обиходе она нам не пригодится.

...Вши и солома, только вши и солома, а до урожая еще далеко, и все из домашнего скарба, что можно было обменять на продукты, уже отнесено на базар. И решил Хамит продать свои сапоги. Решение это пришло к нему в одну из ночей, которую он провел без сна, только уже перед рассветом чуть подремал, когда проснулась и заступила на дежурство Мангит-апа. Дело в том, что первое время, пока ребята обвыкались в доме, кому-то из взрослых приходилось ночью дежурить. Ведь дети просыпались, у них болели

животы, они могли устроить спросонья потасовку. Так вот, в это дежурство наслушался Хамит, как постанывают от голода дети, и «кровью облилось мое сердце». Утром Хамит сказал отцу: «Продам сапоги!» Отец молчал. Значит, давал согласие. Хамит понес на рынок и сапоги, и шинель. За шинель предлагали два мешка отрубей, за сапоги — один мешок шрота. Ждал до обеда, надеялся получить побольше. Но тут уж народ стал расходиться. Хамит потерял надежду и вдруг является откуда-то молодой парень, приценивается. «Давай, что даешь», — в отчаянии сказал Хамит и принес с базара четыре мешка отрубей.

С проданной шинели начался добрый поворот в жизни семьи Саматовых. Кстати, и шинель, и сапоги вскоре в дом вернулись. Их принес тот же парень и виновато объяснил, что сделать это велел ему отец. Когда парень описал внешность того, кто продавал шинель, старик сразу догадался, что это был Хамит, сын Самата-аки, который всегда был известен своей добротой для других. Можно ли пользоваться бедой такого человека? Отруби парень назад не взял.

Но не это я имею в виду, когда говорю о добром повороте в жизни семьи. Проданная шинель (когда она еще была проданной) успела сыграть поистине важную роль. Дело было так: после базара явился Хамит на работу в старом чапане и в шлепанцах, сделанных из выброшенной шины. А дисциплина там, где Хамит работал, была строгая. («С первых дней тыловой жизни выполнял я ответственную работу по обеспечению личного состава овощами и фруктами».) «В каком ты виде, Саматов! — возмутился начальник Василий Акимович Мельник. — Как не стыдно? Пропил сапоги, пропил шинель!» — «Я не пьющий, — в свою

очередь возмутился Хамит. — Но должен же я накормить детей!» — «Еще скажи! Ты холостой. Я своей рукой документы писал». Овладев собой, Хамит ответил: «Не верите — проверьте». — «Садись в машину!» — в горячах сказал пачальник.

Как вошли во двор и Мельник всех детей своими глазами увидел, стали мокрыми его глаза. Тут же повез Хамита к себе домой, отдал последнюю буханку хлеба, снял с себя сорочку и попросил жену Марию Артемьевну сшить детям рубахи. Позвал на следующий день тетю Дусю из отдела снабжения и поручил: «По всей возможности помогать Саматову». Сначала с кухни давали одно ведро баланды, потом стали отпускать по два. Может, и не совсем это законно, может, и рисковал Мельник, но голод в семье Саматовых кончился. Мария Артемьевна и тетя Дуся теперь вместе с Мангит-апой купали детей, стирали, латали одежду. Вывели вшей!

С кем бы из детей Хамита я ни говорила, никто не вспоминает, что было голодно, было трудно. Рассказывают, каким добрым был Самат-ака. Какой мудрой была Мангит-апа. А Хамит, отец, таким другом каждому из них был... Донат Клепиков, инженер (он был старшим из детей, уж он-то, думала я, все помнит), неожиданно заявил: «Очень весело нам было!» Да, избирательна детская память. Все плохое, трудное застревает в родительском сердце.

Итак, сказочно изменилась жизнь семьи Саматовых — каждый день им отпускали из столовой 13 обедов. Но Хамит не знал, что подоспел такая помощь, когда подбирал посиневшего Арслана, когда звал в дом девочку в изодранном платье Лизу, когда вел ночью слепого старика с его сыном Мирали. Что бы он сейчас ни говорил про

судьбу, но по фактам получается, что с некоторых пор его жизнь превратилась в постоянную охоту за детьми, которые могут погибнуть. Он не знал, чем их завтра накормит, не задумывался, смогут ли они оценить его доброту, но в ту минуту спешил спасти. Богатому доброту проявить — была бы охота, а ведь здесь, образно говоря, голый человек на голой земле, но как много он сумел сотворить доброты! Он не знал, не ведал, как в это же время ведут себя другие, что есть некоторые другие, по вине которых, может быть, и оказались на улице в таком плачевном состоянии его дети. А если бы и знал, это его не коснулось бы. Он действовал, не надеясь на других, ни на кого не оглядываясь.

«Поделиться последним бывает легче, чем отдать лишнее! — слышала я в ответ на свой рассказ о Хамите. — Благосостояние меняет психологию людей». Нет, никогда не соглашусь, что нравственность зависит от материальных условий, как урожай от дождя. Ну, стал теперь богатым Хамит. Вон какую дачу ему сыновья хошаром отгрохали (жив в Узбекистане старый народный обычай, когда собираются родственники, друзья, соседи и всем миром помогают человеку в каком-то деле). Раньше была солома одна, теперь всюду ковры висят. Но что в психологии Хамита изменилось? «Ему хоть тысячу рублей в карман положи — к вечеру не будет, все раздаст», — говорят его братья. При мне Хамит снял со сберкнижки 300 рублей, вырученных за мед. Зачем? У Арслана крыша прохудилась, надо послать, бедную Нарбодом с двумя детьми муж бросил, у Сунната семья большая, зарплата маленькая — троем сорванцам новая школьная форма нужна. В его архиве мне попала толстая пачка квитанций —

до ста посылок в год посылает Хамит своим детям в разные города страны (значит, моя посылка с чесноком — одна из ста, уже как-то легче). Если заболит тут кто из его сыновей или их жены, дети, он первым появляется в больнице и всегда нагруженный гостинцами, как Дед Мороз. То, что можно купить за деньги, считает Хамит, ничего не стоит. Да разве останавливается жизнь, разве застывает она в благополучии, пусть сейчас и мирная жизнь. Недаром же говорят: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы. Сколько же забот вмещает в себя сердце Хамита!

«Вы помогаете отцу?» — спрашивала я у его детей. «Отец ни в чем не нуждается», — ответил один из сыновей Хамита. «Отец насчет подарков жесткий. Ничего не берет», — сказал другой. А третий сын объяснил: «Ему главное в жизни, чтобы мог он сам другим помогать».

Зять Хамита, работник Каттакурганского райкома партии Талхад Ярмухамедов так объяснил мне психологию своего тестя: «Богатство для него никогда не было богатством. Что богатство? Оно расходуется, как пыль на ветру. А ценность только одна — человек». Талхад, прошедший, как и Хамит, войну, считает, что такое мироощущение особенно укрепляется на фронте. «Там мы видели столько добра под ногами и понимали, какая все это ерунда, мелочь в сравнении с жизнью». Хамит впоследствии расскажет мне такой случай, произошедший у него на глазах. Один солдат позарился на трофейное добро и набил свой вещмешок, а когда пошли в атаку, именно из-за вещмешка вражеский снайпер его сразу же заметил, и был тот солдат единственным, кто в ту атаку погиб.

Тема войны постоянно присутствует в рассказах Хамита. Одним из самых счастливых событий своей жизни считает тот факт, что удалось ему наконец разыскать двух украинских женщин, которые в 1943 году подобрали его, умирающего на берегу Днепра, и отвезли в госпиталь. Надежда Ивановна Николаева и ее мать Мария Тимофеевна сами откликнулись, прочитав статью в «Комсомольской правде».

### **ПИСЬМО ПЕРВОЕ:**

*Глубокоуважаемый Хамит!*

*Только увидела Вашу фотографию в газете, и обмерло сердце. Стала читать статью и все больше волновалась. Сколько раз я и раньше вспоминала те страшные осенние дни 1943 года под Запорожьем. Фронт проходил через село Ново-Александровка, где мы жили тогда с мамой. В нашем подвале лежало несколько раненых бойцов, но одного я запомнила особенно. У него был восточный склад лица. Он больше молчал, может быть, не знает русского — думали мы с мамой. Но он так удивительно улыбался, преодолевая страдания. Столько света, столько благодарности было в его улыбке, что мы не смогли забыть это лицо.*

*Помните, к рассвету подъехали две телеги, раненых уложили по двое. А мы с матерью шли, держась руками за телегу, ни шагу не отступая в сторону. Лейтенант предупреждал нас, что будут проходы через минные поля. За селом попали под обстрел — к Ново-Александровке уже подступал враг. После первого взрыва лошади понесли. Кто-то из раненых крикнул: «Ложись!» Вторым взрывом нас с матерью присыпало землей. Мы остались живы, работали потом на кухне военнo-*



го госпиталя, но тот обоз с ранеными так и потеряли.

Не знаю, дорогой Хамит, Вы ли это были в нашем подвале? Некоторые факты не совпадают. Вы говорите: Вас увезли на телеге, в которую была впряжена корова. Но ведь корова только шла за телегой. Вы вспоминаете кусочек сахара, но у нас не было сахара, мы давали раненым кусочки яблока, чтоб утолить жажду. Вы запомнили дату 18 октября, а мне кажется, что бой был 18 сентября.

Может быть, это и не Вы... Но, так или иначе, разве Вы должны благодарить «тех украинских женщин»? Это Вам низкий поклон до земли и всегдашняя благодарность, что ценой своих страданий спасли нашу жизнь, жизнь многих миллионов, кровью своей отстояли нашу землю. Спасибо и за Ваш гражданский подвиг после войны.

Мама моя, ей уже 80, тоже узнала Вас на фотографии и говорит, что человек с такой улыбкой, которую мы помним, мог совершить такое благородство — мог воспитать 13 чужих детей...

Н. Николаева

## ПИСЬМО ВТОРОЕ:

Родные наши Хамит, Санобар, Мангит-апа и все Ваши дети!

Смогу ли я выразить то счастье, в котором живу после Вашего письма? Вы правы, Хамит, все совпадает. В библиотеке я перечитала много литературы о Великой Отечественной войне и нашла, что нашу Ново-Александровку действительно освободили 18 октября. Четверо суток мы были в подвале, а на пятые ушли вместе с ранеными, за телегой. И мама подтверждает, что тогда было

холодно, мы уходили в пальто. А сентябрь у нас теплый.

Мама живет в моей семье. А отец наш погиб в 1942-м, пропал без вести. Хоть бы могилу найти — мы даже этого лишены. Всей семьей 9 мая носим цветы на могилу Неизвестного солдата, долго стоим и плачем.

Мы с мужем вырастили двоих дочерей (обе — инженеры-строители), растим теперь внуков.

Конечно, мы должны, мы будем не только переписываться, но и часто встречаться. Для всей Вашей большой семьи наш дом должен стать совсем родным. Напишите всем детям, если у кого отпуск, командировка, пусть не минуют нашего дома.

Н. Николаева

«Ты должен этих женщин до самого Каттакургана на плечах донести», — сказала сыну Мангитапа. Хамит немедленно к ним поехал, потом Николаевы в Узбекистан приезжали (не раз), потом дети Хамита ездили к Николаевым. Они стали родными людьми. Это самый большой подарок, который принесла ему слава. «Найти человека...» — начинает и не договаривает Хамит.

### Портрет отца глазами детей

(из анкет, хранящихся в Каттакурганском краеведческом музее)

Арслан: В детские годы я многого не понимал. Все казалось обычным. Обо мне заботились, и я нисколько не чувствовал, что живу не в родной семье.

Кучкар: Как-то играя на улице, я узнал, что

Хамит — не родной мой отец, я отлупил того, кто мне это сказал.

*Суннат:* Хамит взял меня в свой дом, и этим он дал мне жизнь.

*Нуримахамат:* Какие бы трудности перед нами ни стояли, иногда они казались непреодолимыми, Хамит учил нас стойкости и терпению.

*Донат:* Особенно нравится мне благородство души моего приемного отца. Он чуткий к чужому горю и отзывчивый на любые трудности.

*Карим:* Только теперь, став сам отцом, я до конца понимаю, как много сделал для меня Хамит.

*Керим\*:* Я жил в семье Саматовых недолго. Но если человек спас тебе жизнь, какой мерой исчислять время?

*Рашид:* После армии я снова вернулся к Хамиту, как в родной дом, да так оно и есть — это мой дом.

*Мирали:* Когда прихожу к Хамиту, чувствую себя на свете не одиноким.

*Иван:* Наверно, я родился счастливым, раз попал в семью Саматовых.

### Санобар в свете луны

Наслушавшись рассказов Хамита и заново их пережив (все-таки случилось это — в чайхане он рассказывал аксакалам про своих детей так, что мне казалось, будто слышу все впервые), ночью никак не могу уснуть. Дети Хамита, такие, какими они были в тот момент, когда он их находил:

---

\* Это не опечатка, читатель. У двух сыновей Хамита почти одинаковые имена, в одной букве разница и еще в национальности: Карим — узбек, Керим, как уже говорилось, — татарин.

чумазые, дрожащие от холода, не помнящие, кто они и откуда,— будто обступают меня, требуют помощи...

Одно из самых горьких воспоминаний детства — бабушкина песня (она почему-то часто мне ее пела) об одиноком мальчике, блуждающем в большом холодном городе: «Кто накормит и согреет, боже, бедну сироту?..» Так с детства и запомнилось: одинокий, ничей ребенок — страшнее этого ничего на свете нет.

Выхожу из комнаты. Над большим двором Хамита — созревшая до полноты луна. Она, видевшая то, что было сорок и тысячу лет назад, вобравшая в свой свет миллионы человеческих взглядов, обращаемых к ней с мольбой и скорбью, неспособная никому помочь, но, наверное, все-таки сострадающая, а не равнодушная, луна сегодняшней ночи кажется мне неотъемлемой принадлежностью Хамитова двора. При свете луны жизнь, текущая на этом дворе под неутомимый аккомпанемент тоненького арыка, кажется неким фрагментом вечности. Хочется назвать эту жизнь забытым словом: бытие. И думать о простом и важном: как бы ни менялись времена, условия, а человек всегда останется человеком и сокровища души никогда не упадут в цене.

Кто-то тихо подходит сзади, легкая рука ложится на плечо. Не оборачиваясь, узнаю Санобар, она встревожена: почему не спится гостю. Маленькая, всегда приветливая Санобар, в отчаянной схватке с невзгодами она покорно несла груз наравне с Хамитом, но так молчалива, что журналисты порой забывают о ней. Вот и я до сих пор не рассказала о Санобар. Поскорее нужно исправить эту ошибку.

Санобар появилась в семье Саматовых вместе с

победой — в мае 1945-го. Ей исполнилось тогда 19 лет, у нее из-под тубетейки струилось 25 тонких косичек, и она сразу стала матерью 13-ти детей. Еще пятерых сыновей и дочь она родит Хамиту позже, уже в пятидесятых, когда забудется голод.

В прошлый приезд мне так и не удалось поговорить с Санобар. Она тихой тенью мелькала по двору, возникала по первому зову Хамита, быстро подавала на стол, улыбалась, потом исчезала. Хамит говорил мне тогда, что женился на Санобар по любви, а она якобы выходила за него из одной жалости.

«Правду ли говорит Хамит?» — давно хотелось спросить мне у Санобар, но все не было случая. А сегодня вечером он представился — в доме собралось много детей с семьями, за столом было шумно, но Санобар, как всегда, не сидела за столом, и тогда я решилась взять в переводчики Доната, и мы пошли к Санобар на кухню. «...Правду ли говорит Хамит?» Она смущенно закрыла лицо рукой, потом с отважным вызовом ответила: «Неправда. Хамит мне сразу понравился». — «Вы не боялись, что у него столько детей?» — «Почему бояться? Там же были Мангит-апа и Самат-ака». — «Вот все пишут о Хамите, а ведь главные заботы с детьми достались вам...» Она повторила: «За детей отвечала Мангит-апа. Я просто делала всю домашнюю работу».

Теперь стоим и молчим (луна — не переводчик). Вспоминаю услышанные накануне слова Санобар и думаю: все-таки про Мангит-апу она правильно сказала. Будто вижу вновь Мангит-апу — сухонькую, с седой прядью из-под черной косынки, сидящую на лоскутном одеяле в углу полутемной комнаты в старом доме на Нахимо-

ва, 2. У нее были серьезные, добрые глаза и величественная посадка головы. Она уже в ту пору болела, от хозяйства отошла, но по-прежнему всеми важными делами в доме правила — дети и внуки приходили к ней за советом, докладывали новости.

Мангит-апа ни разу в жизни сфотографироваться не согласилась, интервью никому не давала. Но и без интервью можно было понять и представить себе ее жизнь. Родившая троих сыновей, проводившая всех троих на фронт, а потом дождавшаяся их (пусть у Хамита рука висит плетью, а у Азима — непроходящие головные боли, но все-таки они покалечены не настолько, чтобы это было безысходным), она без устали благодарила судьбу и готова была всему свету отработать за то, что война пощадила ее семью — сыновья живы! И труд она не считала за труд, когда дело касалось спасения детских жизней. А потом в этот труд, в этот воз впряглась и 19-летняя Санобар. Что знала она тогда о жизни? Что-то главное знала... Все приемные дети Хамита называют Санобар матерью.

Сейчас стоим и молчим. Ее маленькая шершавая ладонь, ее девическая застенчивая улыбка... Не знаю, о чем думает Санобар, но мне неожиданно вспоминается очень далекая от этого двора, от этой луны вещь. Недавно в журнале «Америка» я прочла серию статей о современных тенденциях в движении женщин за свои права. Речь — о семье и карьере. Кто-то утверждает, что они все-таки совместимы и нет, мол, здесь дилеммы успеха. Одна бывшая журналистка, долгое время не хотевшая иметь детей, теперь все-таки признает, что семья важнее службы. Но поразила меня последняя статья с названием: «Решение не иметь

детей». Супруги, оба — деятели науки, зарабатывающие вдвоем 66 000 долларов в год, имеющие просторный дом из восьми комнат, дружно распределяющие между собой домашние обязанности, приняли окончательное решение не иметь детей. «...Единственное, ради чего стоит иметь детей, это чтобы в старости они о нас позаботились». Но зачем этим супругам чья-то забота, когда они и сами могут прекрасно обеспечить себе старость. И вот... «Билл взял инициативу на себя. Он решил на небольшую, но необходимую операцию». Не может теперь у них быть детей! Рядом со статьей была помещена фотография: улыбающиеся, довольные собой, сидящие чуть поодаль друг от друга на уютном низком диване в роскошной своей гостиной, эти двое казались воплощенным символом одиночества и вызвали острую жалость.

Дети. Зачем нужны человеку дети? А зачем вообще человеку люди?

Кусок хлеба, крыша над головой, тепло очага — простые, но великие вещи. Порой мы их не ценим. Но разве от них, от вещей, от материальных благ, какими бы комфортабельными они ни становились, зависит ощущение ребенка, да и взрослого: это — моя семья, мой дом? Но почему же так часто, пытаясь разобраться в отношениях между людьми, мы декорации жизни принимаем за суть жизни? Забываем, как это важно — дать почувствовать человеку: «Я тебе рад...»

### Сколько же детей у Хамита?

Перед нашим отъездом Хамит решил созвать семью на плов. Рано утром идем с ним на базар, он сам должен выбрать мясо, серьезное это дело

не может передоверить никому. По дороге, по случаю, еще раз пересказывает историю своего сына Нуримахамата — ведь именно на базаре он тогда этого мальчишку с его собакой нашел. Да как нашел? Неделью целую за ним по базару гонялся. Правда, это не здесь, а в Кашкадарье было.

«...Поехал я в командировку в Кашкадарью. Люди рассказывали (знали уже, что я детей беру) про мальчишку. Жил он с отцом в мечети, а потом отец умер, и мальчишка бродяжничает по базарам, подворовывает мало-мало, ночует с собакой на кладбище. Разыскал я его, а он — ни в какую. Дорожил своей свободой и своей собакой. Собака, правда, была большая, красивая. Шарика нашего помните? Это той собаки сын. Я снова ходил, уговаривал. Вместе с собакой Нуримахамат ехать согласился. Проводник поезда всю дорогу ругал: «Избалуют детей, даже их собак с собою таскают».

На базаре Хамит не забывает купить соленые косточки, жаренные в золе, их любит Соадат. Это дочка Нуримахамата. Она, как уже говорилось, живет в доме Хамита, учится в техникуме. Почему так получилось? Почему Хамит, получив однажды письмо от Соадат, в одночасье собрался и помчался на такси в Кашкадарью внушку забирать? А, стыдно сказать. Нуримахамат глупость хотел сделать — выдать Соадат замуж за нелюбимого, а она ведь совсем дитя еще...

Впрочем, эта история — уже из современной жизни, а всех историй, что сегодня на Хамитовом дворе происходят, за тысячу и одну ночь не перескажешь. Нам бы с прошлым разобраться. Ведь и в нем, в знакомом прошлом, открываю для себя много неожиданностей.

Вот вернулся Хамит с базара, прилег на широ-



кой деревянной тахте под деревом и пальцы загибает, кого на плов позвать. Среди имен, которые перечисляет, некоторые слышу впервые: Зиби, Ташби, Наимхон... Вроде бы всех детей Хамита лично или по фотографиям знаю, а это кто? «Тоже моя дети», — как-то виновато отвечает Хамит. И дело тут, оказывается, вот в чем: не про все рассказывает он журналистам. Зачем рассказывать, к примеру, что брал он детей дальних своих родственников? Помочь родственнику — в порядке вещей. Если в дом «черная бумага» с фронта пришла — отца убили, если мать тяжело болеет, как тут было не помочь? Значит, не тринадцать, а куда больше приемных детей у Хамита было? «Э-э, что считать? Разве я план выполнял?» — отшучивается Хамит. А вот одного из тех тринадцати, о которых не раз поименно писали газеты, хотел бы Хамит из числа своих детей «вычесть»: сильно пьет М. («такой черт» — ругается Хамит). В семье Саматовых отношение к спиртному строгое: в рот не брать. Это наказ Самата-аки. Хамит однажды нарушил запрет: встретившись с фронтовым другом через 30 лет, от радости и поддавшись уговорам, выпил стакан. Представьте, брат Азим за это с Хамитом много лет не разговаривает. Помогают друг другу, чем могут, но все — молча. Такие нравы. А вот М. пьет, сильно пьет, ох как он честь семьи позорит. Ну, хорошо, не буду писать полного имени этого сына. Но почему Хамит не зовет на плов ту свою приемную дочь, с которой я встречалась в прошлый приезд? Кажется, у нее было какое-то красивое имя, начинающееся на «о». «Ш-ш-ш», — прикладывает палец к губам Хамит. Ее имени даже произносить вслух не нужно. Девочка хорошая, добрая, она Мангит-апу до самой смерти навещала. А теперь замуж вы-

шла. Муж — образованный человек, учитель, не хочет он, чтобы люди знали, что его жена выросла в Хамитовой семье, стыдится вспоминать, что жила она в такой бедности. Учитель знаешь как должен свой авторитет беречь...

Ни иронии в голосе, ни обиды. На мгновение показалось: загрустил. Нет, я ошиблась. Голос Хамита вновь поет и ликует: если не считать «этого черта М.», из всех детей Хамита хорошие, честные люди вышли. А что еще нужно отцу от детей? Только их счастье. Разве мог возражать Хамит, когда вскоре после войны родственники Лизы приехали ее забирать? Да он их и увидеть не смог — в командировке был. Зачем-то предлагали они Санобар деньги, но она тихая-тихая, а так на них посмотрела... Два дня, правда, ждали они Хамита, чтоб спасибо сказать. Хорошие люди! Пусть счастлива будет Лиза.

Когда жизнь стала лучше, начали к Хамиту непрошенные гости наведываться — ребенка на воспитание выбирать. Обижался на это Хамит: почему раньше свою помощь не предлагали? Да и сами дети не хотели от Саматовых уходить. Только одного сына, и то уже после прохождения армии, отдал в другую семью Хамит. Решил Хамит уважить просьбу Бахрама-аки, доброго человека, который на старости лет остался без наследника и некому даже хозяйство завещать. Пусть будет счастлив Суннат.

Зато как торжествовал Хамит, когда родные находили родных. «Война рассыпала людей, как просо, будь проклята подлая война!» Сколько неожиданных встреч, сколько праздников видел двор Саматовых. Вот Нуримахамат, тот мальчишка с собакой, отыскал сначала брата, потом сестру и, наконец, втроем они родную мать нашли. Пусть

будет счастлив Нуримахамат. Пусть все дети будут счастливы!

Вот и проанализируй тут: как развивался характер Хамита. Кто-то из детей убегал (потом возвращался), кого-то увозили родители (и адрес даже не сообщали), что ж, он оставался к этому равнодушным? Не болело разве у него сердце от человеческой неблагодарности? Но откуда мне это знать, когда сам Хамит про такое помнить не помнит. Да, собственно, мог ли он меняться характером, отчаиваться, когда сам отважился взять на себя такой крест? И чему тут удивляться? Если бы я впервые его увидела, можно было бы и удивиться и написать о его жизни как о подвиге. Но я ведь давно знаю, что Хамит просто жил как жил и все, что он делал, было естественной потребностью его сердца. И стыдно мне писать то, чего нет. Подвиг — это всплеск сил и возможностей человека, что-то особенное, разовое. А здесь — самая обычная жизнь.

Ну, вот представьте себе эпизод. Мы собираемся уезжать, пакуем сумки, а Хамит вдруг тащит за ворота своей дачи. «Ты скажи, товарищ Володя, можешь ты у себя в Москве из дому выйти и прямо посреди улицы сесть? Не можешь? А я могу». Крупными, размашистыми шагами выходит на дорогу, утопанную подошвами, колесами и копытами, решительно садится, поджав по обыкновению ноги, и на лице — блаженство. «О! Ящерица! Ух, труженица! По своим делам побежала». А больше никто по дороге не бежит, не идет и не едет. Тихо так, что можно услышать, о чем шепчутся пески лежащей неподалеку пустыни. «И-и-эх, в раю живем!» Мой коллега Богданов, «товарищ Володя», как именует его Хамит, наблюдает эту сцену с улыбкой, но доставать фотоаппарат

не спешит — неловко как-то снимать в таком странном виде человека, известного всей стране.

...Шел третий день нашей жизни в раю. Хозяин рая (мудрец? ребенок?) сидел у наших ног в дорожной пыли, на своей, пока безымянной улице. Что хотел он сказать своей странной выходкой? Не знаю, не хочу гадать. Пусть сидит...

Пять фильмов снято об этом человеке, две книги написаны, больше сотни статей... Только сам человек ничего этого не читал, горько признаться, но ведь он, Хамит, неграмотный. И зачем, спрашивается, ему слава? Живой человек, пусть он даже прямо на земле сидит, все равно выше памятника. И больше всего того, что можно рассказать о нем.

\* \* \*

«...Знаете, кто такой интеллигент? — загадочно улыбнулся Амирэджиби. — Это человек, желающий другим людям добра. Он, может быть, книжек не читает, в театры не ходит, но у него в голове — свет, понимаете?»

Эти слова показались мне точной характеристикой моего Хамита. И вообще вся беседа с писателем Чабуа Амирэджиби, человеком удивительной судьбы, была как бы объяснением тайны доброты, той тайны, которую мне так хотелось разгадать на этих страницах. Радуюсь возможности закончить книгу разговором со столь авторитетным собеседником.

«Ты мудр, ты видишь это все ясней», — мысленно обращала я к нему известные дантевские строки. В беседе с Амирэджиби все суждения о нравственности, кажущиеся порой зыбкими, взметающими тучу разных смыслов, становились осязаемыми и твердыми.

## «ВЕРЮ В ЭНЕРГИЮ ДОБРА!»

Чабуа АМИРЭДЖИБИ:

«...Я думаю, что добро — особый, не изученный пока вид энергии, которая не исчезает из мира, а накапливается».

Он возил нас в горы, возвратились в Тбилиси поздно, уставшие, но Амирэджиби, «неутомимый Чабуа», настоял, чтобы все мы шли с ним на празднование дня лесника — он обещал и, значит, должен прийти во что бы то ни стало.

Торжественная часть давно закончилась, лесники — люди в модных современных костюмах — уже сидели за столиками ресторанный зала, гремела музыка, стоял чад от шашлыков и сигарет, и в первые минуты (так, во всяком случае, показалось) мы были лишними среди набравшего силу веселья. Вдруг музыка смолкла, раздался грохот отодвигаемых разом стульев, все встали, и в полной тишине какой-то человек (лесник, а может быть, министр) сказал тост в честь Чабуа Амирэджиби. Запомнились слова: «Мы любим тебя не только за то, что ты, знаменитый писатель, прославил нашу Грузию, а прежде всего за то, что ты — добрый человек».

Амирэджиби слушал внимательно, чуть склонив голову, будто не о нем шла речь. «Все мы до тех пор люди, пока хотим стать лучше, — сказал он потом и предложил странный тост: — За проклятие человека, который доволен собой!»

Не слыша страстной убедительности его интонаций (голос у Амирэджиби хриплый, будто готовый вот-вот сорваться, но никогда не срывающийся), не представляя его обаятельного прямодушия и всего облика («профиль мудреца и воина» — пи-

шут о нем), трудно воспринять с листа строй его речи, но я сохраняю слова Амирэджиби в доподлинности, как бы необычно они ни звучали.

### О «моде» на добро и о совести

*«...И было человеку дано:*

*Совесть, дабы он сам изобличал недостатки свои. Сила, дабы он мог преодолевать их; Ум и Доброта на благо себе и присным своим, ибо только то благо, что идет на пользу ближним...»*

С этого эпиграфа, стилизованного под эпос, начинается роман «Дата Туташхиа».

Амирэджиби сразу предупредил, что говорить о своем романе ему не хотелось бы: «Надоело. Стыдно повторяться...»

Взрывной успех «Даты Туташхиа», его первого и пока единственного романа, вышедшего десять лет назад и переведенного на многие языки, в том числе на язык кинематографа (по роману был снят многосерийный телевизионный фильм «Берега», удостоенный Государственной премии), до сих пор привлекает к автору слишком много внимания. Наступила пора, когда популярность мешает работать. Пишет Амирэджиби трудно и медленно, по многу раз переделывает написанное. Сейчас на его письменном столе сразу две работы — трилогия о судьбах Грузии XIII века и книга воспоминаний: «Это будет что-то вроде дневника 60-летнего человека. Не так уж много осталось времени...»

Ему бы запереться и работать, работать. Но по свойствам характера не может он отгородиться от жизни. У него очень хлопотная должность — директор Грузинской студии документальных фильмов. А кроме того, его приглашают в поездки, на

встречи с читателями, к нему просто приходят знакомые и незнакомые, чтобы попросить совета, помощи, и он никому не может отказать: «По грузинским обычаям, это было бы хамством».

Но как все-таки обойтись в нашей беседе без Даты? Этот благородный абраг, борец за справедливость, рыцарь добра стал почти народным героем, его любят как реального человека тысячи читателей и зрителей. Нам сказку рассказали, а мы поверили...

— Это загадка, касающаяся духовного мира современного человека, Чабуа Ираклиевич. Может быть, Дата потому оказался так нужен сегодня, что выявил в нас, вроде бы рациональных, скептических, ни в какие мифы не верящих, неистребимую детскую тоску по идеальному герою?

— Что же здесь загадочного? Каждый человек понимает, что рожден он для добра, а не для зла. Другое дело, что добро требует усилий, а зло сделаешь и не заметишь. Так было всегда: зло прикидывалось добром. Обычный способ приспособляемости. Иначе как, скажите, злу выжить?

...Человек по природе своей устремлен к добру? Прекрасное, но все-таки спорное утверждение.

Утопист он, Амирэджиби? Романтик?

Но ведь этот романтик знает изнанку жизни лучше, чем любой скептик. Успех, известность пришли к писателю поздно, после пятидесяти. А начиная с ранней юности жизнь его была полна суровых испытаний. Еще не зная, что когда-нибудь возьмется за перо, не ради сбора литературного материала и не по своей воле, а по воле судьбы переменял он множество мест и профессий. Ставший жертвой несправедливого обвинения, он шестнадцать лет провел на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в Белоруссии и в Сибири. Работал лесо-

рубом, стекольщиком, шофером, грузчиком, директором лесокombината и снова лесорубом. Был обречен на смерть (как он сумел выжить — расскажу позже). Жизнь, кажется, делала все возможное, чтобы ожесточить его. Но остался Амирэджиби веселым, независимым человеком, одержимым, как и его герой Дата Туташхиа, идеей служения добру.

Рассказываю ему, что в одной московской школе писали сочинение «Какие черты характера ты ценишь выше всего?». И большинство старшекласников, к удивлению своей учительницы, на первое место поставили доброту. Добро входит в моду?

Амирэджиби внимательно слушает, вроде бы соглашаясь, потом легко поводит рукой (жесты его исполнены величавого достоинства) и будто отодвигает несерьезный вопрос:

— Мода здесь ни при чем! Просто эти сочинения — симптом того, что ощущается дефицит добра. И, знаете, это очень хороший симптом. Если потребность, считавшаяся раньше второстепенной, выдвигается на первый план, значит, она будет так или иначе удовлетворяться.

— Но многие из нас хотят доброты от других, а сами проявлять ее не спешат.

— Значит, забыли мы, что такое совесть, — отрубает он.

Совесть... Что есть совесть? Столько раз на страницах этой книги шла речь о совести. Может быть, сейчас я услышу какой-то окончательный ответ?

Амирэджиби рассказывает притчу о чабанах и винтовке. Я не сразу понимаю, что эта притча — о совести.

«...Есть в Грузии такое красивое место — Верхняя Тушетия. Башни старинные стоят, народные празднества проводятся, а жителей почти нет.



Только чабаны со стадами бродят. Мы, несколько человек, летели туда вертолетом. Хотел я навестить одного чабана — своего старого друга, которого знаю по трудным временам, очень интеллигентный это человек.

Нашли мы его, отдыхали на стойбище, что-то пили, что-то ели, а потом чабан и говорит одному из моих спутников: «Резико! Купи мне в Тбилиси ружье. Здесь у всех пастухов ружья есть, а у меня нет». — «Хорошо, — говорит Реваз, — куплю».

Утром мы пошли в другую заброшенную деревню. Ночевали в пустом доме, где уже давно никто не жил. Стали утром умываться, и вдруг Реваз какую-то доску в стене отодвинул, а там — карабин, ухоженный, как новенький, стоит. Возвратились мы к нашему чабану, и Реваз радостно сообщает: «Слушай, тебе нужно ружье? Так вот мы в Парсме хороший карабин видели». — «А, этот... Мы знаем... Это не наш карабин».

Оказалось, из того дома в начале войны ушли отец и двое сыновей. Все трое на фронте погибли. А карабин как памятник погибшим остался. Все пастухи о нем знают, время от времени кто-то из них его чистит, но взять себе никому и в голову не приходит. Так воспитали этих чабанов. Память погибших для них — святое, заповедь «не укради» — незыблемое. Это и есть совесть».

И еще раз повторил: «Так их воспитали...» Этой притчей он начал самую волнующую его сейчас тему:

— Назрела необходимость вернуться к проповеди нравственного кодекса! Я считаю: мы совершаем громадную ошибку, что походя, формально обучаем наших детей нравственности. Моральный кодекс висит на стене, а кто его активно проповедует? Будь по мне, я бы не стал обучать

детей по таким обширным программам арифметики, грамматики, биологии и так далее. А главным сделал бы один предмет: «Как жить человеку в обществе». Пока они маленькие, пока без критики воспринимают слова взрослых (наука считает, что в 10—12 лет этот безапелляционный возраст кончается), нужно вложить им в душу как непрерываемый закон: ты не один живешь на свете и должен думать о тех, кто рядом. А то что же получается? Тратим на обучение огромные средства, выращаем интеллектуала, а душевно он не развит, уважать интересы других людей, интересы нашего советского общества не умеет. Вручаем потом специалисту диплом, а это одновременно знаете что? Разрешение на грабеж! Да, именно на грабеж, если знания он использует только для личного обогащения. Во вред обществу. Он не знает элементарного закона общежития: сначала ты должен отдать, а потом уже взять что-то взамен. Он этого не знает, не хочет знать. Берет себе и берет... Я об этом недавно с министром просвещения Грузии говорил: почему вы называетесь министерством просвещения? Просвещение и образование — не одно и то же. Нужно спешить с просвещением!

### **О зависти и чувстве собственной скорости**

*«Жизнь — это процесс добывания духовной и материальной пищи, а нравственность — сила, организующая этот процесс».*

*(Из романа)*

— К сожалению, разговоры о нравственности даже у нравственных людей вызывают порой раздражение. Сегодня спорят: в чем счастье, в чем успех? Все перепуталось...

— Ничего не перепуталось! — решительно говорит, вернее, восклицает он и возвращается к разговору о зависти, который начался, когда мы еще ехали в машине.

Он сам сидел тогда за рулем. На лице — всегдашняя ироническая улыбка, которая отнюдь не означает насмешки над собеседником, а просто придает любому разговору оптимистический оттенок. Уж не помню, о чем шла тогда речь. Вдруг он сказал:

— Знаете, что сегодня, в век НТР, правит миром? Зависть!

— ???

— Вот дорога, я наблюдаю многих водителей. Обгонит он тебя, потом другую машину, третью, пятую (если не каждый раз, то часто — создавая аварийную ситуацию), а минут через десять снова видишь его — тащится в хвосте у какого-то самосвала, груженного ломом. Ну что он выгадал? Кому что доказал?

И вообще, зачем жить с постоянной оглядкой на соседа? Ну, допустим, перегнал я своего соседа — у него белая спальня, а у меня — в стиле рококо. Но теперь нужно перегнать другого, у которого кроме рококо есть еще Волга. Так. А потом — третьего, у которого Мерседес. Но этой же гонке нет конца! Как у водителя, который хочет перегнать все миллионы машин, что существуют на свете, и весь подчинен желанию быть там, где его нет...

— Вы говорите, что регулировщик гонок — зависть. Но сейчас это называется более красиво: престиж.

— Какой тут престиж?! Если бы речь шла о том, что у меня должно быть больше научных трудов, чем у другого, и эти научные труды должны

быть лучше, чем у третьего, вот это — престиж. А так — не будем романтизировать — зависть, чистая зависть.

Он стал сердитым, доброжелательный Чабуа. Потом какое-то дорожное впечатление переключило его внимание. Но вот сейчас, в его кабинете, разговор о зависти возникает вновь.

— Ничего не перепуталось! — говорит он. — Общество всегда делилось на тех, кто трудности времени выносит на своих плечах, и тех, кто на этих трудностях пытается нажиться. Ну и что ж, разве порядочный человек должен отказываться от своей потребности добротворчества только на том основании, что в обществе, даже в нашем социалистическом обществе, существуют прилипалы и паразиты?!

(О добротворчестве он говорит в каждом своем интервью, утверждает, что принцип добротворчества был провозглашен грузинской литературой с древнейших времен.)

Пытаюсь приземлить разговор:

— Пользоваться благами жизни хочет каждый. Вот вы, к примеру, тоже будете испытывать дискомфорт, если у вас не будет настольной лампы.

— Извините, перебью вас. Я буду чувствовать дискомфорт не в том случае, когда у меня не будет лампы, а когда моя бумага будет плохо освещена. Прошу усмотреть в этом разницу.

И тут он проводит небольшую экскурсию по своему кабинету, с усмешкой обращает мое внимание на то, что два плафона в светильнике разбиты: «Дети играли и разбили, надо, конечно, купить новые, но все некогда...» (У Амираджиби шестеро детей.) Узнаю, что письменный стол сделан, оказывается, своими руками: «Хотелось иметь большой стол, чтобы удобно разложить все мате-

риалы. Но то денег нет, то времени, чтобы искать... Да ну его к черту! Вот взялся и сбил себе сам. Будут мысли, и на таком напишешь...» (Опять смеется.) Неплохой, кстати, получился стол.

— Но не все, Чабуа Ираклиевич, защищены от соблазнов жизни творчеством... Если взять обычного человека, как трудно ему не оглядываться на тех, кто рядом. И, бывает, порядочные люди говорят себе: не разумнее ли жить «как все»?

— Что это значит — «как все»? Давайте откроем себе глаза: кто они, так называемые «все»? Вот я — писатель, на гонорары свои не жалуюсь, но не могу себе позволить многого из того, что называется сегодня престижным. Дублинку жене, которая родила и воспитала моих детей, только два года назад сумел купить. Да пусть меня четвертуют на любой площади хоть в Тбилиси, хоть в Москве — честным путем побеждать в престижных гонках невозможно. Значит, речь о том, что кто-то боится быть менее удачливым проходимцем, чем его преуспевающий сосед? Но ведь это же комедия, понимаете?

— Наш разговор о самосовершенствовании приобретает уголовный оттенок...

Амираджиби не реагирует на замечание, продолжает очень серьезно:

— Выход из этого один — мы должны с детства воспитывать в людях чувство собственной скорости. Только оно защитит человека от коросты потребления в наш век.

— Вы говорите о воспитании разумных потребностей?

— О свободе от ловушек, в которые заводят гонки! А ведь каждый хочет уважать себя, доказывать себе и окружающим, что не напрасно на свет родился. Это и есть высокий духовный голод.

И насыщать его человеку требуется каждый день.

— Но иногда кажется: если бы у нас все было, исполнились бы все наши материальные желания, тогда бы мы могли больше наслаждаться пищей духовной.

— Заблуждение! Жизнь нельзя отложить на потом. В жизни всегда есть главное, а есть второстепенное, и различать это нужно сегодня, каждый день. И надо же понимать, что кусок своего духовного хлеба не урвешь из чужих рук, не достанешь с черного хода. Да, наш социалистический закон: кто не работает, тот не ест — в отношении пищи духовной действует безотказно! К духовному «котлу» общества просто так не присосешься!

Куда делся философический тон, с которого начиналась наша беседа? Исчезла даже улыбка.

— Самый прямой, самый верный путь добывания пищи духовной — это добротворчество: отдавать людям, обществу все, что можешь, а себе брать столько, сколько нужно, чтобы жить и вновь отдавать все... Трезво рассудим: что, собственно, человеку необходимо из материального? Еда, одежда нормальная, чтобы не смущать других ни шиком, ни неряшливостью, крыша над головой...

Некоторые могут посмеяться надо мной: свихнулся, что ли, Чабук, о каком самоограничении он говорит, когда сегодня некоторые спят и видят, как бы заменить югославский аккумулятор в машине на французский и так далее. Но здесь уж меня разбирает смех. Если мир для кого-то просто пастбище, где можно щипать траву, пастись, то чем, извините, такой человек отличается от животного? Тем, что ходит в штанах, а корова без штанов?

Звонит телефон. Он снимает трубку: «Батóно?» Это слово, сохранившееся в современном грузин-

ском языке как уважительная приставка к имени собеседника, он употребляет необычно — вместо «алло». И звучит это у него с интонацией: «Чем могу служить?» Это — еще не зная, кто на том конце провода. Сейчас звонит друг, художник Реваз. Лицо Чабуа светлеет. Возвращаясь к нашей теме, говорит в более спокойном тоне:

— И все-таки я убежден: если из ста пять, в лучшем случае семь — десять человек, благодаря воспитанию сызмальства, станут идти по пути добротворчества, самоограничения, этого будет вполне достаточно, чтобы не угрожали нашему обществу тупики потребительства. Очень важно показать пример! Эти гонки, эта зависть противоречат самой сути нашего строя. Реноме доброго человека у нас дорого стоит. Знаете, семья моих московских друзей принимала как-то гостя из Швеции, ну, обычные шли беседы, а он к концу вечера загрустил. «Жалко, — говорит, — с вами расставаться. Это так необычно: разговоры о смысле жизни, о добре... У нас о таком не говорят».

### О простых истинах и «перевертышах»

*«...Каждый выбирает ту крепость, которую хочет взять. Для одного это соперник, наделенный дарованиями, большими, чем он, и гонимый тщеславием, он тратит все свои духовные силы на то, чтобы побороть этого соперника... Но есть и другие — цвет человечества, — они осаждают и штурмуют единственную крепость — собственную личность».*

*(Из романа)*

Можно удивиться, что тонкий мыслитель — художник, исследующий в своем романе сложнейшую диалектику человеческого духа, высказывает

сейчас такие «лобовые» суждения. Но не такой это человек, чтобы бояться показаться кому-то в невыгодном свете. Он готов ломиться в открытые двери, когда говорит о своей гражданской боли.

Впрочем, может быть, нам только кажется, будто мы давно все знаем и что все двери открыты? Вот ведь какой парадокс: изысканный по форме роман «Дата Туташхиа», соединивший в себе притчу, философское исследование и детективный жанр, стал, по сути, своеобразной нравственной проповедью. Но простые, вроде бы давно известные истины прозвучали для нас откровением. Мы с напряженным интересом следим за судьбами героев, но думаем при этом каждый о самом себе: зачем я живу? Правильно ли живу? На что уходит моя единственная жизнь?

Детские вопросы? «Нет, вечные вопросы,— говорит Амирэджиби.— Во все века их задавали себе все честные люди на земле. Но в наше время они звучат как никогда конкретно и остро. Сегодня мы все теснее друг от друга зависим...»

(Если читатель заметил, люди, о которых я рассказывала в этой книге — будь то рабочий, медсестра или философ, постоянно думают над так называемыми вечными вопросами. Но как современно и социально остро звучат эти вопросы! Сегодня, когда насущной заботой нашего общества является духовное возвышение советских людей, каждому из нас жизненно важно осознать свое предназначение, свою роль на земле.

Человек, задумавшийся о смысле своей жизни, не захочет прожить напрасную жизнь, станет строже спрашивать с самого себя...

Но порой приходится слышать, что идея самосовершенствования уязвима и иллюзорна, и вообще, мол, она как-то смыкается с комплексом неполно-



ценности. И вот эту тему защищает Амирэджиби. «Этот человек,— как сказал о нем один иностранный корреспондент,— мог бы в тайге встретить волка, и зверь или начал бы ластиться у его ног или убежал бы, скуля, с поджатым хвостом». Как это вдохновляет — поддержка из таких крепких, надежных рук.)

— Но часто бывает, Чабуа Ираклиевич, стремишься к хорошему, а результат плохой, делаешь кому-то добро, а интересы других людей страдают... Сталкиваясь с такими нравственными «перевертышами», теряешь энтузиазм в делании добрых дел. Вы переживали подобное настроение?

— Никогда! — с какой силой может звучать этот хриплый голос, похожий на шепот глубоко простуженного человека. — Бывало, обстоятельства мешали действовать, но если выбор зависел лично от меня, я вмешивался. Один грузинский философ говорит: «Добродетель требует мастерства». Не всегда это удается? Да, к сожалению, человечество еще находится на такой стадии своего развития, что не может оно делать добро, не принося зла. Элементарный пример: строим огромную ГЭС, а рыбу губим. Так и в жизни отдельного человека... Никакого стандарта, чтобы застраховаться от ошибок, тут нет.

Конечно, я много раз ошибался. Не смог заранее все обдумать, предусмотреть... Ну и что же? Энтузиазма никогда не терял. Отношусь, наверное, к породе людей, которые, говоря по-простонародному, всегда находят на свою голову приключения. Иногда даже самому смешно: ну куда ты суешься, кто тебя позвал и обязал это делать? И другие, наверно, насмеются. Но ты все равно не можешь жить иначе, потому что все происходящее — твое дело на свете...

Слушаю его и вновь думаю о тех самых вечных вопросах. Знаю же я (по стольким судьбам знаю!), что эти вопросы рано или поздно подстерегают каждого человека и выбор состоит в том, чтобы или спрятаться от них, назвав досужими, детскими, или отдать им на растерзание свой ум и сердце, вместить их в конкретность своих дел, и хотя жизнь не станет от этого легче, зато это будет зрячая, осмысленная, ответственная жизнь.

Ну, а высшая награда за все мучительные моменты осознания — независимость от обстоятельств, прекрасная внутренняя свобода. Секрет ее обретения я искала у многих героев этой книги.

Умение жить, вставая над мелочами быта во имя полнокровного бытия, независимость от «кажيمостей» жизни...

Он говорит:

— Ни от кого ничего не ждать для себя, а самому чувствовать себя перед всеми в долгу — вот формула высшей духовной свободы.

Сколь безусловная это ценность — внутренняя свобода, ярко видно на судьбе самого Амирэджиби. Он и в жизни с такой же страстью, как сейчас — в нашей беседе, эту свободу отстаивал. Его сестра Родам, не раз посещавшая брата на Севере, рассказывала мне, что и там он ходил с гордо поднятой головой и держался с таким достоинством, что это «будто очерчивало возле него круг неприкосновенности». Он болел на Крайнем Севере туберкулезом, хлебнул столько горя, что хватило бы на несколько жизней, но даже о тех годах рассказывает со своим неизменным юмором. Чувство юмора, как он считает, его и спасло. «Трагедию я как-то не воспринимал как трагедию, а просто — как факты. Наверно, потому и выкарабкался из

этого дела. В любых условиях от нас зависит — будешь ты человеком или рабом».

— Почти половина вашего романа посвящена тому драматическому периоду в жизни Даты, когда он устал от невозможности что-то исправить в чужой судьбе: люди все равно живут, как им нравится... «Нет на свете человека, достойного участия и помощи». И поклялся Дата впредь ни в чьи больше дела не вмешиваться, пока не поймет, что лучше: вмешаться или остаться в стороне. Эта альтернатива, Чабуа Ираклиевич, волнует многих. Неужели перед вами лично она никогда не стояла?

— Остаться в стороне — значит помогать злу. Вспомните, что было с Датой... На его глазах творится преступление, ему стоит рукой пошевелить — и не прольется кровь. Но он дал себе зарок и ничего не предпринимает. И становится просто жалок, оказывается в положении загнанного в угол зверя. Люди тебе не нужны, значит, и ты им не нужен. Ты остаешься один на свете. Кстати, вот эти уставшие, которые остаются одни на свете (а остаются потому, что думают только о себе), они и сеют смуту, они и говорят, что мир совсем плох...

— Вы слишком строги к своему герою. Метания Даты так понятны. Ведь начинал он с того, что, не раздумывая, во все вмешивался...

— В том-то и дело, что не раздумывая! И это естественно, что за ним по пятам шли те самые нравственные перевертыши, о которых вы говорите. Активность сама по себе еще не достоинство. Активно можно относиться к жизни и с позиции убийцы, и с позиции буддийского монаха. Какой природы будет твоя активность — вот в чем суть.

Самым важным для меня было показать, как Дата учился делать добро. Путь его нравствен-

ных исканий распадается на четыре периода. Начинает он с того, что пытается исправить мир, а каким будет результат его действий, даже не задумывается. Второй период — отчаяние, невмешательство — об этом мы говорили. Третий — снова активность, борьба с уже осознанным злом через насилие, но и здесь он терпит поражение: жизнь показывает ему, что на месте одного зла, уничтоженного путем насилия, вырастает пять — десять зол новых. И наконец, четвертый, самый важный период, когда учтен весь опыт прежних ошибок и Дата в борьбе со злом уже не просто силен, но и мудр — он понимает, что настоящая победа над злом возможна лишь тогда, когда удастся переделать зло в добро.

### Об условиях и противостоянии

*«...назначение человека не только в том, чтобы победить зло, но и обратить его в добро!»*

*(Из романа)*

Но как трудно понять это — не в книге, а в жизни, — что значит переделать зло в добро?

Слова эти вложены автором сначала в уста Даты, а потом их повторяет коварный жандарм Мушни Зарандиа, «мсье Сатана», как его называют, двоюродный брат и самый опасный враг Даты, из-за интриг которого и погибает Дата. Но как же так — герой и злодей одинаково рассуждают о назначении человека?

Это — одно из тех жестоких испытаний, через которые проводит Амирэджиби своего читателя. Он рисует Мушни Зарандиа как бы двойником Даты — братья воспитывались в одной семье, они

похожи характерами, талантами, внешностью, они даже любят друг друга...

— Какое же мучительное это сходство, Чабуа Ираклиевич. Видишь, будто один и тот же человек совершает крайне противоположные поступки. И думаешь, что в каждом из нас зло и добро живут одновременно. И может быть, правы те, кто утверждает, что добрый и злой человек — понятия относительные? Знаете, сейчас говорят: «Хороший человек — не профессия».

— Вообще, нельзя делить людей на белых и черных. Все мы, люди, или белые с черными крапинками, или черные с белыми пятнами. У Мушни Зарандиа есть твердый кодекс чести, свое жандармское дело он исполняет красиво, с блеском, печется о восстановлении порядка в обществе. Но что такое для него общество? Бездушная бюрократическая машина. А людей он не любит — такая вот малость... Но Мушни тоже озабочен моральным оправданием своих поступков, оттого и говорит о добре. Мало ли кто что говорит! Важны не слова, а поступки! Зло имеет тысячу лиц и только у добра всегда одно лицо. Можно прикинуться умным, честным, но добрым не прикинешься.

— Значит, для того вы и сделали их такими похожими, чтобы заметнее стала их главная разница?

— Добро и зло, действительно, в каждом из нас живут одновременно. Дата это понимает, Мушни — нет. Борьба со злом для Мушни — только внешняя борьба. Дата тоже ищет действенные способы борьбы с внешним злом, но при этом он проходит через ад внутренней борьбы, стараясь прежде всего победить все низкое в себе самом.

— Но если бы они поменялись местами: Дата — жандарм, а Мупни — абраг?

— Не думаю, что Дата смог бы стать жандармом. В каком-то смысле хороший человек все-таки профессия.

— Но братья находятся в совершенно разных социальных условиях и каждый становится продуктом своей среды.

— Человек ни в каком возрасте не бывает готовым «продуктом». На него всю жизнь влияют (его воспитывают) условия, однако на то он и человек, чтобы сопротивляться условиям, чтобы поставить себя выше условий.

— Но многие убеждены, что это невозможно!

— Вопрос в том, насколько это возможно...

— Насколько возможно не просто победить зло, но и обратить его в добро? Эта формула, Чабуга Ираклиевич, не дает мне покоя...

Он отвечает короткой репликой:

— Знаете, в народе говорят: лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать тьму.

И тут же загадывает новый парадокс. Идет к книжным полкам: «Недавно я перебирал свой архив и нашел вот это...» Из какой-то папки достает клочок бумажной салфетки, исписанный грузинской вязью, переводит: «Если ты видишь плохого человека, не спеши бороться против него, бороться нужно против обстоятельств, которые сделали его плохим. Обстоятельства сами в прошлое не уходят». По-моему, что-то здесь есть, а?

Я уже знаю, что слова Амираджиби не всегда нужно понимать буквально, и все-таки моя первая наивная реакция — возразить ему:

— Как можно не бороться с плохим человеком? А если от его действий страдают другие люди?

— Преступника надо остановить немедленно! Мерзавца — ударить! Но думай при этом о чем-то большем, чем месть. Нам часто кажется, что мы боремся со злом, а сами при этом кишим злостью, и получается — просто мстим, умножаем вражду... Видите ли, есть борьба «против», но есть и борьба «за». Считаю, что вторая конструктивнее. Особенно в наше время.

«Он мыслит глобальными категориями,— думаю я,— их нельзя приложить к житейской практике?» Но вот приводит пример:

— В моей жизни случалось: я узнавал вдруг, что этот вот человек замышляет против меня страшную подлость... Можно было бы застать его врасплох, потом отомстить. Но я открыто шел к нему и разъяснял: зачем тебе это нужно? Что тебе это даст, кроме огромной ноши на совести? И знаете, переубеждал. И было это не раз. Даже плохой человек способен оценить, если ты к нему подходишь с добром.

— Но это уже компромисс, а вы говорили, что не признаете компромиссов.

— Иногда разумнее бывает уступить человеку, потому что это принесет ему больше пользы, чем мне вреда. Он пойдет потом к другим людям, и ему будет стыдно делать им зло, раз с ним самим поступили совсем по-другому.

— А если не будет ему стыдно?

— Все равно не пожалею, что сделал попытку. Наказать какого-то одного негодяя не так уж сложно. Но в этом мало радости. Всего лишь разрушишь то, что он сделал или хотел сделать. Бороться «за» — значит приносить что-то новое, от себя. Предъявлять строгие требования прежде всего к самому себе — только через это можно изменить и других людей, и условия, я имею в виду

нравственные условия, от которых в конечном счете все зависит.

Слушая его, вспоминаю, как много людей оправдывают свое бездействие неблагоприятными условиями, обстоятельствами, и мысль Амираджиби становится яснее. Хотя отдаю себе отчет, как много в ней донкихотства...

И мне постепенно открывается потрясающая истина: тот, кто любит добро, снисходителен ко злу.

«По одной нашей Грузии, наверное, полтысячи человек ходит, которым Чабук помог», — рассказывали мне о нем. Может быть, это (сама цифра) преувеличение. Кто считал? Но и в Москве я слышала не одну историю о том, что для своих друзей он умеет делать невероятное. Вот лишь один, может быть, не самый яркий пример: Амираджиби узнал, что его друг, с которым было много тяжелого пережито и который там был сильным и стойким, теперь сломился от перенесенных испытаний, пьет «по-черному», лишился семьи, не работает и даже неизвестно, где живет. Амираджиби долго искал его, нашел в Клину, привез к себе в Грузию, одел, обул, устроил на работу... Я спросила у него, был ли такой случай, он лишь кивнул в ответ и стал говорить о том, что в самое трудное время его спасали друзья:

— Когда я вернулся через 16 лет, сразу почувствовал, как сильно отстал от сверстников. Я, конечно, прошел свои университеты, и знал то, чего не знали они, но в приобщенности к культуре отстал на век. И вот друзья в короткое время помогли мне наверстать упущенное. Они, собственно, сделали меня тем, что я есть. С таким удовольствием на свете живу, вы даже представить себе не можете!



## О страхе смерти и цене жизни

*«...Ты должен думать также о том, чтобы, когда ты потухнешь, вокруг тебя или хотя бы на том крохотном клочке земли, на котором стоишь, не воцарилась тьма».*

*(Из романа)*

... — Вспоминаю дом моего деда, там жили три поколения, и у каждого были свои представления о нравственности. Ну, например, принципиальность. Для старших, воспитанных еще в XIX веке, она была возведена в ранг святыни. Фетиш! У поколения моих родителей, тетей и дядей были уже более гибкие взгляды. А у моего поколения принципиальность в некоторых случаях считалась просто неразумной.

— Кажется, характер доцента-революционера списан вами с отца?

— Отчасти. Мой отец не был профессиональным революционером, но сажали его не раз. Еще в 1905-м, пятнадцатилетним, он был арестован за дерзкую проделку — участвовал в перестрелке террористов с казачьими патрулями. В 1920 году, в Одессе, его арестовали белые, приговорили к расстрелу и даже вывели на казнь... За что? Ну, отец был в то время владельцем шхуны «Нина», приехал в Одессу по вопросам фрахта, по своим хозяйственным делам, и тут к нему в гостиницу приходит такой революционер Чубарь, подает письмо от Степана Шаумяна, тот пишет: «Ираклий, братец, помоги, чем можешь, этому человеку». Отец спросил: что вам нужно? Чубарь ответил: оружие и 500 рублей денег. Отец снял с пояса маузер и отсчитал 500 рублей золотом. Вскоре это дело как-то раскрылось. Чубаря не смогли взять, а отца схватили и вот-вот должны были

расстрелять, но тут сработал, наверное, паспорт отца: они не поверили, что князь может помогать революционерам.

— Вы весьма критически отзывались о нравственности своего поколения...

— Нет, мы не хуже, чем были наши отцы и деды. Просто мы—другие. И так уж заведено на свете, что каждое новое поколение, чтобы выработать собственные убеждения, должно, образно говоря, убить старую нравственность. В конце концов оно вернется к тому, что отрицало. Главные постулаты нравственности остаются неизменными. Не будь так, мы давно превратились бы в сброд, питающийся мясом друг друга. Но вот трагический парадокс: человеку, чтобы найти, надо сначала потерять. Вы вот упрекали меня: зачем я убил Дату руками его сына? Писателю, увы, приходится порой исполнять и роль палача. Меня заставила это сделать неумолимая логика жизни.

...Сын не знал, что убивает отца, он действовал по наущению тех, кто олицетворяет в романе силы зла. В таких негероических обстоятельствах погибает Дата, но до последней минуты заботится о том, чтобы скрыть следы сыновнего преступления, смертельно раненный, не просит ничьей помощи, находит в себе силы, чтобы взобраться на отвесную скалу над морем... И мертвого тела его никто никогда не увидел. И люди до сих пор думают, что он жив.

Даже смертью, достойной, мужественной смертью человек может переделать зло в добро. Как вознесен своей смертью Дата! И как ничтожно умирает его двойник Мушни Зарандиа — после того, как подстроенное им злодейское убийство брата свершилось, Мушни становится просто нечем жить, он впадает в меланхолию, истлевает,

«Не в том ли смысл их загадочного двойничества, — думаю вдруг я, — что автор хотел показать: добро и зло не только тесно переплетены, сцеплены между собой, но они просто существовать друг без друга не могут? Ведь не будь зла, мы просто не смогли бы узнать, а что же такое добро. Благодаря злу добро становится видимым. Ну а зло не может существовать без добра совсем в другом смысле — оно соками добра питается».

И тут мне становится отчетливо понятна казавшаяся утопической мысль Амираджиби о том, что человек по природе своей устремлен к добру. А как же иначе? Человек (каждый!) наделен духовной энергией, которая жаждет воплощаться, создавать что-то в мире — то есть жить. Собственно, добро и есть жизнь, оно изначально, сущностно. А зло — всего лишь тень, отрицание, разрушение, смерть! Недаром же Дата не в состоянии понять, как это можно быть злым, для него «злой человек хуже мертвого».

Амираджиби говорит:

— Если вопрос о смерти существует для человека в отрыве от смысла самой жизни, то он не сможет умереть достойно. Страшит нас больше всего одиночество перед лицом смерти. Каждый умирает в одиночку, но что он при этом испытывает, полностью зависит от того, как и ради чего он жил. Если жил только ради себя, ради своего тела, не добывая каждый день пищи духовной, то естественный факт своего ухода он воспримет как мировую катастрофу, светопреставление. А человек, жизнь которого наполнена людскими связями, и в смерти не одинок, и вообще «персонаж смерти» не застит ему света жизни.

Здесь наступила пора рассказать, почему у него такой необычный хриплый голос, такой стран-

ный смех. Это и будет рассказ о том, как Амирэджиби, приговоренный к смерти, сумел выжить.

Задолго до встречи с ним я слышала эту удивительную историю. Случилась она в 1968 году — врачи обнаружили у Чабуа рак гортани. Друзья привезли его из Тбилиси в Москву, показывали самым лучшим специалистам, врачи настаивали на операции, Амирэджиби наотрез отказался и держался спокойное, чем его сопровождающие. После консилиума у врача с больным состоялся такой разговор: «Немедленная операция или вы умрете!» — «Нет, я не умру». — «Умрете в течение нескольких месяцев. Гарантирую вам». — «А я гарантирую, что проживу по меньшей мере четыре года». Профессор посмотрел на него как на сумасшедшего: «Почему четыре?» — «Этого времени мне хватит, чтобы закончить мой роман». Операцию заменили облучением. Но то, что Амирэджиби выжил, было, конечно, чудом. Впрочем, не единственным чудом в жизни этого человека.

— Вы знаете, мне ужасно везет в жизни. Да, где бы я ни был, мне странным образом всегда везло. Говорю это и не боюсь сглазить судьбу.

— В чем секрет вашего везения?

— Не знаю. Может быть, дело в том, что я никогда никому не хотел зла и не боялся смерти.

(Разговоры о смысле жизни потому и кажутся порой витанием в облаках, что люди боятся не то что вслух, но даже мысленно касаться темы смерти. Пока мы живем и радуемся, пока не подступили старость, болезни, хочется думать, что мы бессмертны. Зачем вглядываться в ту бездну, к которой летим — каждый из нас — со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час? Из всех страхов, мучающих человека, самый неодолимый страх — страх смерти. Но только преодолев этот

страх, человек завоевывает внутреннюю свободу).

Лукавая усмешка на лице:

— Между прочим, я знаю способ, которым можно отодвинуть срок собственной смерти.

Шутит? Отчасти. А вообще-то у него и в самом деле своя, неожиданная теория:

— Лет в семнадцать я прочел «Философию духа» Гегеля. Там мельком упоминалось, что великие люди умирают только после того, как исполняют свою миссию в истории. Я подумал: но разве это не распространяется на всех людей? Ведь у каждого есть своя миссия в истории. Сейчас, в наш скоростной, в наш тесный век становится все виднее, как переплетаются в мире все события, судьбы людей, как все мы друг на друга влияем, зависим... И значит, должен я как можно точнее понять, в чем состоит моя миссия, должен возложить эту миссию себе на плечи, и если я буду абсолютно убежден, что это важное дело могу сделать я и только я, то никакие испытания не страшны, даже смерть подождет.

...Роман «Дата Туташхиа» писался десять лет. Чабуа проводил за письменным столом по шестнадцать часов в сутки. Никто не мог знать наперед, что его одинокий многолетний подвиг увенчается таким успехом.

### О расплате и благодарности

*«Делай добро и не жди ни вознаграждения, ни результатов. Иди дальше и опять делай добро».*

*(Из романа)*

Прослушивая магнитофонную запись нашей беседы, с горечью убеждаюсь, что мне выпала роль если не скептика, то во всяком случае человека,

разуверившегося в добре. Я будто жаловалась Амирэджиби: как трудно делать добро! А он упрямо доказывал: как это легко и радостно!

— Но можно ли убедить людей, что для счастливой жизни совершенно необходима добродетель? Как доказать каждому, что у него своя, особая миссия в человеческой истории? Что престижные гонки — мираж?

Он не спешит отвечать. Задумавшись, смотрит в окно. В широком, выходящем на лоджию окне его кабинета, как картина в раме, — поросшая кряжистым виноградником Мта-Делиси, совсем близкая, «придворная» гора. У ее подножия бежит бойкий приток Куры, стоят маленькие домишки, возле которых в садах и огородах хлопочут люди, — все это сверху хорошо видно. (Семья Амирэджиби живет на последнем этаже девятиэтажного блочного дома.) Окраина Тбилиси, а пейзаж почти сельский. Но сейчас Амирэджиби не на пейзаж, куда-то дальше смотрит. Притча о трех ступенях добра, которую он рассказывает, озадачивает сначала своей приземленностью:

— На днях остановил меня человек на улице, возле консерватории, спрашивает: «Слушай, а все же что такое добро?» Я ему ответил: «Если ты и я станем делать свое дело и не мешать другим, это уже и будет добро». — «Так мало?» — удивился он. Тогда я говорю: «Ты семью имеешь, заботишься о ней? А на работе думаешь, чтобы больше пользы принести нашему советскому обществу?» — «Конечно, я так и живу». — «Ну, тогда ты хороший человек». Он просиял и снова спрашивает: «Ну а что такое настоящее добро?» — «Вот ты идешь по улице и увидел: человек прислонился к стене. Ты забудь про свои дела — узнай, что с ним. Будет это пьяный или больной, не стыдись помочь. Воз-

можно, тебе за это никто даже спасибо не скажет, а некоторые посмеются над тобой. Но это и будет настоящее добро».

— Хотя бы не вреди — и это уже добро?

— Совершенно верно, — отвечает он. — Не расталкивать локтями окружающих, когда идешь к своей цели, это тоже, знаете, немало. Это первая ступень добра... Вы спрашиваете, как убедить человека отказаться от призывов своей зависти? Знаете, я сотню раз наблюдал в жизни, что люди расплачиваются за измену себе, пусть не немедленно, но обязательно и — самой дорогой ценой. За все, за все воздается! Даже в мелких случаях. Если меня, например, настигает какая-то неудача, начинаю рыться в памяти: где я поступил несправедливо, кого ненароком обидел? И в большинстве случаев нахожу и тогда успокаиваюсь: надо платить, нечего жаловаться на судьбу.

И ни одно доброе дело не проходит бесследно. Допустим даже: кто-то спас кого-то, рискуя жизнью, а тот, спасенный, о нем забыл. Значит ли это, что добро пропало? Ну, во-первых, мы ведь не знаем, почему тот, кто кажется нам свиньей, не спешит с благодарностью. И разве добро дается взаимы? А может быть, он какому-то третьему человеку тоже когда-нибудь жизнь спасет. Исходя из того примера. Во-вторых, люди, присутствовавшие при спасении, тоже чему-то научились — началась цепная реакция добра. И главное — сам человек, совершивший самоотверженный поступок, счастлив, что смог сделать это. Настоящее добро не нуждается ни в вознаграждении, ни в благодарности. Человек действует по внутренней потребности, потому что не может иначе.

— Но именно он и получает самую большую нравственную выгоду?

— Нравственность и выгода? Нет, это несовместимые понятия!

Такая вот категоричность. Опять мой вопрос оказался как бы вне системы его координат. Порой у меня возникает странное ощущение, что при нашей беседе присутствует третий — сам Дата Туташхиа и это он отвечает на вопросы.

Впрочем, разве не знаю я, что благодарность за добро в самом добре? Работая над книгой, просматривала старые газетные вырезки и нашла пожелтевшую (десятилетней давности!) свою статью под названием «Благодарность приходит неожиданно» (рубрика «Простые истины»):

«...Хорошие дела мы совершаем для других, во имя других, но, может быть, в первую очередь — для себя. Ощущение своей нужности людям есть наивысшая награда. Но она меркнет, если ждешь благодарности от кого-то и обязательно в том виде, в каком тебе хотелось бы... Значит, свое доброе дело ты превратил в меновый товар: я — тебе, ты — мне...

Вообще, если ты попрекаешь кого-то своим добрым делом, оно сразу обесценивается...

Щедр не тот, кто дает, а тот, кто берет, кто предоставляет нам возможность быть добрыми... Ведь только то, что отдал, то — твое... Чем больше отдал, тем богаче стал...»

Так зачем же я спрашивала Амирэджиби о том, что сама знала? Зачем столько раз пыталась найти ответ, как жить, у других героев этой книги? Казалось бы, ответ давно известен: делай хорошо свое дело, твори людям добро и ты будешь счастлив. Но если я вновь и вновь задавала этот вопрос, значит, в чем-то сомневалась сама...



Он говорит:

— Знать и понимать — не одно и то же. В простоту мы, люди, внесли много сложностей, а теперь нужно возвращаться к простому. Еще в XII веке Шота Руставели писал: «...все несчастье человека — это горе от ума...» Только с возрастом понимаешь аромат и силу простых истин. Они и есть то главное, что должен постичь человек и чему следовать... И знаете, к какой мысли я пришел? Вернее, *увидел* эту мысль на своем опыте, на судьбах других людей: добро — это особый, не изученный пока вид энергии, которая не исчезает из мира, а накапливается... Каждый добрый поступок, слово, желание — бессмертны!

Утопист он? Романтик? Но какой строгий счет предъявляет человеку Амирэджиби. И счет этот начинается с самого себя — относится к числу тех, о ком в романе сказано: «...ведет великую войну только с самим собой... И нет в жизни ничего, что способно изменить лицо и смысл этой великой войны».

...Самый первый рассказ Амирэджиби, который он, безвестный сорокалетний автор, принес в редакцию журнала «Мнатоби», назывался «Почему ты не дал мне самому сделать это?»

Идут по тайге двое геологов, один отстаёт, чтобы напиться воды, наклоняется к источнику и вдруг видит в воде отражение рыси. Зверь бросается на человека, жестокая схватка, безоружный человек побеждает, но не успевает он смыть с рук кровь, как на него прыгает скрывавшаяся в кустах рысь-самка. Человек тяжело ранен, силы неравны, но ему все-таки удастся свалить зверя, и вот уже руки дотянулись до горла рыси, но паль-

цы отказываются служить — не сжимаются. В это мгновение раздается выстрел: прибежавший на шум второй геолог убивает зверя. Еле живой, истекающий кровью человек встает с земли и вместо благодарности за спасение в ярости кричит: «Что ты наделал? Как ты посмел? Почему ты не дал мне самому победить зверя?»

Опять напрашивается ассоциация из Данте:

...Встань! Победы томленье, нет побед,  
Запретных духу, если он не вянет,  
Как эта плоть, которой он одет!

Провожая меня, у лифта вдруг говорит:

— Знаете, над чем иногда задумываюсь? Допустим, я жил бы в таком идеальном мире, где мне уже нечего было бы делать. Я, наверно, был бы несчастнейшим человеком. Мне нужны противоречия. Хочу, чтобы жизнь во мне нуждалась!

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и закончены встречи, отзвучали беседы... Легко могу представить, что какой-нибудь скептический читатель, которому все разговоры о смысле жизни и нравственности представляются эдакой игрой в бисер, разочарованно скажет: ну и что нового сообщил нам автор? Частные примеры еще ничего не доказывают... И пусть, мол, герои книги твердят о радости доброты и труда — все эти высокие материи, конечно, хороши, но конвейер жизни неумолим, и успеть бы вытащить воз неотложных дел... Мол, не хлебом единым жив человек, но в первую очередь он нуждается все-таки в хлебе...

Что ж, это правда: каждый не прочь наслаждаться материальными, осязаемыми благами жизни... Но что потом? Дальше-то что? Неужели антуражем жизни исчерпывается ее смысл? И если превратишь свою жизнь в погоню за удовольствиями, остаться при этом порядочным, отзывчивым человеком вряд ли удастся. Увы, выбор жесток: что-то вместо чего-то. Даже и не отдавая себе отчета, мы всегда выбираем что-то вместо чего-то. И, запыхавшись в гонках, однажды остановишься и ахнешь: что с нею, что с моей душой?

Вы никогда не задавали себе такого вопроса, читатель? Ну, пусть не явно, но разве не промелькнул он, когда вы заметили, например, что перестал звонить старый друг? Или вот тогда, вспомните, когда начался разлад в вашей семье? Или в тот раз, когда вам, как вы выразились, «все на свете вдруг обрыдло»?

Откуда все это про вас знаю? По себе знаю. Испытав немало разочарований, сомнений, потому осмеливаюсь так открыто признаваться в этом, что многое суетное из жизни, кажется, уходит, медленно, сопротивляясь, но отступает, уходит... И как же благодарна я за это людям, про которых пишу, у которых учусь жить, с помощью которых насущно понимаю то, что вроде бы давно знала: нравственность — противостояние. Противостояние неблагоприятным условиям, жестоким обстоятельствам, бесчестным людям. Свои плохие поступки и слабости мы не имеем права оправдывать ни дурными условиями, ни еще худшими, чем наши, поступками соседа. Бессмысленно ждать от жизни бесплатных даров или требовать от людей больше того, что они могут и хотят тебе дать. Куда мудрее не с других, а прежде всего с самого себя взыскивать, требовать... Хочешь изменить мир — начни с себя. Быть непреклонно честным, достойным человеком, конечно, нелегко, но как без этого уважать себя?

Живу я в мире только раз... У каждого из нас единственная и неповторимая жизнь, она не имеет ни черновиков, ни дублей. И разве не хочется тебе, дорогой читатель, чтобы была эта жизнь не напрасной?

*Лидия Ивановна Графова*

**ЖИВУ Я В МИРЕ  
ТОЛЬКО РАЗ**

**Заведующий редакцией**

**В. Я. Грибенко**

**Редактор**

**А. Ф. Глазов**

**Младшие редакторы**

**Н. М. Жилина, Л. В. Масленикова**

**Художник**

**А. И. Сперанский**

**Художественный редактор**

**А. А. Пчёлкин**

**Технический редактор**

**М. И. Токменкина**

**ИБ № 4462**

Сдано в набор 18. 11. 83. Подписано в печать 30. 01. 84. А00021.  
Формат 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обык-  
новенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 13,18. Условн.  
кр.-отт. 14,04. Учетно-изд. л. 13,87. Тираж 200 000 (1—100 000) экз.  
Заказ № 9195. Цена 65 коп.

Политиздат. 125811, ГСП,  
Москва, А-47, Мясусская пл., 7.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства  
«Звезда», г. Пермь, ул. Дружбы, 34.





